

По эту сторону рая



Френсис Скотт
ФИЦДЖЕРАЛЬД



Френсис Скотт
Фицджеральд



Френсис Скотт
Фицджеральд



Френсис Скотт
Фицджеральд

ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ



МОСКВА 2007

ББК 84(7США)
Ф66

Серийное оформление: художник И. А. Тарачков

Фицджеральд Ф.-С.

Ф66 По эту сторону рая; Великий Гэтсби: Романы / Пер. с англ.; Вступ. ст. В. Вербицкого; Коммент. Б. Акимова. — М.: Мир книги, Литература, 2007.— 400 с.— (Бриллиантовая коллекция).

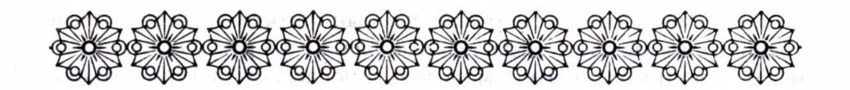
ISBN 978-5-486-01517-5

Френсис Скотт Фицджеральд (1896—1940) — американский писатель, ставший в литературе едва ли не первым представителем поколения, которое позже назовут «потерянным». С незаурядным мастерством и сатирическим блеском Фицджеральд изобразил в своих романах и рассказах тех, кто беззаботно присваивает себе плоды чужого труда. Тем не менее, писатель уступал соблазну богатства и написал множество «коммерческих» рассказов. Двойственность Фицджеральда не помешала ему стать наиболее ярким и точным выразителем настроения «века джаза» — так называли годы временного послевоенного преуспевания, отмеченные парадным оптимизмом и взвинченной тягой к потреблению.

В данном томе публикуются романы «По эту сторону рая», а также «Великий Гэтсби» — самое совершенное из произведений Фицджеральда.

ББК 84(7США)

ISBN 978-5-486-01517-5



РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

1

Предлагаемые читателю романы принадлежат замечательному американскому писателю Френсису Скотту Фицджеральду — человеку, знавшему Америку, любившему ее, мучительно искавшему вместе с другими «американскую мечту» и натыкавшемуся на буржуазную посредственность или просто пошлость. Они в конечном счете и убили его, способствуя смерти талантливого писателя, до конца дней своих верившего в «американское счастье» и общий праздник человечества.

У Эрнеста Хемингуэя есть замечательный портрет Скотта Фицджеральда, сделанный во время пребывания писателей во Франции. «В то время,— писал Хемингуэй,— Скотт производил впечатление юнца скорее смазливого, чем красивого. Очень светлые волнистые волосы, высокий лоб, горящие, но добрые глаза и нежный ирландский рот с длинными губами — рот красавицы, будь он женским. У него был точеный подбородок, красивые уши и почти безупречно прямой нос... Он был худощав и не производил впечатление здоровяка».

Оба больших литератора инстинктивно тянулись друг к другу, хотя из-за значительной разницы темпераментов, талантов и идейных установок сближение это происходило трудно, что и нашло впоследствии отражение в книге Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».

Впрочем, вся жизнь Фицджеральда и его творчество носят на себе ярко выраженный трагический отпечаток, как и сама эпоха, в которую ему пришлось творить.

Внук эмигранта из нищей Ирландии, приехавшего в Штаты в поисках своего маленького счастья, он с раннего детства познал вкус нищеты, хотя поначалу предку его везло в делах: он приобрел магазин, а затем основал и фирму с миллионным оборотом. В Сент-Поле на Среднем Западе трудно было отыскать более процветающее семейство, чем клан Макквиланов, как бы демонстрировавшего сказку под названием «американская мечта».

Все изменилось со смертью деда, сын которого, представитель древнего ирландского рода, не смог удержать в руках оставленное наследство и пустил его «с молотка», а последней работой его стало посредничество у бакалейщиков-оптовиков, что, конечно, не могло утешить семью, терявшую не только деньги, но и будущую мать писателя — Молли, и общественные дивиденды. Так что когда Молли Макквилан вышла замуж за ирландца Эдварда Фицджеральда, Макквиланы сочли это позорным мезальянсом, что, однако, не помешало Фицджеральдам устроить своих детей в частные школы, а родившегося в 1896 году Скотта — в престижный Принстонский университет. Таким образом, еще в детстве будущий писатель познал истинную цену «американской мечты».

Стоит, по-видимому, более детально остановиться на этом понятии.

Пресловутая «американская мечта» стала порождением кризиса 1893 года. Строго говоря, это была своеобразная «национальная идея», которую так упорно желают обрести в нашей стране и которая является ни больше ни меньше, как идеологическим «пиаром». Сотни миллионов разорившихся людей верили этой национальной пирамиде и с завидным упорством искали свое место в «свободной стране», позволяющее им подняться на достойный уровень. Пока же, увы, все соблазнительные места были заняты другими — более богатыми и удачливыми.

Соотношение бедности и богатства, изучение психологии богачей как общественного явления, развенчание нравственной нищеты людей, которым позволено все,— эти темы все чаще и многогранней являлись на страницах произведений Фицджеральда. Он шел своей дорогой — тяжелой, но единственно приемлемой для него.

Ему было необходимо ответить на вопрос: «Кто они?» Подобно А. П. Чехову, он по частям выдавливал из себя раба, доказывая всем и особенно «избранным» свою дееспособность и необходимость. Не беда, если способы самоутверждения иногда носили слишком примитивный и странный характер (футбольная слава, элитные студенческие клубы, написание либретто для музыкальных постановок), главное — осуществить свою волю, доказать свою полноценность в общем-то чуждому ему обществу самонадеянных невежд, для которых не составляло никакого труда получить желаемое. И уже в первом, написанном после окончания университета рассказе «Алмазная гора» чувствуется, как вместе с возрастающей ненавистью к сильным мира сего в нем начинает расти критический взгляд на действительность, отрицание своих собственных иллюзий. В романах «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», в «Последнем магнате» он честно признает банкротство буржуазной идеологии, подминавшей под себя и «американскую мечту». Но Фицджеральд был сыном своего века и долгие годы сохра-

нял в душе образ сильного человека-одиночки, добившегося успехов в жизни благодаря высоким личным качествам и вопреки враждебным обстоятельствам.

Эта психологическая и художественная раздвоенность на могла не отразиться на его литературных изысканиях и породила «легенду» о Фицджеральде, которая сопровождала его всю жизнь и впрямую отразилась на его личности.

2

Первая его книга вышла в 1920 году и называлась «По эту сторону рая»; ей предшествовали два значительных события — окончательное решение встать на путь писательского труда и женитьба на дочери судьи из Монтгомери Зельде Сэйр, с которой он познакомился, проходя военную службу.

Казалось бы, эти факты ничем между собой не связаны. Но дело в том, что женитьбой на Зельде Фицджеральд ломал свою судьбу в полном соответствии с милой его душе «американской мечтой» о счастье, в которой Зельде отводилась роль эстетической вдохновительницы, а самому Скотту — Пигмалиона, допущенного в среду «избранных».

Полный надежд, Фицджеральд устремляется в литературную работу, просиживая за столом ночи напролет, и добивается-таки своего — выходит его книга. А Зельда становится миссис Фицджеральд, что, как он потом признается, превратилось в самую большую ошибку в его жизни.

Сказочность всего происходящего принесла успех и роману «По эту сторону рая», ставшему манифестом молодого поколения. А за окном началась эра краткого процветания Америки, погоня за обогащением и безудержным весельем.

К новому поколению принадлежала и Зельда, откровенно признавшаяся супругу, что она не может ничего делать, потому что ленива; единственное, что она может и знает, это оставаться молодой, чувствовать, что ее жизнь принадлежит только ей, и прожить ее счастливо. Эти типичные для ее сверстников взгляды невольно пленяли не только Зельду, но и самого Фицджеральда и вошли в ранние его произведения, в том числе и в «По эту сторону рая», обеспечивая его растущую популярность, хотя в чисто литературном отношении роман производил впечатление ученического, а созданные в нем образы выглядели искусственными.

Ощущалось, что автор готовится к более серьезному шагу и копит опыт и силы для решительного броска. И вышедший через два года роман «Прекрасные и обреченные» вместе с «По эту сторону рая» свидетельствовал уже о серьезных намерениях писателя, ибо отразил американский быт первых послевоенных лет.

Впрочем, вся американская литература готовилась к новому этапу своей истории — двадцатым годам. Появляющиеся на страницах книг и журналов произведения Хемингуэя, романы Фолкнера несут в себе беспокойное ощущение нарушения существующего миропорядка, распада связи времен.

Фицджеральд первым заметил начавшийся процесс и, пусть даже не всегда художественно, отразил его. На авансцену выступала молодежь «века джаза» — термин, который Америка периода «процветания» получила также от Фицджеральда, точнее, из его сборника новелл 1922 года, что дало основание для трактовки его романов и рассказов как проповеди идей, которые принесла с собою «беспокойная» молодежь «века джаза».

Вообще искусство джаза в Америке выражало не только динамику эпохи, но и психологическую надломленность, царившую в обществе. Своеобразной харизмой «века джаза» стала заряженность переменами, стремительное и бесконечное движение, не позволявшее человеку ни остановиться, ни оценить ситуацию, а американский писатель Томас Вулф считал даже, что «век джаза» нес в себе зачатки апатии, помогающей оправдать буржуазную жажду успеха и немедленное наслаждение им.

Видел ли такую опасность сам Фицджеральд? Наверное, ощущал, ибо большинство его «беспокойных» героев охвачены жаждой обретения блаженной страны, где царят покой и любовь. Но постичь надвигающуюся драму, ее причины и коллизии во всей полноте он пока не мог. Автор лишь удивлялся странной закономерности, с которой все его сюжеты непременно заканчивались человеческими драмами и свидетельствовали о том, что «жизнь — не тот беззаботный разгул, какой в ней видят все эти люди», идущие вслед за его поколением.

Попытки дистанцироваться от порождаемых им персонажей ни к чему не приводили, а за Фицджеральдом прочно укрепилась репутация проповедника нового течения, модерниста, творца опасных иллюзий.

Новые же бунтари презирали участь «позитеров» и совсем были не намерены идти в бесплодные поиски неведомых земель, и не примирились с системой, при которой кто богаче, тот и прав.

Что же оставалось? Жить и быть счастливым, прожигая жизнь в свое удовольствие, в чем, собственно, и состояло «американское счастье», а точнее, его тривиальный конец, к которому неизменно приходят герои Фицджеральда.

И вот в разгар этого пира во время чумы раздался отрезвляюще холодный голос литератора, предложившего читающей публике роман, в котором карнавальное шествие заканчивается трагедией,— книгу «Великий Гэтсби», произведшую эффект разорвавшейся бомбы. И хотя безумное веселье продолжалось, оно уже окрашивалось драматически-

ми мотивами, причины которых уходили глубоко в историю страны, ибо, провозгласив в свое время так называемые «свободы», американское государство создавало своего рода миф, которому поклонялось все последующие годы, не в силах ни отвергнуть его, ни осуществить. И сама «американская мечта», и сам Гэтсби являются результатом следования выработанному веками идеалу, а гибель Гэтсби наглядно демонстрирует несостоятельность «мечты».

3

Кто же такой Гэтсби, человек, много лет добивавшийся благосклонности своей возлюбленной и бросивший к ее ногам все заработанное правдами и неправдами богатство? И почему автор называет его «великим»?

Гэтсби — яркий представитель американских «мечтателей», поверивших в возможность достижения своего идеала. Идеал Гэтсби в конечном итоге — достижение «праздника жизни», который он разворачивает в пределах своей земельной собственности во всем мещанском великолепии. Праздник этот происходит сам по себе, параллельно драме, развертывающейся в душе Гэтсби.

Некоторые исследователи считают название романа авторской иронией, другие принимают героя за «нового Адама», но это трагедия не отдельной личности, а целой эпохи, таящая в себе крушение человеческих идолов, почему Фицджеральд и указывал на «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского как на один из источников романа, образец, которому он старался следовать. Действительно, и у Достоевского, и у Фицджеральда существуют близкие темы, определяющие генеральные направления и философскую основу их творчества. Но решаются они по-разному.

Первым крупным произведением Достоевского стал роман «Униженные и оскорбленные», повествующий о трагической истории двух семей: бедного дворянина Ихменева и фабриканта англичанина Смита, которые были разорены князем Валковским.

Роман был написан после возвращения писателя с каторги. А до нее были «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Белые ночи», «Неточка Незванова» и другие. Одновременно с «Униженными и оскорбленными» Достоевский публикует «Записки из Мертвого дома» — о каторге и каторжанах. Лейтмотивом произведения писателя становится мысль о том, что защитить «униженных и оскорбленных» возможно только любовью и состраданием,— рецепт, под которым подписался бы и Фицджеральд.

В какой-то степени Гэтсби «приближается» к князю Мышкину: та же нервная возбудимость, то же преклонение перед красотой и, наконец, безнадежная попытка изменить мир. Но ни Настасья Филипповна, ни возлюбленная Гэтсби не в состоянии этого сделать.

И совсем уже по-американски разрешается конфликт между бедным студентом Раскольниковым и старухой процентщицей, между «низшими» и «высшими», а само убийство превращается в философскую дилемму: возможно ли переступить черту, очерченную общественным договором, позволить себе стать на уровень «высших». Борьба за существование, «идею», за право сильного, за, наконец, возможность изменить жизнь человечества путем убийства какой-то там «кровососки» — такие идеи туманили не только русских, но и множество других голов, в том числе и американских.

По жанру «Братья Карамазовы» — социально-психологический роман. Изображается семья, в которой каждый член ее воплощает определенную идею. Их столкновение отражает не только взаимоотношения в семье Карамазовых, но и события, происходящие в стране и в мире. Это, считал Достоевский, русский вариант болезни европейского человечества, болезни цивилизации. Причина же в том, что человечество утратило нравственные ценности, отреклось от духовных идеалов, что привело к равнодушию, одиночеству и ненависти к жизни. А самое главное в жизни — чувство любви и прощения.

Еще более определенно Ф. М. Достоевский выразился в знаменитой речи на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве. «Россия,— говорил он,— сможет указать другим народам путь ко всеобщему “братству” и “гармонии”, который возможен при примирении всех слоев общества при воздействии христианского учения».

Нетрудно заметить, что при всей похожести «Братья Карамазовы» морально выше «Гэтсби» и, даже совпадая в направленности действия, живут в разных духовных мирах. Фицджеральду было чему поучиться у русского классика: в отличие от американца, Достоевский ответы на свои вопросы давно знал.

И еще одна особенность творчества Достоевского не могла не привлечь его почитателей.

«Достоевский,— писал академик М. Вахтин,— творец полифонического романа. Он создал совершенно новый романный жанр. Поэтому-то его творчество не укладывается ни в какие рамки, не подчиняется ни одной из тех историко-литературных схем, которые мы привыкли прилагать к явлениям европейского романа. В его произведениях появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора в романе обычного типа. Слово героя о самом себе и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчиняется объективному образу героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев».

Понял ли эту особенность Достоевского Фицджеральд? Нам кажется, понял, ибо все его герои говорят на своем, присущем только им языке, который сочетается с голосами других персонажей.

4

В «Великом Гэтсби» впервые в американской литературе было выражено неверие в то, что Америка станет когда-нибудь святилищем для человека-одиночки. Великий Идеал рухнул, раздавив не только привыкших ко всему аборигенов, но и идеологов «американской мечты». И разве что в грезах и снах еще можно увидеть древний остров, открывшийся когда-то голландским морякам, увидевшим сказочный «зеленый огонек».

Сам Фицджеральд считал, что он пишет роман о растраченных иллюзиях, своеобразной красоте и трагизме «века джаза». Именно в «Гэтсби» полностью раскрылся талант писателя, его способность одновременно удерживать в сознании противоречивые идеи. Но при этом сохранялась и противоречивость «американской мечты», и ее неминуемое банкротство. Трагизм же самого Фицджеральда состоял в том, что, несмотря на неминуемый финал «века джаза», он находился под сильнейшим влиянием иллюзии, приводившей его к надежде, что и для него наступит «прекрасное утро». Начался духовный и творческий кризис, которому способствовало в том числе и холодное отношение критики к его лучшей книге.

Впрочем, это не особенно беспокоило писателя, мечтавшего о новом произведении. Но его роман «Ночь нежна» появится лишь спустя девять лет, наполненных творческими неудачами и личными драмами, самой тяжелой из которых стало психическое расстройство жены. Выяснилось также, что она страдает алкоголизмом. Все это отрицательно сказывалось на творчестве Фицджеральда.

Менялась и общественная атмосфера. После 1929 года «век джаза» сменился эпохой «красных». Господствовал стандарт поведения, будто бы единственно возможный, как считалось, в современной американской жизни.

Всевозможные культуртрегеры беззастенчиво эксплуатировали наследие «века джаза», и, разумеется, наибольшее внимание в этой культурной травле отдавалось его основателю Фицджеральду, слишком поздно понявшему смену настроений и оставшемуся один на один с богатыми и бездарными хозяувами «Сатердэй ивнинг пост». Друзья пытались переломить его судьбу, но та была богаче и нахальнее и за большие деньги скупала у него сочинения, недостойные его таланта. А он все писал и писал, но не для читателя, а для издателя, переделывая свои творения по требованиям Голливуда.

Он пытался было вырваться из гонорарного плена, затеяв роман, но из этого ничего не вышло: роман лежал у него в столе, в то время как готовые гранки рассказов шли в типографию.

Полный отчаяния, он пишет Хемингуэю: «Может быть, я слишком рано сказал все, что мог сказать, да к тому же мы ведь жили все время на предельной скорости, все время искали самой веселой жизни, какая только возможна».

Он доходил до самоуничтожения, называя свои сочинения «мусором» и «дрянью», при этом в его «черный список» попадали не только скороспелки, но и истинно художественные произведения, такие, как «Алмазная гора», «Молодой богач», «Две вины», «Опять Вавилон», «Ночь нежна». Последняя новелла была создана Фицджеральдом в трудные для него тридцатые годы и хорошо показывает бездну отчаяния, в которую низвергнут писатель.

Закончив «Ночь нежна», Фицджеральд начал писать эссе, подвергая самого себя беспощадному суду: за уступчивость этическим нормам «процветающей» Америки, отступничество от творческой свободы, крушение художественных идеалов.

Между тем над ним собирались тучи. Новое поколение не принимало его, «Ночь нежна» не расходилась, и даже «Пост» не брал его рассказов. Зельду уже не выпускали из сумасшедшего дома. Дочь Скотта — самый близкий ему человек — жила в закрытом пансионате и успешно перенимала поведение «девочек из хороших семей».

Нужно было работать, чтобы оплачивать огромные счета, и он принял предложение «Метро-Голден-Майер», став штатным сценаристом. Впрочем, ненадолго, так как атмосфера на студии была угнетающей.

Контракт стал для него удавкой, он часто психологически срывался, пил.

Друзья отворачивались от него, но самый обидный удар нанес Хемингуэй своими «Снегами Килиманджаро», где писалось о «бедняге Скотте Фицджеральде» и его благоговении перед богатыми.

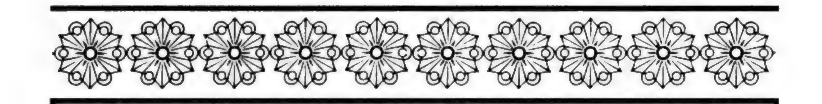
Фицджеральду было больно вдвойне — и потому, что он любил Хемингуэя, и потому, что это была неправда: он давно отошел от молодежи двадцатых годов, а никакого благоговения ни перед кем, кроме Достоевского, никогда не испытывал.

А Голливуд требовал от него сюжетов про «американское счастье», тогда как он начал работать над «Последним магнатом», опровергая и досужие разговоры о том, что он не состоялся как писатель, и собственную оценку которую дал себе в «Крушении».

И только смерть помешала ему закончить работу.

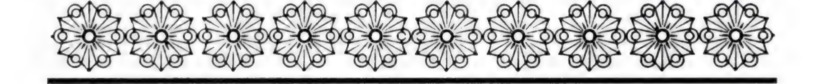
Она пришла в 1940 году как избавление от всех его страданий, когда ему было всего 44 года.

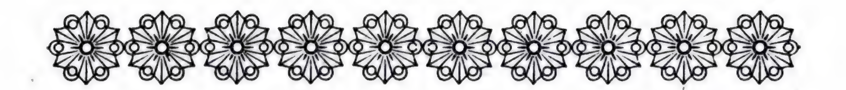
В. Вербицкий



ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ







Книга первая

РОМАНТИЧЕСКИЙ ЭГОИСТ

Глава I

ЭМОРИ, СЫН БЕАТРИСЫ

Эмори Блейн унаследовал от матери все, кроме тех нескольких трудно определимых черточек, благодаря которым он вообще чего-нибудь стоил. Его отец, человек бесхарактерный и безликий, с пристрастием к Байрону и с привычкой дремать над «Британской энциклопедией», разбогател в тридцать лет после смерти двух старших братьев, преуспевающих чикагских биржевиков, и, воодушевленный открытием, что к его услугам весь мир, поехал в Бар-Харбор, где познакомился с Беатрисой О'Хара. В результате Стивен Блейн получил возможность передать потомству свой рост — чуть пониже шести футов, и свою неспособность быстро принимать решения, каковые особенности и проявились в его сыне Эмори. Долгие годы он маячил где-то на заднем плане семейной жизни, безвольный человек с лицом, наполовину скрытым прямыми шелковистыми волосами, вечно поглощенный «заботами» о жене, вечно снедаемый сознанием, что он ее не понимает и не в силах понять.

Зато Беатриса Блейн, вот это была женщина! Ее давнишние снимки — в отцовском поместье в Лейк-Джинева, штат Висконсин, или в Риме, у монастыря Святого Сердца,— роскошная деталь воспитания, доступного в то время только дочерям очень богатых родителей, запечатлели восхитительную тонкость ее черт, законченную изысканность и простоту ее туалетов. Да, это было блестящее воспитание, она провела юные годы в лучах Ренессанса, приобщилась к последним сплетням о всех старинных римских семействах, ее, как баснословно богатую юную американку, знали по имени кардинал Витори и королева Маргарита, не говоря уже о менее явных знаменитостях, о которых и услышать-то можно было, только обладая определенной культурой. В Англии она научилась

предпочитать вину виски с содовой, а за зиму, проведенную в Вене, ее светская болтовня стала и разнообразнее и смелее. Словом, Беатрисе О'Хара досталось в удел воспитание, о каком в наши дни нельзя и помыслить; образование, измеряемое количеством людей и явлений, на которые следует взирать свысока или же с благоговением; культура, вмещающая все искусства и традиции, но ни единой идеи. Это было в самом конце той эпохи, когда великий садовник срезал с куста все мелкие неудавшиеся розы, чтобы вывести один безупречный цветок.

В каком-то промежутке между двумя захватывающими сезонами она вернулась в Америку, познакомилась со Стивеном Блейном и вышла за него замуж — просто потому, что немножко устала, немножко загрустила. Своего единственного ребенка она носила томительно скучную осень и зиму и произвела на свет весенним днем 1896 года.

В пять лет Эмори уже был для нее прелестным собеседником и товарищем. У него были каштановые волосы, большие красивые глаза, до которых ему предстояло дорасти, живой ум, воображение и вкус к нарядам. С трех до девяти лет он объездил с матерью всю страну в личном салон-вагоне ее отца — от Коронадо, где мать так скучала, что с ней случился нервный припадок в роскошном отеле, до Мехико-Сити, где она заразилась легкой формой чахотки. Это недомогание пришлось ей по вкусу, и впоследствии она, особенно после нескольких рюмок, любила пользоваться им как элементом атмосферы, которой себя окружала.

Таким образом, в то время как не столь удачливые богатые мальчики воевали с гувернантками на взморье в Ньюпорте, в то время как их шлепали и журили и читали им вслух «Дерзай и сделай» и «Фрэнка на Миссисипи», Эмори кусал безропотных малолетних рассыльных в отеле «Уолдорф», преодолевал врожденное отвращение к камерной и симфонической музыке и подвергался в высшей степени выборочному воспитанию матери.

— Эмори!

— Что, Беатриса? (Она сама захотела, чтобы он так странно ее называл.)

— Ты и не думай еще вставать, милый. Я всегда считала, что рано вставать вредно для нервов. Клотильда уже распорядилась, чтобы завтрак принесли тебе в номер.

— Ладно.

— Я сегодня чувствую себя очень старой, Эмори,— вздыхала она, и лицо ее застывало в страдании, подобно прекрасной камее, голос искусно замирал п повышался, а руки взлетали выразительно, как у Сары Бернар.— Нервы у меня вконец издерганы. Завтра мы уедем из этого ужасного города, поищем где-нибудь солнца.

Сквозь спутанные волосы Эмори поглядывал на мать своими проницательными зелеными глазами. Он уже тогда не обольщался на ее счет.

— Эмори!

— Ну что?

— Тебе необходимо принять горячую ванну — как можно горячее, как сможешь терпеть, и дать отдых нервам. Если хочешь, можешь взять в ванну книжку.

Ему еще не было десяти, когда она пичкала его фрагментами из «Fêtes galantes»[1] Дебюсси; в одиннадцать лет он бойко, хотя и с чужих слов, рассуждал о Брамсе, Моцарте и Бетховене. Как-то раз, когда его оставили одного в отеле, он отведал абрикосового ликера, которым поддерживала себя мать, и, найдя его вкусным, быстро опьянел. Сначала было весело, но на радостях он попробовал и закурить, что вызвало вульгарную, самую плебейскую реакцию. Этот случай привел Беатрису в ужас, однако же втайне и позабавил ее, и она, как выразилось бы следующее поколение, включила его в свой репертуар.

— Этот мой сынишка,— сообщила она однажды при нем целому сборищу женщин, внимавших ей со страхом и восхищением,— абсолютно все понимает и вообще очарователен, но вот здоровье у него слабое... У нас ведь у всех слабое здоровье.— Ее рука сверкнула белизной на фоне красивой груди, а потом, понизив голос до шепота, она рассказала про ликер. Гостьи смеялись, потому что рассказывала она отлично, по нескольку буфетов было в тот вечер заперто на ключ от возможных поползновений маленьких Бобби и Бетти...

Семейные паломничества неизменно совершались с помпой: две горничные, салон-вагон (или мистер Блейн, когда он оказывался под рукой) и очень часто — врач. Когда Эмори болел коклюшем, четыре специалиста, рассевшись вокруг его кроватки, бросали друг на друга злобные взгляды; когда он подхватил скарлатину, число услужающих, включая врачей и сиделок, достигло четырнадцати. Но, несмотря на это, он все же выздоровел.

---

[1] «Галантные праздники» (*фр.*).

Имя Блейн не было связано ни с одним из больших городов. Они были известны как Блейны из Лейк-Джинева; взамен друзей им вполне хватало многочисленной родни, и они пользовались весом везде — от Пасадены до мыса Код*. Но Беатриса все больше и больше тяготела к новым знакомствам, потому что некоторые свои рассказы, как, например, о постепенной эволюции своего организма или о жизни за границей, ей через определенные промежутки времени требовалось повторять. Согласно Фрейду, от этих тем, как от навязчивых снов, нужно было избавляться, чтобы не дать им завладеть ею и подточить ее нервы. Но к американкам, особенно к кочевому племени уроженок Запада, она относилась критически.

— Их невозможно слушать, милый,— объясняла она сыну.— Они говорят не как на Юге и не как в Бостоне, их говор ни с какой местностью не связан, просто какой-то акцент...— Начиналась игра фантазии.— Они откапывают какой-нибудь обветшалый лондонский акцент, давно оставшийся не у дел,— надо же кому-то его приютить. Говорят, как английский дворецкий, который несколько лет прослужил в оперной труппе в Чикаго.— Дальше шло уже почти непонятное: — Наверно... период в жизни каждой женщины с Запада... чувствует, что ее муж достаточно богат, чтобы ей уже можно было обзавестись акцентом... они пытаются пустить мне пыль в глаза, *мне*...

Собственное тело представлялось ей клубком всевозможных болезней, однако свою душу она тоже считала больной, а значит — очень важной частью себя. Когда-то она была католичкой, но, обнаружив, что священники слушают ее гораздо внимательнее, когда она готова либо вот-вот изувериться в матери-церкви, либо вновь обрести веру в нее,— удерживалась на неотразимо шаткой позиции. Порой она сетовала на буржуазность католического духовенства в Америке и утверждала, что, доведись ей жить под сенью старинных европейских соборов, ее душа по-прежнему горела бы тонким язычком пламени на могущественном престоле Рима. В общем, священники были, после врачей, ее любимой забавой.

— Ах, епископ Уинстон,— заявляла она,— я вовсе не хочу говорить о себе. Воображаю, сколько истеричек толпится с просьбами у вашего порога, зная, какой вы симпатико...— Потом, после паузы, заполненной репликой священника: — Но у меня, как ни странно, совсем иные заботы.

Только тем священнослужителям, что носили сан не ниже епископского, она поверяла историю своего клерикального

романа. Давным-давно, только что вернувшись на родину, она встретила в Ашвилле молодого человека суинберновско-языческого толка, чьи страстные поцелуи и недвусмысленные речи не оставили ее равнодушной. Они обсудили все «за» и «против» как интеллигентные влюбленные, без тени сентиментальности, и в конце концов она решила выйти замуж в соответствии со своим общественным положением, а он пережил духовный кризис, принял католичество и теперь звался монсеньор Дарси.

— А знаете, миссис Блейн, он ведь и сейчас еще интереснейший человек, можно сказать — правая рука кардинала.

— Когда-нибудь, я уверена, Эмори обратится к нему за советом,— лепетала красавица,— и монсеньор Дарси поймет его, как понимал меня.

К тринадцати годам Эмори сильно вытянулся и стал еще больше похож на свою мать — ирландку. Время от времени он занимался с учителями,— считалось, что в каждом новом городе он должен «продолжать с того места, где остановился». Но поскольку ни одному учителю не удалось выяснить, где именно он остановился, голова его еще не была сверх меры забита знаниями. Трудно сказать, что бы из него получилось, если бы такая жизнь тянулась еще несколько лет. Но через четыре часа после того, как они с матерью отплыли в Италию, у него обнаружился запущенный аппендицит — скорее всего, от частых завтраков и обедов в постели,— и в результате отчаянных телеграмм в Европу и Америку, к великому изумлению пассажиров, огромный пароход повернул обратно к Нью-Йорку, и Эмори был высажен на мол. Согласитесь, что это было великолепно, если и не слишком разумно.

После операции у Беатрисы был нервный срыв, подозрительно смахивающий на белую горячку, и Эмори на два года оставили в Миннеаполисе у дяди с теткой. И там его застигла, можно сказать, врасплох грубая, вульгарная цивилизация американского Запада.

Эпизод с поцелуем

Он читал, презрительно кривя губы:

«Мы устраиваем катанье на санях в четверг семнадцатого декабря. Надеюсь, что и Вы сможете поехать. Приходите к пяти часам.

Преданная Вам *Майра Сен-Клер*».

Он прожил в Миннеаполисе два месяца и все это время заботился главным образом о том, чтобы другие мальчики в школе не заметили, насколько выше их он себя считает. Однако убеждение это зиждилось на песке. Однажды он отличился на уроке французского (французским он занимался в старшем классе), к великому конфузу мистера Рирдона, над чьим произношением он высокомерно издевался, и к восторгу всего класса. Мистер Рирдон, который десять лет назад провел несколько недель в Париже, стал в отместку на каждом уроке гонять его по неправильным глаголам. Но в другой раз Эмори решил отличиться на уроке истории, и тут последствия были самые плачевные, потому что его окружали сверстники, и они потом целую неделю громко перекрикивались, утрируя его столичные замашки: «На мой взгляд... э-э-э... в американской революции были заинтересованы главным образом средние классы...», или: «Вашингтон происходил из хорошей семьи, да, насколько мне известно, из очень хорошей семьи...»

Чтобы спастись от насмешек, Эмори даже пробовал нарочно ошибаться и путать. Два года назад он как раз начал читать одну книгу по истории Соединенных Штатов, которую, хоть она и доходила только до Войны за независимость, его мать объявила прелестной.

Хуже всего дело у него обстояло со спортом, но, убедившись, что именно спортивные успехи обеспечивают мальчику влияние и популярность в школе, он тут же стал тренироваться с яростным упорством — изо дня в день, хотя лодыжки у него болели и подвертывались, совершал на катке круг за кругом, стараясь хотя бы научиться держать хоккейную клюшку так, чтобы она не цеплялась все время за коньки.

Приглашение мисс Майры Сен-Клер пролежало все утро у него в кармане, где пришло в тесное соприкосновение с пыльным остатком липкой ореховой конфеты. Во второй половине дня он извлек его на свет божий, обдумал и, набросав предварительно черновик на обложке «Первого года обучения латинскому языку» Коллара и Дэниела, написал ответ:

«Дорогая мисс Сен-Клер!

Ваше прелестное приглашение на вечер в будущий четверг доставило мне сегодня утром большую радость. Буду счастлив увидиться с Вами в четверг вечером.

Преданный Вам *Эмори Блейн*».

И вот в четверг он задумчиво прошагал к дому Майры по скользким после скребков тротуарам и подошел к подъезду в половине шестого, решив, что именно такое опоздание одобрила бы его мать. Позвонив, он ждал на пороге, томно полузакрыв глаза и мысленно репетируя свое появление. Он без спешки пройдет через всю комнату к миссис Сен-Клер и произнесет с безошибочно правильной интонацией:

«Дорогая миссис Сен-Клер, простите, ради бога, за опоздание, но моя горничная...— он осекся, сообразив, что это было бы плагиатом,— но мой дядя непременно хотел представить меня одному человеку... Да, с вашей прелестной дочерью мы познакомились в танцклассе».

Потом он пожмет всем руку, слегка, на иностранный манер поклонится разряженным девочкам и небрежно кивнет ребятам, которые будут стоять, сбившись тесными кучками, чтобы не дать друг друга в обиду.

Дверь отворил дворецкий (один из троих во всем Миннеаполисе) . Эмори вошел и снял пальто и шапку. Его немного удивило, что из соседней комнаты не слышно хора визгливых голосов, но он тут же решил, что прием сегодня торжественный, официальный. Это ему понравилось, как понравился и дворецкий.

— Мисс Майра,— сказал он.

К его изумлению, дворецкий нахально ухмыльнулся.

— Да, она-то дома,— выпалил он, неудачно подражая говору английского простолюдина.

Эмори окинул его холодным взглядом.

— Только, кроме нее-то, никого дома нет.— Голос его без всякой надобности зазвучал громче.— Все уехали.

Эмори даже ахнул от ужаса:

— Как?!

— Она осталась ждать Эмори Блейна. Скорей всего, это вы и есть? Мать сказала, если вы заявитесь до половины шестого, чтобы вам двоим догонять их в «паккарде».

Отчаяние Эмори росло, но тут появилась и Майра, закутанная в меховую накидку,— лицо у нее было недовольное, вежливый тон давался ей явно с усилием:

— Привет, Эмори.

— Привет, Майра.— Он дал ей понять, что угнетен до крайности.

— Все-таки добрался наконец.

— Я сейчас тебе объясню. Ты, наверно, не слышала про автомобильную катастрофу.

Майра широко раскрыла глаза.

— А кто ехал?

— Дядя, тетя и я,— бухнул он с горя.

— И кто-нибудь убит?

Он помедлил и кивнул головой.

— Твой дядя?

— Нет, нет, только лошадь... такая, серая.

Тут мужлан-дворецкий поперхнулся от смеха.

— Небось лошадь убила мотор,— подсказал он.

Эмори не задумываясь послал бы его на плаху.

— Ну, мы уезжаем,— сказала Майра спокойно.— Понимаешь, Эмори, сани были заказаны на пять часов, и все уже собрались, так что ждать было нельзя...

— Но я же не виноват...

— Ну и мама велела мне подождать до половины шестого. Мы догоним их еще по дороге к клубу Миннегага.

Последние остатки притворства слетели с Эмори. Он представил себе, как сани, звеня бубенцами, мчатся по заснеженным улицам, как появляется лимузин, как они с Майрой выходят из него под укоряющими взглядами шестидесяти глаз, как он приносит извинения... на этот раз невыдуманные. Он громко вздохнул.

— Ты что? — спросила Майра.

— Да нет, я просто зевнул. А мы наверняка догоним их еще по дороге?

У него зародилась слабая надежда, что они проскользнут в клуб Миннегага первыми и там встретят остальных, как будто уже давно устали ждать, сидя у камина, и тогда престиж его будет восстановлен.

— Ну конечно, конечно, догоним. Только не копайся.

У него засосало под ложечкой. Садясь в автомобиль, он наскоро подмешал дипломатии в только что зародившийся сокрушительный план. План был основан на чьем-то отзыве, кем-то переданном ему в танцклассе, что он «здорово красивый и что-то в нем есть английское».

— Майра,— сказал оп, понизив голос и тщательно выбирая слова.— Прости меня, умоляю. Ты можешь меня простить?

Она серьезно поглядела на него, увидела беспокойные зеленые глаза и губы, казавшиеся ей, тринадцатилетней читатель-

нице модных журналов, верхом романтики. Да, Майра с легкостью могла его простить.

— Н-ну... В общем, да.

Он снова взглянул на нее и опустил глаза. Своим ресницам он тоже знал цену.

— Я ужасный человек,— сказал он печально.— Не такой, как все. Сам не знаю, почему я совершаю столько оплошностей. Наверно, потому, что мне всё — всё равно.— Потом, беспечно: — Слишком много курю последнее время. Отразилось на сердце.

Майра представила себе ночную оргию с курением и Эмори, бледного, шатающегося, с отравленными никотином легкими. Она негромко вскрикнула:

— Ой, Эмори, не надо курить, ну пожалуйста. Ты же перестанешь расти.

— А мне все равно,— повторил он мрачно.— Бросить я не могу. Привык. Я много делаю такого, что если б узнали мои родственники... На прошлой неделе я ходил в театр варьете.

Майра была потрясена. Он опять взглянул на нее зелеными глазами.

— Из всех здешних девочек только ты мне нравишься! — воскликнул он с чувством.— Ты симпатико.

Майра не была в этом уверена, но звучало слово модно, хотя почему-то и неприлично.

На улице уже сгустилась темнота. Лимузин круто свернул, и Майру бросило к Эмори. Их руки соприкоснулись.

— Нельзя тебе курить, Эмори,— прошептала она.— Неужели ты сам не понимаешь?

Он покачал головой.

— Никому до меня нет дела.

Майра сказала не сразу:

— Мне есть.

Что-то шевельнулось в его сердце.

— Еще чего! Ты влюблена в Фрогги Паркера, это всем известно.

— Неправда,— произнесла она медленно — и замолчала.

Эмори ликовал. В Майре, уютно отгороженной от холодной, туманной улицы, было что-то неотразимое. Майра, клубочек из меха, и желтые прядки вьются из-под спортивной шапочки.

— Потому что я тоже влюблен...

Он умолк, заслышав вдали взрывы молодого смеха, и, прильнув к замерзшему стеклу, разглядел под уличными фо-

нарями темные контуры саней. Нужно действовать немедля. С усилием он подался вперед и схватил Майру за руку — вернее, за большой палец.

— Скажи ему, пусть едет прямо в Миннегагу,— шепнул он.— Мне нужно с тобой поговорить, обязательно.

Майра тоже разглядела сани с гостями, на секунду представила себе лицо матери, а потом — прощай, строгое воспитание! — еще раз заглянула в те глаза.

— Здесь сверните налево, Ричард, и прямо к клубу Миннегага! — крикнула она в переговорную трубку.

Эмори со вздохом облегчения откинулся на подушки.

«Я могу ее поцеловать,— подумал он.— В самом деле могу. Честное слово».

Небо над головой было где чистое как стекло, где туманное; холодная ночь вокруг напряженно вибрировала. От крыльца загородного клуба тянулись вдаль дороги — темные складки на белом одеяле, и высокие сугробы окаймляли их, словно отмечая путь гигантских кротов. Они постояли на ступеньках, глядя на белую зимнюю луну.

— Такие вот бледные луны...— Эмори неопределенно повел рукой,— облекают людей таинственностью. Ты сейчас похожа на молодую колдунью без шапки, растрепанную...— Ее руки потянулись пригладить волосы.— Нет, не трогай, так очень красиво.

Они не спеша поднялись на второй этаж, и Майра провела его в маленькую гостиную, как раз такую, о какой он мечтал, где стоял большой низкий диван, а перед ним уютно потрескивал огонь в камине. Несколько лет спустя комната эта стала для Эмори подмостками, колыбелью многих эмоциональных коллизий. Сейчас они поговорили о катании с гор.

— Всегда бывает парочка стеснительных ребят,— рассуждал он,— они садятся на санки сзади, перешептываются и норовят столкнуть друг друга в снег. И всегда бывает какая-нибудь косоглазая девчонка, вот такая,— он скорчил жуткую гримасу,— та все время дерзит взрослым.

— Странный ты мальчик,— задумчиво сказала Майра.

— Чем? — Теперь он был весь внимание.

— Да вечно болтаешь что-то непонятное. Пойдем завтра на лыжах со мной и с Мэрилин?

— Не люблю девочек при дневном свете,— отрезал он и тут же, спохватившись, что это слишком резко, добавил: — Ты-то мне нравишься.— Он откашлялся.— Ты у меня на первом, на втором и на третьем месте.

Глаза у Майры стали мечтательные. Рассказать про это Мэрилин — вот удивится! Как они сидели на диване с этим необыкновенным мальчиком, и камин горел, и такое чувство, будто они одни во всем этом большущем доме.

Майра сдалась. Очень уж располагающая была обстановка.

— Ты у меня от первого места до двадцать пятого,— призналась она дрожащим голосом,— а Фрогги Паркер на двадцать шестом.

За один час Фрогги потерял двадцать пять очков, но он еще не успел это заметить.

Эмори же, будучи на месте, наклонился и поцеловал Майру в щеку. Он еще никогда не целовал девочку и теперь облизал губы, словно только что попробовал какую-то незнакомую ягоду. Потом их губы легонько соприкоснулись, как полевые цветы на ветру.

— Нельзя так,— радостно шепнула Майра.

Она нашарила его руку, склонилась головой ему на плечо.

Внезапно Эмори охватило отвращение, все стало ему гадко, противно. Хотелось убежать отсюда, никогда больше не видеть Майру, никогда больше никого не целовать; он словно со стороны увидел свое лицо и ее, их сцепившиеся руки и жаждал одного — вылезти из собственного тела и спрятаться подальше, в укромном уголке сознания.

— Поцелуй меня еще раз.— Ее голос донесся из огромной пустоты.

— Не хочу,— услышал он свой ответ.

Снова молчание.

— Не хочу,— повторил он со страстью.

Майра вскочила, щеки ее пылали от оскорбленного самолюбия, бант на затылке негодующе трепыхался.

— Я тебя ненавижу! — крикнула она.— Не смей больше со мной разговаривать!

— Что? — растерялся он.

— Я скажу маме, что ты меня поцеловал. Скажу, скажу, и она запретит мне с тобой водиться.

Эмори встал и беспомощно смотрел на нее, точно видел перед собой живое существо, совершенно незнакомое и нигде не описанное.

Дверь отворилась, на пороге стояла мать Майры, доставая из сумочки лорнет.

— Ну вот,— начала она приветливо, поднося лорнет к глазам.— Портье так и сказал мне, что вы, наверно, здесь... Здравствуйте, Эмори.

Эмори смотрел на Майру и ждал взрыва, но взрыва не последовало. Сердитое лицо разгладилось, румянец сбежал с него, и, когда она отвечала матери, голос ее был спокоен, как озеро под летним солнцем.

— Мы так поздно выехали, мама, я подумала, что нет смысла...

Снизу донесся звонкий смех и сладковатый запах горячего шоколада и пирожных. Эмори молча стал спускаться по лестнице вслед за матерью и дочерью. Звуки граммофона сливались с девичьими голосами, которые негромко вели мелодию, и словно налетело и окутало его теплое светящееся облако.

Кейси Джонс опять залез в кабину,
Кейси Джонс — работай, не зевай...
Кейси Джонс опять залез в кабину
И последним перегоном двинул в рай[1].

Моментальные снимки юного эгоиста

В Миннеаполисе Эмори провел почти два года. В первую зиму он носил мокасины, которые при рождении были желтыми, но после неоднократной обработки растительным маслом и грязью приобрели нужный зеленовато-коричневый оттенок; а также толстое, серое в клетку пальто и красную спортивную шапку. Красную шапку съела его собака по кличке Граф дель Монте, и дядя подарил ему серый вязаный шлем, очень неудобный: в него приходилось дышать, и дыхание замерзало, один раз он этой гадостью отморозил щеку, и, как ни оттирал ее снегом, она все равно посинела.

Граф дель Монте как-то съел коробку синьки, но это ему не повредило. А через некоторое время он сошел с ума и понесся по улице, натыкаясь на заборы, катаясь в канавах, да так навсегда и умчался безумным аллюром из жизни Эмори. Эмори бросился на кровать и заплакал.

— Бедный маленький Граф! — плакал он.— Бедный, бедный маленький Граф!

Несколько месяцев спустя ему пришло в голову, что сцена сумасшествия была Графом разыграна, и очень ловко.

---

[1] Все стихи в этом романе переведены В. Роговым.

Самым мудрым изречением в мировой литературе Эмори и Фрог Паркер почитали одну реплику из третьего действия пьесы «Арсен Люпен». И в среду и в субботу они сидели на дневном спектакле в первом ряду. Изречение было такое:

«Если человек не способен стать великим артистом или великим полководцем, самое лучшее для него — стать великим преступником».

Эмори опять влюбился и сочинил стихи. Вот такие:

Их две, а я один —
Люблю и Салли и Мэрилин.
Хоть Салли очень хороша,
Но к Мэрилин лежит душа.

Его интересовало, первое или второе место займет Макговерн из Миннесоты на всеамериканских футбольных состязаниях, как показывать фокусы с картами и с монетой, галстуки «хамелеон», как родятся дети и правда ли, что Трехпалый Браун как подающий сильнее Кристи Мэтьюсона.

Прочел он, среди прочих, следующие произведения: «За честь школы», «Маленькие женщины» (два раза), «Обычное право», «Сафо», «Грозный Дэн Макгру», «Широкая дорога» (три раза), «Падение дома Эшеров», «Три недели», «Мэри Уэр, подружка полковника», «Гунга Дин», «Полицейская газета» и «Сборник лучших острот и шуток».

В истории он следовал пристрастиям Хенти* и очень любил веселые рассказы с убийствами, которые писала Мэри Робертс Рейнхарт.

Школа испортила ему французский язык и привила отвращение к литературным корифеям. Учителя считали, что он ленив, неоснователен и знания у него поверхностные.

Многие девочки дарили ему прядки волос. Некоторые давали поносить свои колечки, но потом перестали, потому что у него была нервная привычка покусывать их, держа палец у губ, а это вызывало ревнивые подозрения у последующих счастливцев.

Летом Эмори и Фрог Паркер каждую неделю ходили в театр. После спектакля, овеянные благоуханием августовского вечера, шли в веселой толпе домой по Хеннепин и по Николетт-

авеню и мечтали. Эмори дивился, как это люди не замечают, что он — мальчик, рожденный для славы, и, когда прохожие оборачивались на него и бесцеремонно встречались с ним глазами, напускал на себя самый романтический вид и ступал по воздушным подушкам, которыми устлан асфальт для четырнадцатилетних.

И всегда, улегшись в постель, он слышал голоса — смутные, замирающие, чудесные — совсем близко, прямо за окном, а перед тем как уснуть, видел один из своих любимых, им же придуманных снов: либо о том, как он становится знаменитым полузащитником, либо про вторжение японцев и как в награду за боевые заслуги его производят в чин генерала — самого молодого генерала в мире. Во сне он всегда кем-то становился, а не просто был. В этом очень точно выражался его характер.

Кодекс юного эгоиста

До того как его вытребовали обратно в Лейк-Джинева, он, робея, но не без тайного ликования, облекся в первые длинные брюки, а к ним — лиловый плиссированный галстук, воротничок «бельмонт» с плотно сходящимися на горле концами, лиловые носки и носовой платок с лиловой каймой, выглядывающий из нагрудного кармашка. И, что еще важнее, он выработал для себя кодекс, или свою первую философскую систему, которую вернее всего будет определить как аристократический эгоцентризм.

Он пришел к выводу, что самые важные его интересы совпадают с интересами некоего непостоянного, изменчивого человека, именуемого — дабы не отрывать его от прошлого,— Эмори Блейном. Он установил, что ему повезло в жизни, поскольку он способен бесконечно развиваться и в хорошую и в дурную сторону. Он не приписывал себе «сильный характер», но полагался на свои способности (заучиваю быстро) и на свое умственное превосходство (читаю уйму серьезных книг). Он гордился тем, что никогда не достигнет высот ни в технике, ни в точных науках. Все же остальные пути для него открыты.

Наружность. Эмори полагал, что он на редкость красив. Так оно, впрочем, и было. Он уже видел себя многообещающим спортсменом и искусным танцором.

Положение в обществе. Тут, пожалуй, таилась самая большая опасность. Однако он не отказывал себе в оригинально-

сти, обаянии, магнетизме, умении затмить любого сверстника и очаровать любую женщину.

Ум. В этом смысле он ощущал свое явное, неоспоримое превосходство.

Далее придется выдать один секрет. Эмори был наделен чуть ли не пуританской совестью. Не то чтобы он слушался ее — в позднейшие годы он почти окончательно ее задушил,— но в пятнадцать лет она ему подсказывала, что он намного хуже других мальчиков... беззастенчивость... желание влиять на окружающих во всем, даже в дурном... известная холодность и недостаток доброты, порой граничащий с жестокостью... зыбкое чувство чести... неправедное себялюбие... опасливый, неотвязный интерес к вопросам пола.

И еще — все его существо пронизывала какая-то недостойная слабость. Резкое слово, брошенное мальчиком старше его годами (а они, как правило, терпеть его не могли), грозило выбить у него почву из-под ног, повергнуть его в хмурую настороженность или в трусливый идиотизм... он был рабом собственных настроений и сознавал, что хотя и способен проявить бесшабашную дерзость, однако лишен и настоящей храбрости, и упорства, и самоуважения.

Тщеславие, умеряемое если не знанием себя, то недоверием к себе, ощущение, что люди подвластны ему, как автоматы, желание «обогнать» возможно больше мальчиков и достичь некой туманной вершины мира — с таким багажом Эмори вступал в годы юности.

Накануне великих перемен

Поезд, разморенный летней жарой, медленно остановился у платформы в Лейк-Джинева, и Эмори увидел мать, поджидавшую его в своем электромобиле. Мотор был старый, одной из первых марок, серого цвета. Увидев, как грациозно и прямо она сидит и как на ее прекрасном, чуть надменном лице заиграла легкая, полузабытая им улыбка, он вдруг почувствовал, что безмерно гордится ею. Когда он, обменявшись с ней сдержанным поцелуем, залезал в автомобиль, его кольнул страх — не утратил ли он обаяния, необходимого, чтобы держаться на ее уровне.

— Милый мальчик, ты так вырос... Посмотри-ка, не едет ли что-нибудь сзади.

Она бросила взгляд направо, налево и двинулась вперед со скоростью две мили в час, умоляя Эмори быть начеку; а на одном оживленном перекрестке велела ему выйти и бежать вперед, чтобы очистить ей дорогу, как делают постовые полисмены. Беатриса была, что называется, осторожным водителем.

— Ты сильно вырос, но по-прежнему очень красив, ты перешагнул через нескладный возраст — а может быть, это шестнадцать лет? — или четырнадцать, или пятнадцать — всегда забываю, но ты через него перешагнул.

— Не конфузь меня,— еле слышно сказал он.

— Но, дорогой мой, как ты странно одет! Все словно подобрано в тон или это нарочно? А белье на тебе тоже лиловое?

Эмори невежливо хмыкнул.

— Тебе нужно будет съездить к Бруксу, заказать сразу несколько приличных костюмов. Мы с тобой побеседуем сегодня вечером или, может быть, завтра вечером. Я хочу все выяснить насчет твоего сердца — ты, наверно, запустил свое сердце и сам этого не знаешь.

Эмори подумал, какую непрочную печать наложило на него общение со сверстниками. Оказалось, что, если не считать некоторой робости, его прежнее взрослое сродство с матерью нисколько не ослабло. И все же первые дни он бродил по саду и по берегу озера в состоянии предельного одиночества, черпая какую-то дремотную отраду в том, что курил в гараже дешевый табак с одним из шоферов.

По шестидесяти акрам поместья были во множестве разбросаны старые и новые беседки, фонтаны и белые скамейки, неожиданно возникавшие в тенистых уголках; жило там обширное и неуклонно растущее семейство белых кошек — они рыскали по клумбам, а вечерами внезапно появлялись светлыми пятнами на фоне темных деревьев. На одной из дорожек среди этих темных деревьев Беатриса наконец и настигла Эмори, после того как мистер Блейн, по своему обыкновению, удалился на весь вечер к себе в библиотеку. Побранив его за то, что он ее избегает, она вовлекла его в длинный интимный разговор при лунном свете. Его снова и снова поражала ее красота, которую он унаследовал, ее прелестная шея и плечи, грация богатой тридцатилетней женщины.

— Эмори, милый,— ворковала она,— после того как мы с тобой расстались, я пережила такое странное, нереальное время.

— В самом деле, Беатриса?

— Когда у меня в последний раз был нервный срыв...— она говорила об этом как о геройском подвиге,— доктор сказал

мне...— голос запел в доверительном регистре,— что любой мужчина, если бы он пил так же упорно, как я, буквально погубил бы свой организм и уже давно сошел бы в могилу, вот именно, милый, в могилу.

Эмори поморщился и попробовал вообразить, как воспринял бы такие слова Фрогги Паркер.

— Да,— продолжала Беатриса на трагических нотах,— меня посещали сны — изумительные видения,— Она прижала ладони к глазам.— Я видела, как бронзовые реки плещутся о мраморные берега, а в воздухе парят огромные птицы — разноцветные, с переливчатым оперением. Я слышала странную музыку и рев дикарских труб... что?

Это у Эмори вырвался смешок.

— Что ты сказал, Эмори?

— Я сказал: а дальше что, Беатриса?

— Вот и все, но это бесконечно повторялось — сады такой яркой расцветки, что наш по сравнению показался бы однотонным, луны, которые плясали и кружились, бледнее, чем зимние луны, золотистее, чем летние...

— А сейчас ты совсем здорова, Беатриса?

— Здорова — насколько это для меня возможно. Меня никто не понимает, Эмори. Я знаю, что не сумею это выразить словами, но... меня никто не понимает.

Эмори даже взволновался. Он обнял мать и тихонько потерся головой о ее плечо.

— Бедная, бедная Беатриса.

— Расскажи мне о себе, Эмори. Тебе эти два года жилось ужасно?

Он хотел было соврать, но передумал:

— Нет, Беатриса. Мне жилось хорошо. Я приспособился к буржуазии. Стал жить, как все.

Он сам удивился своим словам и представил себе изумленную физиономию Фрогги.

— Беатриса,— начал он вдруг.— Я хочу уехать куда-нибудь учиться. В Миннеаполисе все уезжают в школу.

— Но тебе только пятнадцать лет.

— Ну что ж, в школу все уезжают в пятнадцать лет, а мне так хочется!

Беатриса тогда предложила оставить этот разговор до другого раза, но неделю спустя она, к его великой радости, заговорила сама:

— Эмори, я решила, пусть будет по-твоему. Если ты не раздумал, можешь ехать в школу.

— Правда?

— В Сент-Реджис, в Коннектикуте.

У Эмори даже сердце забилось.

— Я уже списалась с кем нужно,— продолжала Беатриса.— Тебе и правда лучше уехать. Я бы предпочла, чтобы ты поехал в Итон, а потом учился в Оксфорде, в колледже Христовой Церкви, но сейчас это неосуществимо, а насчет университета пока можно не решать, там видно будет.

— А ты что думаешь делать, Беатриса?

— Понятия не имею. Видимо, мне суждено доживать мою жизнь здесь, в Штатах. Имей в виду, я вовсе не жалею, что я американка, более того, таким сожалениям могут, на мой взгляд, предаваться только очень вульгарные люди, и я уверена, что мы — великая нация, нация будущего. Но все же...— она вздохнула,—я чувствую, что моя жизнь должна бы догорать среди более старой, более зрелой цивилизации, в стране зеленых и по-осеннему бурых тонов...

Эмори промолчал.

— О чем я жалею,— продолжала она,— так это о том, что ты не побывал за границей, но в общем-то тебе, мужчине, лучше взрослеть здесь, под сенью хищного орла... Так ведь это у вас называется?

Эмори подтвердил, что так. Вторжения японцев она бы не оценила.

— Мне когда ехать в школу?

— Через месяц. Выехать нужно пораньше, чтобы сдать экзамены. Потом у тебя будет свободная неделя, и я хочу, чтобы ты съездил в одно место на Гудзоне, в гости.

— К кому?

— К монсеньору Дарси, Эмори. Он хочет тебя повидать. Сам он учился в Англии, в Харроу, а потом в Йельском университете. Принял католичество. Я хочу, чтобы он с тобой поговорил,— я чувствую, он столько может для тебя сделать...— Она ласково погладила сына по каштановым волосам.— Милый, милый Эмори...

— Милая Беатриса...

И вот в начале сентября Эмори, имея при себе «летнего белья три смены, зимнего белья три смены, один свитер, или пуловер, одно пальто зимнее» и т. д., отбыл в Новую Англию, край закрытых школ.

Были там Андовер и Экзетер, овеянные воспоминаниями о местных знаменитостях,— обширные демократии типа кол-

леджей; Сент-Марк, Гротон, Сент- Реджис, набиравшие учеников из Бостона и старых голландских семейств Нью-Йорка; Сент-Пол, славившийся своими катками; Помфрет и Сент-Джордж — процветающие и элегантные; Тафт и Хочкисс, где богатых сынков Среднего Запада готовили к светским успехам в Йеле; Поулинг, Вестминстер, Чоут, Кент и сотни других, из года в год выпускавшие на рынок вымуштрованную, самоуверенную, стандартную молодежь, предлагавшие в виде духовного стимула вступительные экзамены в университет, излагавшие в сотнях циркуляров свою туманную цель: «Обеспечить основательную умственную, нравственную и физическую подготовку, приличествующую джентльмену и христианину, дать юноше ключ к решению проблем своего времени и своего поколения, заложить прочный фундамент для занятий Искусствами и Науками».

В Сент-Реджисе Эмори пробыл три дня, сдал экзамены с высокомерным апломбом, а затем вернулся в Нью-Йорк, чтобы оттуда отправиться с визитом к своему будущему покровителю. Огромный город, увиденный лишь мельком, не поразил его воображения, оставив только впечатление чистоты и опрятности, когда он ранним утром смотрел с палубы парохода на высокие белые здания вдоль Гудзона. К тому же он был так захвачен мечтами о спортивных триумфах в школе, что эту свою поездку считал всего лишь скучной прелюдией к великим переменам. Оказалось, однако, что его ждет нечто совсем другое.

Дом монсеньора Дарси — старинный, неопределенной архитектуры, стоял высоко над рекой, и владелец его жил там в промежутках между разъездами во все концы католического мира, как какой-нибудь король династии Стюартов, ожидающий в изгнании, когда его снова призовут на престол. Монсеньору было в то время сорок четыре года — цветущий, чуть располневший человек с волосами цвета золотой канители, блестящий и чарующий в обхождении. Когда он входил в комнату в своих алых одеждах, он напоминал закаты у Тернера и сразу привлекал к себе восхищенное внимание. Он успел написать два романа: один, незадолго до своего обращения, резко антикатолический, а второй — через пять лет, в котором пытался изменить свои остроумные выпады против католиков на не менее остроумные шпильки по адресу членов епископальной церкви. Он был ярым сторонником обрядов, великолепным актером, уважал идею Бога настолько, что соблюдал безбрачие, и неплохо относился к своим ближним.

Дети обожали его, потому что он был как дитя; молодежь блаженствовала в его обществе, потому что он сам был молод и ничто его не шокировало. В другое время и в другой стране он мог бы стать вторым Ришелье — теперь же это был очень нравственный, очень верующий (если и не слишком набожный) священнослужитель, искусный в пустяковых тайных интригах и в полной мере ценящий жизнь, хотя, возможно, и не так уж ею избалованный.

Он и Эмори с первого взгляда пленили друг друга: вальяжный, почтенный прелат, блиставший на посольских приемах, и зеленоглазый беспокойный мальчик в своих первых длинных брюках, поговорив полчаса, уже ощутили, что их связывают отношения отца с сыном.

— Милый мальчик, я уже сколько лет мечтаю с тобой познакомиться. Выбирай кресло поудобнее, и давай поболтаем.

— Я к вам приехал из школы, знаете — Сент-Реджис.

— Да, твоя мама мне писала — замечательная женщина; вот сигареты — ты ведь, конечно, куришь. Ну-с, если ты похож на меня, ты, значит, ненавидишь естествознание и математику...

Эмори с силой закивал головой.

— Терпеть не могу. Люблю английский и историю.

— Разумеется. В школе тебе первое время тоже не понравится, но я рад, что ты поступил в Сент-Реджис.

— Почему?

— Потому что это школа для джентльменов, и демократия не захлестнет тебя так рано. Этого успеешь набраться в университете.

— Я хочу поступить в Принстон,— сказал Эмори.— Не знаю почему, но мне кажется, что из Гарварда выходят хлюпики, каким я был в детстве, а в Йеле все носят толстые синие свитеры и курят трубки.

Монсеньор заметил со смешком:

— Вот и я там учился.

— Ну, вы-то другое дело... Принстон, по-моему, это что-то медлительное, красивое, аристократическое — ну, понимаете, как весенний день. Гарвард — весь замкнутый в четырех стенах...

— А Йель — ноябрь, морозный и бодрящий,— закончил монсеньор.

— Вот-вот.

Так, быстро и на вечные времена, у них установилась душевная близость.

— Я всегда был на стороне принца Чарли,— объявил Эмори.

— Ну еще бы. И Ганнибала...

— Да, и Южной конфедерации.

Признать себя патриотом Ирландии он решился не сразу — в ирландцах ему чудилось что-то недостаточно благородное, но монсеньор заверил его, что Ирландия — романтическая обреченная страна, а ирландцы — милейшие люди и отдать им свои симпатии более чем похвально.

Пролетел час, в который вместилось еще несколько сигарет и в течение которого монсеньор узнал — с удивлением, но не с ужасом,— что Эмори не взращен в католической вере; а затем он сказал, что ждет еще одного гостя. Этим гостем оказался достопочтенный Торнтон Хэнкок из Бостона, бывший американский посланник в Гааге, автор ученого труда по истории Средних веков и последний отпрыск знатного, прославленного своими патриотическими подвигами старинного рода.

— Он приезжает сюда отдохнуть,— доверительно, как равному, сообщил Эмори монсеньор.— У меня он спасается от слишком утомительного агностицизма, и, думается, только я один знаю, что при всем своем трезвом уме он носится по воле волн и жаждет ухватиться за такой крепкий обломок мачты, как церковь.

Их первый совместный обед остался для Эмори одним из памятных событий его юности. Сам он так и лучился радостью и очарованием. Монсеньор вопросами и подсказкой вытащил на свет его самые интересные мысли, и Эмори с легкостью и блеском рассуждал о своих желаниях и порывах, антипатиях, увлечениях и страхах. Говорили только он и монсеньор, а старший гость, по характеру не столь восприимчивый и всеприемлющий, хотя отнюдь не холодный, слушал и нежился в мягком солнечном свете, перебегавшем от одного к другому. Монсеньор на многих действовал, как луч солнца, и Эмори тоже — в юности и отчасти много позднее, но никогда больше не повторилось это непроизвольное двойное свечение.

«Какой лучезарный мальчик»,— думал Торнтон Хэнкок, которому довелось на своем веку повидать величие двух континентов, беседовать с Парнеллом, Гладстоном и Бисмарком,— а позже, в разговоре с монсеньором, он добавил: — Только не следовало бы вверять его образование какой-нибудь школе или колледжу.

Но в ближайшие четыре года способности Эмори были направлены главным образом на завоевание популярности, а так-

же на сложности университетского общественного строя и американского общества в целом, в том виде, как они выявлялись на чаепитиях в отеле «Билтмор» и в гольф-клубах Хот-Спрингса.

...Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньор умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Найджела», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.

Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.

— Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня,— сказал монсеньор.— Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.

— Мне ужасно жаль...

— Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.

— Ну, не знаю...

— До свиданья.

Эгоисту плохо

Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские «подготовительные» школы, придавленные пятой университетов,— в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса; вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.

Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности, совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.

В любом начальнике он видел врага, и это в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но, поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал,— без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.

Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он — самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог — не так он был создан.

Несчастный, загнанный, не любимый ни товарищами, ни учителями — таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.

— Сначала было непривычно,— небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру,— а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.

Эпизод с доброжелательным преподавателем

В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.

Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.

— Эмори,— начал он,— я хочу поговорить с вами по личному делу.

— Да, сэр?

— Я приглядывался к вам весь этот год, и я... я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень... очень хорошего человека.

— Да, сэр? — выдавил из себя Эмори.

Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.

— Однако я заметил,— продолжал учитель, набравшись духу,— что товарищи вас недолюбливают.

— Да, сэр.— Эмори облизал губы.

— Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас... гм... не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что, если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться... понять, чего от него ждут, и поступать соответственно.— Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: — Видимо, они считают вас... гм... немного нахальным.

Эмори не выдержал. Он встал, и, когда заговорил, голос его срывался.

— Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? — Он почти кричал.— Знаю я, что они думают, можете мне не говорить.— Он осекся.— Я... я... мне надо идти... простите, если вышло грубо.

Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.

— Старый дурак! — восклицал он злобно.— Как будто я сам не знаю!

Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».

Эпизод с чудной девушкой

В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где

он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Коэном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.

Чу́дная девушка,
Как ты чудесна, —

пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.

Чудные речи твои
Мне сердце пронзили...

Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие происходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку — нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:

— До чего же красив мальчишка!

Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.

К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори:

— Хоть сейчас женился бы на этой девушке.

О какой девушке шла речь, было ясно.

— Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями,— продолжал Паскерт.

Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.

— Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?

— Ничего подобного,— уверенно ответил многоопытный юноша.— Эта девушка, например, безупречна, тут сразу видно.

Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Все новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Ои строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего,— спать.

— Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!

Эпизод в героических тонах

Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в прохладный, погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови, повязку у себя на голове, и героику сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Найджелу и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издалека одобрительный рев трибуны... и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.

Философия прилизы

С высоты своих успехов в старшем классе Эмори только посмеивался, вспоминая, как нелегко ему пришлось в первый год. Он изменился настолько, насколько Эмори Блейн вообще мог измениться. Эмори плюс Беатриса плюс два года в Миннеаполисе — таков он был, когда поступал в Сент-Реджис. Но годы в Миннеаполисе наложили на него лишь очень тонкий внешний слой, недостаточный, чтобы скрыть «Эмори плюс Беатрису» от всевидящих глаз закрытой школы, так что сама эта школа взялась безжалостно вытравливать из него Беатрису и натягивать на изначального Эмори новую, не столь экзотическую оболочку.

Однако ни Сент-Реджис, ни Эмори не оценили того обстоятельства, что изначальный-то Эмори не изменился. Свойства, за которые ему так жестоко доставалось,— обидчивость, позерство, лень, склонность прикидываться дурачком — теперь принимались как должное, как невинные чудачества блестящего полузащитника, способного актера и редактора сент-реджисского «Болтуна»: он с удивлением убеждался, что некоторые младшие школьники подражают тем самым замашкам, которые еще так недавно в нем осуждались.

Когда кончился футбольный сезон, он расслабился в мечтательном довольстве. В вечер бала перед каникулами он рано улизнул к себе и лег, чтобы насладиться музыкой скрипок, летевшей к нему в окно поверх газонов. И много еще вечеров он провел там, грезя наяву о тайных кабачках Монмартра, где матово-бледные женщины поверяют романтические секреты дипломатам и кондотьерам и оркестр играет венгерские вальсы, а воздух густо настоян на лунном свете, интригах и авантюрах. Весной он по заданию преподавателя прочел «L'Allegro»* и, вдохновленный Мильтоном, стал упражняться в лирических стихах на тему об Аркадии и свирели Пана. Он передвинул свою кровать к окну, чтобы солнце будило его пораньше, и, едва одевшись, бежал к старым качелям, подвешенным на яблоне возле общежития шестого класса. Раскачиваясь все сильней и сильней, он чувствовал, что возносится в самое небо, в волшебную страну, где обитают сатиры и белокурые нимфы — копии тех девушек, что встречались ему на улицах Истчестера. Раскачавшись до предела, он действительно оказывался над

гребнем невысокого холма, за которым бурая дорога терялась вдали золотой точкой.

Среди множества книг, прочитанных им в ту весну, когда ему только-только пошел восемнадцатый год, были «Джентльмен из Индианы», «Новые сказки 1001 ночи», «Человек, который был четвергом» (понравилось, хотя и не понял), «Стоувер в Йеле» (книга, ставшая для него своего рода руководством), «Домби и сын» (когда решил, что надо быть разборчивей в выборе чтения), Роберт Чемберс, Дэвид Грэм Филлипс и Филипс Оппенгейм — все подряд; и кое-что Теннисона и Киплинга. Из всей школьной программы его, кроме «L'Allegro», привлекла только строгая ясность стереометрии.

К началу июня он ощутил потребность в собеседнике, чтобы было перед кем облекать в слова свои новые мысли, и сам удивился, найдя собрата-философа в лице Рэхилла, старосты шестого класса. В долгих беседах — то шагая по дорогам, то лежа на животе на краю бейсбольного поля, или поздно вечером, попыхивая в темноте сигаретами,— они обсуждали школьные дела, и тогда-то родился термин «прилиза».

— Курить есть? — шепнул как-то вечером Рэхилл, всунув голову к Эмори в спальню через пять минут после отбоя.

— Ага.

— Я вхожу.

— Возьми пару подушек и можешь лечь у окна.

Эмори сел в постели и закурил, пока Рэхилл устраивался. Любимой темой Рэхилла была будущность шестиклассников, и Эмори не уставал снабжать его прогнозами.

— Тед Коннерс? Ну, это просто. На экзаменах срежется, все лето будет заниматься с репетитором, по трем-четырем предметам сдаст переэкзаменовки, а первую же сессию опять завалит. Вернется к себе на Запад и с годик будет кутить напропалую, а потом папаша пристроит его торговать красками. Женится, народит четырех безмозглых сыновей. На всю жизнь сохранит уверенность, что Сент-Реджис пошел ему во вред, и сыновья его будут ходить в городскую школу в Портленде. Умрет в возрасте сорока одного года от двигательной атаксии, а жена его пожертвует пресвитерианской церкви купель, или как это там называется, и выгравирует на ней его имя, и...

— Стой, Эмори, хватит. Очень уж мрачно. А про себя ты что скажешь?

— Я из другой категории, высшей. И ты тоже. Мы философы.

— Я-то нет.

— Глупости. Котелок у тебя варит здорово.

Но Эмори знал, что любые абстракции, любые обобщения и теории для Рэхилла пустой звук, пока он не наткнется на вполне конкретные и наглядные их иллюстрации.

— Да нет же,— не сдавался Рэхилл.— Я всем даю собой помыкать, а сам ничего от этого не получаю. Я, черт побери, просто жертва моих одноклассников — готовлю за них уроки, выцарапываю их из всяких заварух, летом, как дурак, езжу к ним в гости и развлекаю их малолетних сестер, терплю, когда они ведут себя как эгоисты, а они воображают, что в награду за это делают мне приятное — голосуют за меня и твердят, что я — вожак Сент-Реджиса. Я хочу жить там, где каждый делает свое дело и любого можно послать подальше. Надоело мне нянчиться со здешними недоумками.

— Ты не прилиза,— сказал вдруг Эмори.

— Не кто?

— Не прилиза.

— Это еще что такое?

— Как бы тебе объяснить — это что-то такое... их очень много. Ты не из них, и я тоже, хотя я, пожалуй, скорее.

— А кто, например, из них? И почему ты такой же?

Эмори ответил, подумав:

— Ну... как тебе сказать... главный признак, по-моему, это когда человек зачесывает волосы назад, смачивает их и прилизывает.

— Как Карстэрс?

— Вот-вот. Он как раз прилиза.

Два вечера ушло на выработку точного определения. У прилизы красивая или, во всяком случае, аккуратная внешность. Он хорошо соображает и использует все средства, совместимые с честностью, чтобы продвинуться в жизни, заслужить популярность и восхищение и избежать неприятностей. Он хорошо одевается, сугубо опрятен, а названием своим обязан тому, что волосы носит короткие, на прямой пробор, и, смочив их водой, прилизывает по последней моде. В том году прилизы избрали эмблемой своего братства роговые очки, так что их было очень легко распознать, Эмори и Рэхилл ни одного не пропустили. Прилиза мог попасться в любом классе, всегда оказывался похитрее и поосмотрительнее своих сверстников и возглавлял какую-нибудь группу или команду, а способности свои тщательно скрывал.

Термин «прилиза» очень помогал Эмори классифицировать людей до первого года в университете, но там его контуры рас-

плылись и смазались до того, что понадобились уже подклассы, из термина он превратился просто в качество. Идеал, который втайне лелеял Эмори, обладал всеми свойствами прилизы, но с добавлением храбрости и недюжинного ума и таланта — а еще Эмори наделил его некоторой долей эксцентричности, что уже никак не входило в портрет чистопородного прилизы.

Это было первым подлинным отходом от ханжества школьных традиций. Понятие «прилиза» подразумевало известную долю житейского успеха, чем он существенно отличался от школьного «примерного ученика».

Прилиза	*Примерный*
1. Тонко чувствует общественную иерархию.	1. Глуповат и игнорирует общественную иерархию.
2. Хорошо одевается. Уверяет, что одежда — чепуха, но знает, что это не так.	2. Считает, что одежда — чепуха, и не уделяет ей должного внимания.
3. Занимается только тем, в чем можно блеснуть.	3. Занимается всем подряд из чувства долга.
4. Поступает в университет и в светском смысле достигает успехов.	4. Поступает в университет, где будущее его проблематично. Теряется вне привычной обстановки и уверяет, что школьные годы как-никак были самые счастливые. Наезжает в школу и произносит речи о полезной деятельности учеников Сент-Реджиса.
5. Волосы прилизывает.	5. Волосы не прилизывает.

Эмори окончательно остановил свой выбор на Принстоне, несмотря даже на то, что больше никто из его класса туда не поступал. Йель был овеян романтикой по рассказам, слышанным еще в Миннеаполисе, а позднее — от выпускников Сент-Реджиса, запроданных в «Череп и Кости», но Принстон притягивал сильнее — соблазняла его яркая красочность и репутация самого приятного в Америке загородного клуба. Омраченные грозной перспективой вступительных экзаменов, школьные годы Эмори незаметно уплыли в прошлое. Через много лет, когда он снова попал в Сент-Реджис, он словно начисто забыл свои успехи в старшем классе, а себя мог вспомнить только трудным мальчиком, что бегал когда-то по коридорам, спасаясь от издевок сверстников, обезумевших от избытка здравомыслия.

Глава II

ШПИЛИ И ХИМЕРЫ

Сперва Эмори заметил только яркий солнечный свет — как он струится по длинным зеленым газонам, танцует в стрельчатых окнах, плавает вокруг шпилей, над башнями и крепостными стенами. Постепенно до его сознания дошло, что он в самом деле идет по Университетской улице, стесняясь своего чемодана, приучая себя смотреть мимо встречных, прямо вперед. Несколько раз он мог бы поклясться, что на него оглянулись с неодобрением. Смутно мелькнула мысль, что он допустил какую-то небрежность в одежде, сожаление, что утром не побрился в поезде. Он чувствовал себя скованным и нескладным среди молодых людей в белых костюмах и без шляп — скорее всего, студентов старших курсов, судя по их уверенному, скучающему виду.

Дом 12 по Университетской, большой и ветхий, показался ему необитаемым, хотя он знал, что обычно здесь живут десятка полтора первокурсников. Наскоро объяснившись с хозяйкой, он вышел на разведку, но, едва дойдя до угла, с ужасом сообразил, что во всем городе, видимо, только он один носит шляпу. Чуть не бегом он вернулся в дом 12, оставил там свой котелок и уже с непокрытой головой побрел по Нассау-стрит. Постоял перед витриной, где были выставлены фотографии спортсменов, в том числе большой портрет Алленби, капитана футбольной команды, потом увидел над окном кафе вывеску «Мороженое», вошел и уселся на высокий табурет.

— Шоколадного,— сказал он лакею-негру.

— Двойной шоколадный сандэ? Что-нибудь еще?

— Пожалуй.

— Булочку с беконом?

— Пожалуй.

Булочки оказались превкусные, он сжевал их четыре штуки, а потом, не наевшись,— еще один двойной шоколадный сандэ. После чего, окинув беглым взглядом развешанные по стенам сувениры, кожаные вымпелы и гибсоновских красавиц, вышел из кафе и, руки в карманах, пошел дальше по Нассау-стрит. Понемногу он учился отличать старшекурсников от новичков, хотя форменные шапки предстояло носить только со следующего понедельника. Те, кто слишком явно, слишком нерв-

но корчил из себя старожилов, были новички, и каждая новая партия их, прибывшая с очередным поездом, тут же растворялась в толпе юнцов без шляп, в белых туфлях, нагруженных книгами, словно нанявшихся без конца шататься взад-вперед по улице, пуская клубы дыма из новеньких трубок. К середине дня Эмори заметил, что теперь уже его самого новички принимают за старшекурсника, и постарался придать себе выражение скучающего превосходства и снисходительной насмешки, которое, как ему казалось, он прочел на большей части окружающих лиц.

В пять часов он ощутил потребность услышать собственный голос и повернул к дому — посмотреть, не приехал ли кто-нибудь еще. Он поднялся по шаткой лестнице и, грустно оглядев свою комнату, пришел к выводу, что нечего и пытаться украсить ее чем-нибудь более облагораживающим, чем те же спортивные вымпелы и портреты чемпионов. В дверь постучали.

— Войдите!

Дверь приоткрылась, и показалось узкое лицо с серыми глазами и веселой улыбкой.

— Молотка не найдется?

— Нет, к сожалению. Может быть, есть у миссис Двенадцать, или как там ее зовут.

Незнакомец вошел в комнату.

— Это, значит, ваше обиталище?

Эмори кивнул.

— Сарай сараем, а плата ого-го.

Эмори был вынужден согласиться.

— Я подумывал о студенческом городке,— сказал он,— но там, говорят, почти нет первокурсников, тоска смертная. Не знают, куда себя девать,— хоть садись за учебники.

Сероглазый решил представиться:

— Моя фамилия Холидей.

— Моя — Блейн.

Они обменялись рукопожатием, по-модному низко опустив стиснутые руки.

— Вы где готовились?

— Андовер. А вы?

— Сент-Реджис.

— Да? У меня там кузен учился.

Они подробно обсудили кузена, а потом Холидей сообщил, что в шесть часов сговорился пообедать с братом.

— Хотите к нам присоединиться?

— С удовольствием.

В «Кенилворте» Эмори познакомился с Бэрном Холидеем — сероглазого авали Керри,— и во время скудного обеда с жиденьким бульоном и пресными овощами они разглядывали других первокурсников, которые сидели в ресторане либо маленькими группками, и тогда выглядели весьма растерянно, либо большими группами, и тогда словно уже чувствовали себя как дома.

— В университетской столовой, я слышал, кормят скверно,— сказал Эмори.

— Да, говорят. Но приходится там столоваться — или, во всяком случае, платить за еду.

— Безобразие!

— Грабеж!

— О, в Принстоне на первом курсе спорить не полагается. Все равно как в школе.

Эмори со вздохом кивнул.

— Зато здесь настоящая жизнь,— сказал он.— В Йель я бы и за миллион не поехал.

— Я тоже.

— Что-нибудь для себя выбрали? — спросил Эмори у старшего из братьев.

— Я-то нет. Вот Бэрн — тот рвется в «Принц» — ну, знаете, в «Принстонскую газету».

— Знаю.

— А вы что-нибудь для себя выбрали?

— В общем, да. Хочу попробоваться в курсовой футбольной команде.

— Играли в Сент-Реджисе?

— Немножко,— поскромничал Эмори.— Только я в последнее время ужасно похудел.

— Вы не худой.

— Ну, прошлой осенью я был просто крепыш.

— Да?

Из ресторана они пошли в кино, где Эмори с одинаковым интересом прислушивался и к насмешливым замечаниям молодого человека, сидевшего впереди его, и к оглушительным выкрикам из зала.

— Йохо!

— Мой дорогой — такой большой и сильный — но, ах, и нежный притом!

— В клинч!

— В клинч его!

— Ну же, целуй ее, чего медлишь?

— У-у-у!

В одном углу стали насвистывать «На берегу морском», и зал дружно подтянул. За этим последовала песня, в которой слов было не разобрать, так громко все топали ногами, а затем — нечто бесконечное, бессвязное и заунывное:

О! О! О!
На кондитерской фабрике служит она —
Что ж, пусть Бог ей за то пошлет.
Но я не поверю, будто без сна —
Черта с два! —
Она варит варенье всю ночь напролет!
О! О! О!

Проталкиваясь к выходу, бросая вокруг и ловя на себе сдержанно любопытные взгляды, Эмори решил, что в кино ему понравилось и держаться там надо так, как те старшекурсники, что сидели впереди них,— раскинув руки по спинкам кресел, отпуская едкие, остроумные замечания, проявляя одновременно критический склад ума и веселую терпимость.

— Съедим, что ли, мороженое, то есть, простите, сандэ? — предложил Керри.

— Обязательно.

Они сытно поужинали и не спеша двинулись к дому.

— Вечер-то какой.

— Красота.

— Вам еще распаковывать чемоданы?

— И верно. Пошли, Бэрн.

Эмори пожелал им спокойной ночи,— сам он решил еще посидеть на крыльце.

В наступившей темноте купы деревьев чернели как призраки. Луна, едва взойдя, прошлась по крышам бледно-голубой краской, и, пробираясь в ночи, застревая в узких расселинах лунного света, до него доносилась песня — песня, в которой явственно звучала печаль, что-то быстротечное, невозвратное.

Ему вспомнился рассказ человека, окончившего университет еще в девяностых годах, про одну из любимых забав Бута Таркингтона* — как он на рассвете, выйдя на университетский двор, пел тенором песни звездам, будя в душах благонравных

студентов разнообразные чувства — смотря по тому, кто в каком был настроении.

И тут из темной дали Университетской улицы показалась белая колонна — стройным маршем приближались фигуры в белых костюмах, локтями сцепившись в шеренги, откинув головы.

Все назад, все назад,
Все назад — в Нассау-Холл,
Все назад, все назад,
Всё он в мире превзошел!
Все назад, все назад —
Куда бы рок нас ни завел,—
Эй, от-ряд — все на-зад,
Все на-зад — в Нассау-Холл!

Призрачная процессия была уже близко, и Эмори закрыл глаза. Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через опасную точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором. Тогда Эмори открыл глаза, все еще опасаясь, как бы зрительный образ не нарушил иллюзию совершенной гармонии.

И тут он даже ахнул от волнения. Во главе белой колонны шагал Алленби, футбольный капитан, стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году он должен оправдать надежды всего университета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу.

Замерев, Эмори смотрел, как проходит шеренга за шеренгой — локти сцеплены, лица — мутные пятна над белыми спортивными рубашками, голоса сливаются в торжественном гимне,— а потом шествие втянулось под темную арку Кембла, и голоса стали затихать, удаляясь к востоку, в сторону университетского городка.

Эмори еще долго сидел не шевелясь. Он пожалел, что правила запрещают первокурсникам выходить из дому после отбоя,— так хотелось побродить по тенистым, сладко пахнущим улочкам, где старейший колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те в свою очередь таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера.

Принстон при свете дня постепенно просачивался в его сознание — корпуса Вест и Реюнион, детища шестидесятых годов; зал Семьдесят Девятого, краснокирпичный, чванный; Нижняя Пайн и Верхняя Пайн — знатные леди елизаветинских времен, против воли вынужденные жить среди лавочников, и надо всем — устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд.

Он сразу полюбил Принстон — его ленивую красоту, не до конца понятную значительность, веселье тренировок при луне, красивых, нарядных спортсменов и за всем этим пульс борьбы, не утихающей на его курсе. С того первого дня, когда первокурсники, разгоряченные, усталые, сидя в гимнастическом зале, выбрали президентом курса кого-то из школы Хилл, вице-президентом знаменитость из Лоренсвилла, а секретарем — хоккейную звезду из Сент-Пола, и до самого конца второго учебного года она беспрестанно давала себя чувствовать, эта всесильная общественная система, это преклонение, о котором упоминалось лишь изредка, которого как бы и не было,— преклонение перед «вожаком».

Прежде всего — деление по школам. Эмори, единственный питомец Сент-Реджиса, наблюдал, как возникают и растут землячества — Сент-Пол, Помфрет, Хилл, как в столовой они едят за своими определенными столами, в гимнастическом зале переодеваются в определенном углу и бессознательно окружают себя стеной из чуть менее важных, но честолюбивых, которые ограждали бы их от соприкосновения с дружелюбными и слегка растерянными юнцами из городских средних школ. Подметив это, Эмори тут же возненавидел социальные барьеры как искусственные различия, придуманные сильными для ободрения своих слабых приспешников и отстранения почти таких же сильных, как они сами.

Решив стать одним из богов своего курса, он записался на футбольные тренировки, но через две недели, когда в «Принстонской газете» уже появилась о нем заметка, повредил колено, да так серьезно, что на весь сезон выбыл из строя. Пришлось обдумывать свое положение заново.

В «Униви, 12» обитало десятка полтора разношерстных вопросительных знаков. Были среди них три-четыре незаметных, испуганных птенца из Лоренсвилла, два дилетанта-забулдыги из частной школы в Нью-Йорке (Керри Холидей окрестил их «Пьющие плебеи»), один молодой еврей, тоже из Нью-Йорка, и, в утешение Эмори, братья Холидей, к которым он сразу проникся симпатией.

Холидеев многие считали близнецами, но на самом деле темный шатен Керри был на год старше блондина Бэрна. Керри был высокий, с веселыми серыми глазами и быстрой, подкупающей улыбкой; он сразу стал ментором всего общежития: осаживал сплетников, одергивал хвастунов, всех оделял своим тонким, язвительным юмором. Эмори пытался вместить в разговор о их будущей дружбе все свои идеи о том, какую роль университет призван сыграть в их жизни, но Керри, не склонный принимать слишком многое всерьез, только журил его за преждевременный интерес к сложностям социальной системы, однако же относился к нему хорошо — с усмешкой и с участием.

Бэрн, светловолосый, молчаливый, вечно занятый, появлялся в общежитии как тень — тихо пробирался к себе поздно вечером, а рано утром уже спешил работать в библиотеку — ои лихорадочно готовился к конкурсу на редактора «Принстонской», в котором участвовали еще сорок соискателем. В декабре он заболел дифтеритом, и по конкурсу прошел кто-то другой, но в феврале, вернувшись в университет, снова бесстрашно ринулся в бой. Эмори успевал только перекинуться с ним словами по дороге на лекции и обратно и, хотя был, конечно, осведомлен о его заветных планах, по сути, не знал о нем ничего.

У самого Эмори дела шли неважно. Ему недоставало того положения, которое он завоевал в Сент-Реджисе, где его знали и восхищались им; но Принстон вдохновлял его, и впереди ждало много такого, что могло разбудить дремавшего в нем Макиавелли — лишь бы за что-то зацепиться для начала. Воображение его занимали студенческие клубы, о которых он летом не без труда почерпнул кое-какие сведения у одного окончившего Принстон: «Плющ» — надменный и до ужаса аристократичный; «Коттедж» — внушительный сплав блестящих авантюристов и щеголей-донжуанов; «Тигр» — широкоплечий и спортивный, энергично и честно поддерживающий традиции подготовительных школ; «Шапка и мантия» — антиалкогольный, с налетом религиозности и политически влиятельный; пламенный «Колониальный», литературный «Квадрат» и десяток других, различных по времени основания и по престижу.

Все, чем студент младшего курса мог выделиться из толпы, клеймилось словом «высовываться». Насмешливые замечания в кино принимались как должное, но отпускать их без меры

значило высовываться; обсуждать сравнительные достоинства клубов значило высовываться; слишком громко ратовать за что-нибудь, будь то вечеринки с выпивкой или трезвенность, значило высовываться. Короче говоря, привлекать внимание к своей особе считалось предосудительным и уважением пользовались те, кто держался в тени — до тех пор, пока после выборов в клубы в начале второго учебного года каждый не оказывался при своем деле уже на все время пребывания в университете.

Эмори выяснил, что сотрудничество в «Нассауском литературном журнале» не сулит ничего интересного, зато место в редакционном совете «Принстонской газеты» — подлинно высокая марка. Смутные мечты о том, чтобы прославиться на спектаклях Английского драматического кружка, увяли, когда он установил, что лучшие умы и таланты сосредоточены в «Треугольнике» — клубе, ставившем музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских каникулах. А пока, не находя себе места от одиночества и тревожной неудовлетворенности, строя и отметая все новые туманные замыслы, он весь первый семестр бездельничал, снедаемый завистью к чужим удачам, пусть даже самым пустячным, теряясь в догадках, почему их с Керри сразу не причислили к элите курса.

Много часов провели они у окон «Униви, 12», глядя, как студенты идут в столовую, отмечая, как вожаки обрастают свитой, как спешат куда-то, не поднимая глаз от земли, одиночки зубрилы, с какой завидной уверенностью держатся группы тех, кто вместе кончал школу.

— Мы — тот самый злосчастный средний класс, вот в чем беда,— пожаловался он однажды неунывающему Керри, лежа на диване и методично закуривая одну сигарету от окурка другой.

— Ну и что же? Мы для того и уехали в Принстон, чтобы так же относиться к мелким университетам, кичиться перед ними — мы, мол, и одеваемся лучше, и в себе уверены,— в общем, задирать нос.

— Да я вовсе не против кастовой системы,— признался Эмори,— пускай будет правящая верхушка, кучка счастливчиков, только понимаешь, Керри, я сам хочу быть одним из них.

— А пока что, Эмори, ты всего-навсего недовольный буржуа.

Эмори отозвался не сразу.

— Ну, это ненадолго,— сказал он наконец.— Только очень уж я не люблю добиваться чего-нибудь тяжелым трудом. Это, понимаешь, оставляет на человеке клеймо.

— Почетные шрамы.

И вдруг Керри, изогнувшись, выглянул на улицу.

— Вон, если интересуешься, идет Лангедюк, а следом за ним и Хамберд.

Эмори вскочил и бросился к окну.

— Да,— сказал он, разглядывая этих знаменитостей,— Хамберд — сила, это сразу видно, ну а Лангедюк — он, видно, играет в неотесанного. Я таким не доверяю. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован.

— Тебе виднее,— сказал Керри, усаживаясь на место,— ведь ты у нас литературный гений.

— Я все думаю...— Эмори запнулся.— А может быть, правда? Иногда мне так кажется. Звучит это, конечно, безобразной похвальбой, я бы никому и не сказал, кроме тебя.

— А ты не стесняйся, валяй отрасти волосы и печатай стихи в «Литературном», как Д'Инвильерс.

Эмори лениво протянул руку к стопке журналов на столе.

— Ты в последнем номере его читал?

— Никогда не пропускаю. Это, знаешь ли, пальчики оближешь.

Эмори раскрыл журнал и спросил удивленно:

— Он разве на первом курсе?

— Ага.

— Нет, ты только послушай. О господи! Говорит служанка:

Как черный бархат стелется над днем!
В серебряной тюрьме белея, свечи
Качают языки огня, как тени.
О Пия, о Помпия, прочь уйдем...

Как это, черт возьми, понимать?

— Это сцена в буфетной.

Напряжена, как в миг полета птица,
Лежит на белых простынях она;
Как у святой, к груди прижаты руки...
Явись, явись, прекрасная Куницца!

— Черт, Керри, что это все значит? Я, честное слово, не понимаю, а я ведь тоже причастен к литературе.

— Да, закручено крепко,— сказал Керри.— Когда такое читаешь, надо думать о катафалках и о скисшем молоке. Но у него есть и почище.

Эмори швырнул журнал на стол.

— Просто не знаю, как быть,— вздохнул он.— Я, конечно, и сам с причудами, но в других этого терпеть не могу. Вот и терзаюсь — то ли мне развивать свой ум и стать великим драматургом, то ли плюнуть на словари и справочники и стать принстонским прилизой.

— А зачем решать? — сказал Керри.— Бери пример с меня, плыви по течению. Я-то приобрету известность как брат Бэрна.

— Не могу я плыть по течению. Я хочу, чтобы мне было интересно. Хочу пользоваться влиянием, хотя бы ради других, стать или главным редактором «Принстонской», или президентом «Треугольника». Я хочу, чтобы мной восхищались, Керри.

— Слишком много ты думаешь о себе.

Это Эмори не понравилось.

— Неправда, я и о тебе думаю. Мы должны больше общаться, именно теперь, когда быть снобом занятно. Мне бы, например, хотелось привести на июньский бал девушку, но только если я смогу держать себя непринужденно, познакомить ее с нашими главными сердцеедами и с футбольным капитаном, и все такое прочее.

— Эмори,— сказал Керри, теряя терпение,— ты ходишь по кругу. Если хочешь выдвинуться — займись чем-нибудь, а не можешь — так не ершись.— Он зевнул.— Выйдем-ка на воздух, а то всю комнату прокурили. Пошли смотреть футбольную тренировку.

Постепенно Эмори склонился к этой позиции, решил, что карьера его начнется с будущей осени, а пока можно заодно с Керри кое-чем поразвлечься и в стенах «Униви, 12».

Они засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта; несколько вечеров подряд, дунув на горелку у Эмори в комнате, выключали газ во всем доме, к несказанному удивлению миссис Двенадцать и домового слесаря; все имущество пьющих плебеев — картины, книги, мебель — они перетащили в ванную, чем сильно озадачили приятелей, когда те, прокутив ночь в Трентоне и еще не проспавшись, обнаружили такое перемещение; искренне огорчились, когда пьющие

плебеи решили обратить все в шутку и не затевать ссоры; они с вечера до рассвета дулись в двадцать одно, банчок и «рыжую собаку», а одного соседа уговорили по случаю дня рождения закатить ужин с шампанским. Поскольку виновник торжества остался трезв, Керри и Эмори нечаянно столкнули его по лестнице со второго этажа, а потом, пристыженные и кающиеся, целую неделю ходили навещать его в больнице.

— Скажи ты мне, кто все эти женщины? — спросил однажды Керри, которому обширная корреспонденция Эмори не давала покоя.— Я тут смотрел на штемпели — Фармингтон и Добс, Уэстовер и Дана-Холл: в чем дело?

Эмори ухмыльнулся.

— Это все более или менее в Миннеаполисе.— Он стал перечислять: — Вот это — Мэрилин де Витт, она хорошенькая и у нее свой автомобиль, что весьма удобно; это — Салли Уэдерби, она растолстела, просто сил нет; это — Майра Сен-Клер, давнишняя пассия, позволяет себя целовать, если кому охота...

— Какой у тебя к ним подход? — спросил Керри.— Я и так пробовал, и этак, а эти вертихвостки меня даже не боятся.

— Ты — типичный «славный юноша», может, поэтому?

— Вот-вот. Каждая мамаша чувствует, что со мной ее дочка в безопасности. Даже обидно, честное слово. Если я пытаюсь взять девушку за руку, она смеется надо мной и не отнимает руку, как будто это посторонний предмет и к ней не имеет никакого отношения.

— А ты играй трагедию,— посоветовал Эмори.— Говори, что ты — неистовая натура, умоляй, чтобы она тебя исправила, взбешенный, уходи домой, а через полчаса возвращайся — бей на нервы...

Керри покачал головой.

— Не выйдет. Я в прошлом году написал одной девушке серьезное любовное письмо. В одном месте сорвался и написал: «О черт, до чего я вас люблю!» Так она взяла маникюрные ножницы, вырезала «о черт», а остальное показывала всем одноклассницам. Нет, это безнадежно. Я для них просто «добрый славный Керри».

Эмори попробовал вообразить себя в роли «доброго славного Эмори». Ничего не получилось.

Настал февраль с мокрым снегом и дождем, ураганом пронеслась зимняя экзаменационная сессия, а жизнь в «Униви, 12» текла все так же интересно, хоть и бессмысленно. Раз в день Эмори заходил поесть сандвичей, корнфлекса и картофеля «жюльен» «У Джо», обычно вместе с Керри или с Алексом

Коннеджем. Последний был немногословный прилиза из школы Хочкисс, который жил в соседнем доме и, так же как Эмори, поневоле держался особняком, потому что весь его класс поступил в Йель. Ресторанчик «У Джо» не радовал глаз и не блистал чистотой, но там можно было подолгу кормиться в кредит, и Эмори ценил это преимущество. Его отец недавно провел какие-то рискованные операции с акциями горнопромышленной компании, и содержание, которое он определил сыну, было хотя и щедрое, но намного скромнее, чем тот ожидал.

«У Джо» было хорошо еще тем, что туда не заглядывали любознательные старшекурсники, так что Эмори, в обществе приятеля или книги, каждый день ходил туда, рискуя сгубить свое пищеварение. Однажды в марте, не найдя свободного столика, он уселся в углу зала напротив другого студента, прилежно склонившегося над книгой. Они обменялись кивками. Двадцать минут Эмори уплетал булочки с беконом и читал «Профессию миссис Уоррен» (на Бернарда Шоу он наткнулся случайно, когда во время сессии рылся в библиотеке); за это время его визави, тоже не переставая читать, уничтожил три порции взбитого молока с шоколадом.

Наконец Эмори стало любопытно, что тот читает. Он разобрал вверх ногами заглавие и фамилию автора: «Марпесса», стихи Стивена Филлипса*. Это ничего ему не сказало, поскольку до сих пор его познания в поэзии сводились к хрестоматийной классике типа «Мод, сойди в тенистый сад» Теннисона и к навязанным ему на лекциях отрывкам из Шекспира и Мильтона.

Чтобы как-то вступить в разговор, он сперва притворно углубился в свою книгу, а потом воскликнул, как бы невольно:

— Да, вещь первый сорт!

Незнакомый студент поднял голову, и Эмори изобразил замешательство.

— Это вы про свою булочку? — Добрый, чуть надтреснутый голос как нельзя лучше гармонировал с большими очками и с выражением искреннего интереса ко всему на свете.

— Нет,— отвечал Эмори,— это я по поводу Бернарда Шоу.

Он указал на свою книгу.

— Я ничего его не читал, все собираюсь.— И продолжал после паузы: — А вы читали Стивена Филлипса? И вообще поэзию любите?

— Еще бы,— горячо отозвался Эмори.— Филлипса я, правда, читал немного. (Он никогда и не слыхал ни о каком Филлипсе, если не считать покойного Дэвида Грэма.)

— По-моему, недурно. Хотя он, конечно, викторианец.

Они пустились в разговор о поэзии, попутно представились друг другу, и собеседником Эмори оказался «тот заумный Томас Парк Д'Инвильерс», что печатал страстные любовные стихи в «Литературном журнале». Лет девятнадцати, сутулый, голубоглазый, он, судя по общему его облику, не очень-то разбирался в таких захватывающих предметах, как соревнование за место в социальной системе, но литературу он любил, и Эмори подумал, что таких людей не встречал уже целую вечность. Если б только знать, что группа из Сент-Пола за соседним столом не принимает его самого за чудака, он был бы чрезвычайно рад этой встрече. Но те как будто не обращали внимания, и он дал себе волю — стал перебирать десятки произведений, которые читал, о которых читал, про которые и не слышал,— сыпал заглавиями без запинки, как приказчик в книжном магазине Брентаво. Д'Инвильерс в какой-то мере поддался обману и возрадовался безмерно. Он уже почти пришел к выводу, что Принстон состоит наполовину из безнадежных филистеров, а наполовину из безнадежных зубрил, и встретить человека, который говорил о Китсе без ханжеских ужимок и в то же время явно привык мыть руки, было для него праздником.

— А Оскара Уайльда вы читали? — спросил он.

— Нет. Это чье?

— Это человек, писатель, неужели не знаете?

— Ах да, конечно.— Что-то слабо шевельнулось у Эмори в памяти.— Это не о нем была оперетка «Терпение»?

— Да, о нем. Я только что прочел одну его вещь, «Портрет Дориана Грея», и вам очень советую. Думаю, что понравится. Если хотите, могу дать почитать.

— Ну конечно, спасибо, очень хочу.

— Может быть, зайдете ко мне? У меня и еще кое-какие книги есть.

Эмори заколебался, бросил взгляд на компанию из Сент-Пола — среди них был и великолепный, неподражаемый Хамберд — и прикинул, что ему даст приобретение этого нового друга. Он не умел и так никогда и не научился заводить друзей, а потом избавляться от них — для этого ему не хватало твердости, так что он мог только положить на одну чашу весов бесспорную привлекательность и ценность Томаса Парка Д'Инвильерса, а на другую — угрозу холодных глаз за роговыми очками, которые, как ему казалось, следили за ним через проход между столиками.

— Зайду с удовольствием.

Так он обрел «Дориана Грея», и «Деву скорбей Долорес», и «La belle dame sans merci»[1]. Целый месяц он только ими и жил. Весь мир стал увлекательно призрачным, он пытался смотреть на Принстон пресыщенным взглядом Оскара Уайльда и Суинберна, или «Фингала О'Флаэрти» и «Алджернона Чарлза», как он их называл с претенциозной шутливостью. До поздней ночи он пожирал книги — Шоу, Честертона, Барри, Пинеро, Йетса, Синга, Эрнеста Доусона, Артура Саймонса, Китса, Зудермана, Роберта Хью Бенсона, «Савойские оперы» — все подряд, без разбора: почему-то ему вдруг показалось, что он годами ничего не читал.

Томас Д'Инвильерс стал сначала не столько другом, сколько поводом. Эмори виделся с ним примерно раз в неделю, они вместе позолотили потолок в комнате Тома, обили ее фабричными гобеленами, купленными на распродаже, украсили высокими подсвечниками и узорными занавесями. Эмори привлекали в Томе ум и склонность к литературе без тени изнеженности или аффектации. Из них двоих больше пыжился сам Эмори. Он старался, чтобы каждое его замечание звучало как эпиграмма, что не так уж трудно, если относиться к искусству эпиграммы не слишком взыскательно. В «Униви, 12» все это было воспринято как новая забава. Керри прочел «Дориана Грея» и изображал лорда Генри — ходил за Эмори по пятам, называл его «Дориан» и делал вид, что поощряет его порочные задатки и томный, скучающий цинизм. Когда Керри вздумал разыграть эту комедию в столовой, к великому изумлению окружающих, Эмори от смущения страшно обозлился и в дальнейшем блистал эпиграммами только при Томе Д'Инвильерсе или у себя перед зеркалом.

Однажды Том и Эмори попробовали читать стихи — свои и лорда Дансэни — под музыку, для чего был использован граммофон Керри.

— Давай нараспев! — кричал Том.— Ты не урок отвечаешь. Нараспев!

Эмори, выступавший первым, надулся и заявил, что не годится пластинка — слишком много рояля. Керри в ответ стал кататься по полу, давясь от смеха.

— А ты заведи «Цветок и сердце»,— предложил он.— Ой, не могу, держите меня!

— Выключите вы этот чертов граммофон! — воскликнул Эмори, весь красный от досады.— Я вам не клоун в цирке.

---

[1] «Безжалостная краса» (*фр.*) — стихотворение Китса.

Тем временем он не оставлял попыток деликатно открыть Д'Инвильерсу глаза на пресловутую социальную систему,— он был уверен, что по существу в этом поэте меньше от бунтаря, чем в нем самом, и стоит ему прилизать волосы, ограничить себя в разговорах и завести шляпу потемнее оттенком, как любой ревнитель условностей признает его своим. Однако нотации на тему о фасоне воротничков и строгих галстуках Том пропускал мимо ушей, даже отмахивался от них, и Эмори отступился — только наведывался к нему раз в неделю да изредка приводил его в «Униви, 12». Насмешники-соседи прозвали их «Доктор Джонсон и Босуэлл»*.

Алек Коннедж, чаще заходивший в гости, в общем относился к Д'Инвильерсу хорошо, но побаивался его как «заумного». Керри, разглядевший за его болтовней о поэзии крепкую, почти респектабельную сердцевину, от души наслаждался и, заставляя его часами читать стихи, лежал с закрытыми глазами у Эмори на диване и слушал:

Она проснулась или спит? На шее
След пурпурный лобзанья все виднее;
Кровь из него сочится — и она
От этого прекрасней и нежнее...

— Это здорово,— приговаривал он вполголоса.— Это старший Холидей одобряет. По всему видно, великий поэт.

И Том, радуясь, что нашлась публика, без устали декламировал «Поэмы и баллады», так что Керри и Эмори скоро уже знали их почти так же хорошо, как он сам.

Весной Эмори принялся сочинять стихи в садах больших поместий, окружающих Принстон, где лебеди на глади прудов создавали подходящую атмосферу и облака неспешно и стройно проплывали над ивами. Май наступил неожиданно быстро, и, вдруг почувствовав, что стены не дают ему дышать, он стал бродить по университетскому городку в любое время дня и ночи, под звездами и под дождем.

Влажная символическая интерлюдия

Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры

людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам. Таинственнее выглядели готические здания, когда выступали из мрака, прорезанные сотнями бледно-желтых огней. Вдали, непонятно где, пробило четверть, и Эмори, дойдя до солнечных часов, растянулся на влажной траве. Прохлада освежила его глаза и замедлила полет времени — времени, что украдкой пробралось сквозь ленивые апрельские дни, неуловимо мелькнуло в долгих весенних сумерках. Из вечера в вечер над университетским городком красиво и печально разносилось пение старшекурсников, и постепенно, пробившись сквозь грубую оболочку первого курса, в душу Эмори снизошло благоговение перед серыми стенами и шпилями, символическими хранителями духовных ценностей минувших времен.

Башня, видная из его окна, шпиль которой тянулся все выше и выше, так что верхушка его была едва различима на фоне утреннего неба,— вот что впервые навело его на мысль о том, как недолговечны и ничтожны люди, если не видеть в них преемников и носителей прошлого. Ему приятно было узнать, что готическая архитектура, вся устремленная ввысь, особенно подходит для университетов, и он ощутил это как собственное открытие. Ровные лужайки, высокие темные окна — лишь редко где горит свет в кабинете ученого,— крепко завладели его воображением, и символом этой картины стала чистая линия шпиля.

— К черту,— произнес он громким шепотом, смочив ладони о влажную траву и приглаживая волосы.— С будущего года берусь за дело.— И однако он знал, что дух шпилей и башен, сейчас вселивший в него мечтательную готовность к действию, отпугнет его, когда придет время. Пусть сейчас он сознает только свою незначительность — первое же усилие даст ему почувствовать, как он слаб и безволен.

Принстон спал и грезил — грезил наяву. Эмори ощутил какую-то нервную дрожь — может быть, отклик на неспешное биение университетского сердца. Река, в которую ему предстоит бросить камень, и еле видные круги от него почти тотчас исчезнут. До сих пор он не дал ничего. И не взял ничего.

Запоздалый первокурсник, шурша клеенчатым плащом, прошлепал по отсыревшей дорожке. Где-то под невидимым окном прозвучало неизбежное «Подойди на минутку». И до сознания его наконец дошли сотни мельчайших звуков, заполнивших пелену тумана.

— О господи! — воскликнул он вдруг и вздрогнул от звука собственного голоса. Моросил дождь. Еще минуту Эмори лежал неподвижно, сжав кулаки. Потом вскочил, ощупал себя и сказал вслух, обращаясь к солнечным часам: — Промок до нитки!

Немножко истории

Летом того года, когда Эмори перешел на второй курс, в Европе началась война. Бросок немецких войск на Париж вызвал у него чисто спортивный интерес, в остальном же он остался спокоен. Подобно зрителю, забавляющемуся мелодрамой, он надеялся, что спектакль будет длинный и крови прольется достаточно. Если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться.

А больше он ничего не понял и не почувствовал.

«Ого-Гортензия!»

— Эй, фигурантки!

— Начинаем!

— Эй, фигурантки, может, хватит дуться в кости, время-то не ждет.

— Ну же, фигурантки!

Режиссер бестолково бушевал, президент клуба «Треугольник», сам не свой от волнения, то разражался властными выкриками, то в полном изнеможении валился на стул, уверяя себя, что никаким чудом им не успеть подготовить спектакль к началу каникул.

— Ну, так. Репетируем песню пиратов.

Фигурантки, затянувшись напоследок сигаретами, заняли свои места; премьерша выбежала на передний план, грациозно жестикулируя руками и ногами, и под хлопки режиссера, громко отбивавшего такт, танец, плохо ли, хорошо ли, был исполнен.

Клуб «Треугольник» являл собой подобие огромного растревоженного муравейника. Каждый год он ставил музыкальную комедию, и в течение всех зимних каникул труппа, хор, оркестр и декорации разъезжали из города в город. Текст и музыку писали сами студенты. Клуб пользовался громкой сла-

вой: больше трехсот желающих ежегодно домогались чести стать его членами.

Эмори, с легкостью пройдя в первом же туре второго курса в редакционный совет «Принстонской газеты», вдобавок был введен в труппу на роль пирата по кличке «Кипящий вар». Последнюю неделю они репетировали «Ого-Гортензию!» ежедневно, с двух часов дня до восьми утра, поддерживая себя крепким кофе, а в промежутке отсыпаясь на лекциях. Поразительную картину являл собой зал, где шли репетиции. Большое помещение, похожее на сарай, и в нем — студенты-пираты, студенты-девушки, студенты-младенцы; с грохотом воздвигаются декорации; осветитель, проверяя прожектор, направляет слепящие лучи прямо в чьи-то негодующие глаза; и все время либо настраивается оркестр, либо звучит лихая клубная песня. Студент, который сочиняет вставные стихи, стоит в углу и грызет карандаш: через двадцать минут должны быть готовы еще два куплета — для биса. Казначей и секретарь спорят о том, сколько денег можно истратить на «эти чертовы костюмы для фермерских дочек»; ветеран, бывший президентом клуба в 98-м году, уселся на высокий ящик и вспоминает, насколько проще все это было в его время.

Как «Треугольнику» вообще удавалось подготовить спектакль — это покрыто тайной, но сама подготовка велась азартно, независимо от того, кто из участников заслужит право носить брелок в виде крошечного золотого треугольника. «Ого-Гортензию!» переписывали шесть раз, и на программах значились фамилии всех девяти авторов. Каждая постановка «Треугольника» в первом варианте преподносилась как «что-то новое, не просто еще одна музыкальная комедия», но, пройдя через руки нескольких авторов, режиссера, президента и факультетской комиссии, сводилась все к тем же старым, проверенным канонам, с теми же старыми, проверенными шутками, и так же буквально накануне отъезда оказывалось, что главный комик не то исключен, не то заболел, и так же ругали брюнета из состава фигуранток за то, что «он, черт его дери, не желает бриться два раза в день».

В «Ого-Гортензии!» был один блестящий эпизод. В Принстоне существует поверье, что когда питомец Йеля, член прославленного клуба «Череп и Кости», слышит упоминание этого священного братства, он обязан покинуть помещение. Существует и другое поверье: что эти люди неизменно достигают больших успехов в жизни — собирают уйму денег, или голосов, или купонов — словом, того, что надумают собирать.

И вот на каждом представлении «Ого-Гортензии!» шесть билетов не пускали в продажу, а на непроданные места сажали самых страшных оборванцев, каких удавалось нанять на улице, да еще приукрашенных стараниями клубного гримера. Когда по ходу действия Арбалет, глава пиратов, говорит, указуя на свой черный флаг: «Я окончил Йель — вот они, Череп и Кости!» — шести оборванцам было предписано демонстративно встать и выйти из зала, всем своим видом выражая глубокую печаль и оскорбленное достоинство. Утверждали, впрочем без достаточных оснований, что был случай, когда к шести подставным питомцам Йеля присоединился один настоящий.

За время каникул они выступали перед избранной публикой в восьми городах. Эмори больше всего понравились Луисвилл и Мемфис: здесь умели встретить гостей, варили сногсшибательный пунш и предлагали взорам поразительное количество красивых женщин. Чикаго он одобрил за особый задор, выражавшийся не только в громком вульгарном говоре, но, поскольку Чикаго тяготел к Йелю и через неделю туда должен был прибыть йельский клуб «Веселье», принстонцам досталась только половина оваций. В Балтиморе они чувствовали себя как дома и все поголовно влюбились. Крепкие напитки потреблялись там в изобилии; кто-нибудь из актеров неизменно выходил на сцену в подпитии и потом уверял, что этого требовала его трактовка роли. В их распоряжении было три железнодорожных вагона, но спали только в третьем, так называемом «телячьем», куда запихнули оркестрантов. Все происходило в такой спешке, что скучать было некогда, но когда они, уже к самому концу каникул, прибыли в Филадельфию, приятно было отдохнуть от спертой атмосферы цветов и грима, и фигурантки со вздохом облегчения сняли корсеты с натруженных животов.

Когда гастроли кончились, Эмори на всех парах помчался в Миннеаполис, потому что Изабелла Борже, кузина Салли Уэдерби, должна была провести там зиму, пока ее родители будут за границей. Изабеллу он помнил маленькой девочкой, с которой когда-то играл. Потом она уехала в Балтимор, но с тех пор успела обзавестись прошлым.

Эмори чувствовал необычайный подъем, он строил планы, нервничал, ликовал. Лететь на свидание с девушкой, которую он знал в детстве,— это казалось ему в высшей степени интересным и романтичным, так что он без зазрения совести телеграфировал матери, чтобы не ждала его... сидел в поезде и тридцать шесть часов без перерыва думал о себе.

Новое в жизни Америки

Во время гастрольной поездки Эмори постоянно сталкивался с важным новым явлением американской жизни, именуемым «вечеринки с поцелуями».

Ни одна викторианская мать — а викторианскими были почти все матери — и вообразить не могла, как легко и привычно ее дочь позволяет себя целовать. «Так ведут себя только горничные,— говорит своей веселой дочке миссис Хастон-Кармелайт.— Их сначала целуют, а потом делают им предложение». А веселая дочка, Общая Любимица, в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет каждые полгода объявляет о своей повой помолвке и наконец выходит замуж за молодого Хамбла из фирмы «Камбл и Хамбл», который пребывает в уверенности, что он — ее первая любовь, да еще в промежутках между помолвками Общая Любимица (выбранная по тому признаку, что ее чаще всех перехватывают на танцах, в соответствии с теорией естественного отбора), еще нескольких вздыхателей дарит прощальными поцелуями при лунном свете, у горящего камина или в полной темноте. На глазах у Эмори девушки проделывали такое, что еще на его памяти считалось немыслимым: ужинали в три часа ночи в несусветных кафе, рассуждали о всех решительно сторонах жизни — полусерьезно, полунасмешливо, однако не умея скрыть возбуждения, в котором Эмори усматривал серьезный упадок нравственности. Но как широко это явление распространилось — это он понял лишь тогда, когда все города от Нью-Йорка до Чикаго предстали перед ним как сплошная арена негласной распущенности молодежи.

Отель «Плаза», за окном зимние сумерки, смутно доносится стук барабанов в оркестре... В полном параде они беспокойно слоняются по вестибюлю, заказывают еще по коктейлю и ждут. И вот через вращающуюся дверь с улицы проскальзывают три фигурки в мехах. Потом— театр, потом — столик в «Ночных забавах» — разумеется, присутствует и чья-то мама, но это только значит, что требуется особая осторожность, и вот чья-то мама уже сидит одна у покинутого столика и думает, что не так страшны эти развлечения, как их малюют, только уж очень утомительны. А Веселая Дочка опять влюблена... И вот что странно: ведь в такси было сколько угодно места, а дочку и этого студентика почему-то не взяли, и пришлось им ехать отдельно, в другом автомобиле. Странно? А вы не заметили, как у

Веселой Дочки горели щеки, когда она наконец явилась с опозданием на семь минут? Но этим девицам все сходит с рук.

На смену «царице бала» пришла «фея флирта», на смену «фее флирта» — «вамп». «Царица бала» что ни день принимала по пять-шесть визитеров. Если у Веселой Дочки их случайно встретилось двое, тот из них, с кем она заранее не сговорилась, окажется в очень неудобном положении. В перерывах между танцами «царицу бала» окружал десяток кавалеров. А Веселая Дочка? Где она обретается в перерывах между танцами? Попробуй-ка найди ее!

Та же самая девушка... с головой погрузившаяся в атмосферу дикарской музыки и поколебленных моральных устоев. У Эмори даже сердце замирало при мысли, что любую красивую девушку, с которой он познакомился до восьми часов вечера, он еще до полуночи почти наверняка сможет поцеловать.

— Зачем мы, собственно, здесь? — спросил он однажды девушку с зелеными гребнями, сидя с ней в чьем-то лимузине у загородного клуба в Луисвилле.

— Не знаю. Просто у меня такое настроение.

— Будем честны — ведь мы же никогда больше не встретимся. Мне хотелось прийти сюда с вами, потому что, по-моему, вы здесь — самая красивая. Но вам-то совершенно все равно, что больше вы никогда меня не увидите, правда?

— Правда... но скажите, у вас ко всем девушкам такой подход? Чем я это заслужила?

— И вовсе вы не устали танцевать, и вовсе вас не тянуло покурить, это все говорилось для отвода глаз. Вам просто захотелось...

— Раз вам угодно заниматься анализом,— перебила она,— пошли лучше в дом. Не хочу я об этом говорить.

Когда в моду вошел безрукавный, плотной вязки пуловер, Эмори в минуту вдохновения окрестил его «целовальной рубашкой», и название это Веселые Дочки и их кавалеры разнесли по всей стране.

Описательная

Эмори шел девятнадцатый год, он был чуть ниже шести футов ростом и на редкость, хоть и нестандартно, красив. Лицо у него было очень юное, но наивности его противоречили проницательные зеленые глаза, опушенные длинными темными ресницами. Ему не хватало той чувственной притягательно-

сти, что так часто сопутствует красоте и в женщинах и в мужчинах; обаяние его было скорее духовного свойства, и он не умел то включать его, то выключать, как электричество. Но тем, кто видел его лицо, оно запоминалось надолго.

Изабелла

На верхней площадке она остановилась. В груди ее теснились ощущения, которые полагается испытывать пловцам перед прыжком с высокого трамплина, премьершам перед выходом в новой постановке, рослым, нескладным юнцам в день ответственного матча. По лестнице ей подошло бы спускаться под барабанный бой или под попурри из «Таис» или «Кармен». Никогда еще она так не заботилась о своей наружности и не была ею так довольна. Ровно полгода назад ей исполнилось шестнадцать лет.

— Изабелла! — окликнула ее Салли из открытой двери гардеробной.

— Я готова.

От волнения ей слегка сдавило горло.

— Я послала домой за другими туфлями. Подожди минутку.

Изабелла двинулась было в гардеробную, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало, но почему-то передумала и осталась стоять, глядя вниз с широкой лестницы клуба Миннегага. Лестница делала предательский поворот, и ей были видны только две пары мужских ног в нижнем холле. В одинаковых черных лакированных туфлях, они ничем не выдавали своих владельцев, но ей ужасно хотелось, чтобы одна из них принадлежала Эмори Блейну. Этот молодой человек, которого она еще не видела, тем не менее занял собой значительную часть ее дня — дня ее приезда в Миннеаполис. По дороге с вокзала Салли, забросав ее вопросами, рассказами, признаниями и домыслами, между прочим сообщила:

— Ты, конечно, помнишь Эмори Блейна? Так вот, он просто жаждет опять с тобой встретиться. Он решил на день опоздать в колледж и нынче вечером будет в клубе. Он много о тебе слышал — говорит, что помнит твои глаза.

Это Изабелле понравилось. Значит, и он ею интересуется. Впрочем, она привыкла налаживать романтические отношения и без предварительной рекламы. Но одновременно с приятным предчувствием у нее екнуло сердце, и она спросила:

— Ты говоришь, он обо мне слышал? Что именно?

Салли улыбнулась. При своей интересной кузине она чувствовала себя чем-то вроде импресарио.

— Он знает, что тебя считают очень хорошенькой...— Она сделала паузу.— И наверно знает, что ты любишь целоваться.

При этих словах Изабелла невольно стиснула кулачки под меховой накидкой. Она уже привыкла к тому, что ее грешное прошлое следует за нею повсюду, и это ее раздражало — но, с другой стороны, в новом городе такая репутация могла и пригодиться. Про нее говорят, что она распущенная? Ну что ж, пусть проверят.

В окно машины она глядела на морозное, снежное утро. Она и забыла, насколько здесь холоднее, чем в Балтиморе. Стекло дверцы обледенело, в окошках по углам налип снег. А мысли ее возвращались все к тому же. Интересно, он тоже одевается, как вон тот парень, что преспокойно шагает по людной улице в мокасинах и каком-то карнавальном костюме? Как это типично для Запада! Нет, он, наверно, не такой, ведь он учится в Принстоне, уже на втором курсе, кажется. Помнила она его очень смутно. Сохранился старый любительский снимок, и на нем главным образом большие глаза (теперь-то он, наверно, и весь не маленький). Но за последний месяц, после того как было решено, что она поедет гостить к Салли, он вырос до размеров достойного противника. Дети, эти хитроумные сводники, строят свои планы быстро, к тому же и Салли по мере сил подогревала ее легко воспламеняющуюся натуру. Изабелла уже не раз оказывалась способна на очень сильные, хоть и очень проходящие чувства...

Они подкатили к внушительному белокаменному особняку, стоявшему отступя от заснеженной улицы. Миссис Уэдерби встретила ее ласково и радушно, из разных углов появились младшие кузены и кузины и вежливо с ней поздоровались. Изабелла держалась с большим тактом. Она, когда хотела, умела расположить к себе всех, с кем встречалась,— кроме девушек старше себя и некоторых женщин. И впечатление, производимое ею, всегда было точно рассчитано. Несколько девиц, с которыми она в тот день возобновила знакомство, по достоинству оценили и ее, и ее репутацию. Но Эмори Блейн остался загадкой. Видимо, он отчаянный ухажер и пользуется успехом, хотя не так чтобы очень; очевидно, все эти девушки рано или поздно с ним флиртовали, но сколько-нибудь полезных сведений не сообщила ни одна. Он непременно в нее влюбится. Салли заранее оповестила об этом своих подружек, и, едва

увидев Изабеллу, они сами стали уверять ее в этом. А Изабелла про себя решила, что, если потребуется, она заставит себя им увлечься — не подводить же Салли. Может быть, сама-то она в нем и разочаруется. Салли расписала его в самых привлекательных красках: красив как бог, и «так благородно держится, когда захочет», и подход у него есть, и непостоянства хватает. Словом, весь букет тех качеств, которые в ее возрасте и в ее среде ценились на вес золота. Интересно все-таки, это его или не его бальные туфли выделывают па фокстрота на мягком ковре вестибюля?

Впечатления и мысли у Изабеллы всегда сменялись с калейдоскопической быстротой. У нее был тот светски-артистический темперамент, который часто встречается и среди светских женщин, и среди актрис. Свое образование, или, вернее, опыт, она почерпнула у молодых людей, домогавшихся ее благосклонности; такт был врожденный, а круг поклонников ограничен только числом телефонов у подходящих молодых людей, обитавших по соседству. Кокетство лучилось из ее больших темно-карих глаз, смягчало улыбкой ее откровенную чувственную прелесть.

И вот она стояла на верхней площадке клуба и ждала, пока прибудут забытые дома туфли. Она уже начала терять терпение, но тут из гардеробной появилась Салли, как всегда веселая, сияющая, и пока они вместе спускались по лестнице, словно лучи прожектора освещали в уме Изабеллы поочередно две мысли: «Слава богу, я сегодня не бледная» и «Интересно, а танцует он хорошо?».

Внизу, в большом зале клуба, ее сперва окружили те девицы, с которыми она повидалась днем, потом она услышала голос Салли, перечислявшей фамилии, и машинально поздоровалась с шестью черно-белыми, негнущимися, смутно знакомыми манекенами. Мелькнула там и фамилия Блейн, но она не сразу разобралась, к кому ее приклеить. Все стали неумело пятиться и сталкиваться и в результате этой путаницы оказались обременены самыми нежелательными партнерами. С Фрогги Паркером, с которым Изабелла когда-то играла в «классы»,— теперь он только что поступил в Гарвард — она ловко ускользнула на диванчик у лестницы. Ей хватило одного шутливого упоминания о прошлом. Просто диву даешься, как она умела обыграть такое невинное замечание. Сперва она повторила его прочувствованным контральто с чуть заметной южной интонацией, потом с чарующей улыбкой, словно оценила со

стороны, потом снова произнесла с небольшими вариациями, наделив нарочитой значительностью,— причем все это было облечено в форму диалога. Фрогги, замирая от счастья, и не подозревал, что комедия эта разыгрывается вовсе не для него, а для тех зеленых глаз, что поблескивали из-под тщательно приглаженных волос чуть левее от них: Изабелла наконец-то обнаружила Эмори. Подобно актрисе, когда она чувствует, что уже покорила зрительный зал и теперь уделяет главное внимание зрителям первого ряда, Изабелла исподтишка изучала Эмори. Оказалось, что волосы у него каштановые, и по тому, что это ее разочаровало, она поняла, что ожидала увидеть жгучего брюнета, притом стройного, как на рекламе новых подтяжек. А еще она отметила легкий румянец и греческий профиль, особенно эффектный в сочетании с узким фраком и пышной шелковой манишкой из тех, что все еще пленяют женщин, хотя мужчинам уже изрядно надоели. Эмори выдержал ее осмотр не дрогнув.

— Вы со мной не согласны? — вдруг как бы невзначай обратилась к нему Изабелла.

Обходя кучки гостей, к ним приближалась Салли и с ней еще кто-то. Эмори подошел к Изабелле вплотную и шепнул:

— За ужином сядем вместе. Мы же созданы друг для друга.

У Изабеллы захватило дух. Это уже было похоже на «подход». Но одновременно она чувствовала, что одну из лучших реплик отняли у звезды и передали чуть ли не статисту... Нет, этого она не допустит. Под взрывы смеха молодежь рассаживалась за длинным столом, и много любопытных глаз следило за Изабеллой. Польщенная этим, она оживилась и разрумянилась, так что Фрогги Паркер, заглядевшись на нее, забыл пододвинуть Салли стул и отчаянно от этого смутился. По другую руку от нее сидел Эмори, уверенный, самодовольный, и не скрываясь любовался ею. Он заговорил сразу, так же как и Фрогги:

— Я много о вас слышал с тех пор, как вы перестали носить косички...

— Смешно сегодня получилось...

Оба одновременно умолкли. Изабелла робко повернулась к Эмори. Обычно ее понимали без слов, но сейчас она не стала молчать:

— От кого слышали? Что?

— От всех — с тех самых пор, как вы отсюда уехали.

Она вспыхнула и потупилась. Справа от нее Фрогги Паркер уже «сошел с дорожки», хотя еще не успел это понять.

— Я вам расскажу, какой помнил вас все эти годы,— продолжал Эмори.

Она чуть наклонилась в его сторону, скромно разглядывая веточку сельдерея у себя на тарелке. Фрогги вздохнул — он хорошо знал Эмори и как тот блестяще использует такие ситуации. Он решительно повернулся к Салли и осведомился, думает ли она с осени уехать в колледж. Эмори же сразу повел огонь картечью,

— У меня для вас есть один очень подходящий эпитет.— Это был его излюбленный гамбит. Никакого определенного слова он при этом в виду не имел, но в собеседнице пробуждалось любопытство, а на худой конец всегда можно было придумать что-нибудь лестное.

— Правда? Какой же?

Эмори покачал головой.

— Я вас еще недостаточно знаю.

— А потом скажете? — спросила она еле слышно.

Он кивнул.

— Мы пропустим танец и поболтаем.

Изабелла кивнула.

— Вам кто-нибудь говорил, что у вас пронзительные глаза?

Эмори постарался сделать их еще пронзительнее. Ему показалось — или только почудилось? — что она под столом коснулась ногой его ноги. Впрочем, это могла быть просто ножка стола. Трудно сказать. А если все-таки?.. Он стал быстро соображать, как бы им уединиться в маленькой гостиной на втором этаже.

Младенцы в лесу

Невинными младенцами ни Эмори, ни Изабелла безусловно не были, но не были они и порочны. К тому же эти ярлыки не играли большой роли в той игре, которую они затеяли и которая в ее жизни должна была занять главное место на ближайшие несколько лет. Как и у Эмори, все началось у нее с красивой внешности и беспокойного нрава, а дальнейшее пришло от прочитанных романов и разговоров, подслушанных среди девушек постарше ее годами. Изабелла уже в десять лет усвоила кукольную походку и наивный взгляд широко раскры-

тых блестящих глаз. Эмори смотрел на вещи чуть более трезво. Он ждал, когда она сбросит маску, но ее права носить маску не оспаривал. Она, со своей стороны, не обольщалась его личиной многоопытного скептика. Проведя юность в более крупном городе, она повидала больше .разных людей. Но позу его приняла — это входило в число мелких условностей, необходимых в такого рода отношениях.

Он понимал, что ее исключительными милостями обязан тщательной подготовке со стороны; знал, что сейчас в ее поле зрения нет никого более интересного и что пользоваться этим нужно, пока его не заслонил кто-нибудь другой. И оба проявляли изворотливость и хитрость, от которых ее родители пришли бы в ужас.

...После ужина, как положено, начались танцы. Как положено? Изабеллу перехватывали на каждом шагу, а потом молодые люди пререкались по углам: «Мог бы потерпеть еще минут десять!» или: «Ей это тоже не понравилось, она сама мне сказала, когда я в следующий раз ее отбил». И это не было ложью — она повторяла то же всем подряд и каждому на прощание пожимала руку, словно говоря: «Вы же понимаете, я сегодня вообще танцую только ради вас».

Но время шло, и часов в одиннадцать, когда менее догадливые кавалеры обратили свои псевдострастные взоры на других претенденток, Изабелла и Эмори уже сидели на диване в верхней маленькой гостиной позади библиотеки. Она твердо помнила, что они — самая красивая пара и что им сам Бог велел искать интимной обстановки, пока не столь яркие пташки порхают и щебечут внизу.

Молодые люди, проходя мимо маленькой гостиной, заглядывали в нее с завистью, девицы на ходу улыбались, хмурились и кое-что запоминали на будущее.

А они сейчас достигли вполне определенной стадии. Они успели обменяться сведениями о том, как жили после того, как виделись в детстве, причем многое из этого она уже слышала раньше. Он сейчас на втором курсе, член редакционного совета «Принстонской газеты», на будущий год надеется стать ее главным редактором. Эмори, со своей стороны, узнал, что некоторые ее знакомые мальчики в Балтиморе «ужасно распущенные», на танцы приходят нетрезвые, многим из них уже по двадцать лет и почти все разъезжают на красных «штуцах». Чуть не половину их успели исключить из разных школ и колледжей, но некоторые — видные спортсмены: одни имена их вызывали в

ней уважение. Правду сказать, знакомство Изабеллы с университетской молодежью еще едва началось. Несколько студентов, видевших ее мельком, утверждали, что «малышка недурна — стоит посмотреть, что из нее получится». Но по ее рассказам выходило, что она участвовала в оргиях, способных поразить даже какого-нибудь австрийского барона. Такова сила юного контральто, воркующего на низком широком диване.

Эмори спросил, не считает ли она, что он о себе слишком высокого мнения. Она ответила, что между высоким мнением о себе и уверенностью в себе — большая разница. А уверенным в себе мужчина должен быть обязательно.

— Вы с Фрогги большие друзья? — спросила она.

— В общем, да, а что?

— Танцует он жутко.

Эмори рассмеялся.

— Он танцует так, точно не ведет девушку, а таскает ее на спине.

Шутка Изабелле понравилась.

— Вы удивительно верно описываете людей.

Он стал энергично отнекиваться, однако тут же описал ей еще нескольких общих знакомых. Потом разговор перешел на руки.

— У вас удивительно красивые руки,— сказала она.— Как у пианиста. Вы играете?

Повторяю, они достигли вполне определенной стадии, более того — стадии критической. Из-за этой девушки Эмори и так опоздал в университет, теперь поезд его отходил ночью, в четверть первого, чемодан и саквояж ждали в камере хранения на вокзале, и часы в кармане тикали все громче.

— Изабелла,— начал он вдруг,— мне надо вам что-то сказать.

Перед тем они болтали какую-то чепуху насчет «странного выражения ее глаз», и по его изменившемуся голосу Изабелла сразу поняла, что́ сейчас последует, и даже более — она уже давно этого ждала. Эмори протянул руку назад и вверх и выключил лампу, так что теперь комнату освещала только полоса света из открытой двери библиотеки. И он заговорил:

— Не знаю, может быть, вы уже поняли, что вы... что я хочу сказать. О господи, Изабелла, вы опять скажете, что это подход, но, право же...

— Я знаю,— сказала она тихо.

— Возможно, мы никогда больше так не встретимся — мне обычно зверски не везет.

Он сидел далеко от нее, в другом углу дивана, но его глаза были ей хорошо видны в полумраке.

— Да увидимся мы еще, глупенький.

Последнее слово, чуть подчеркнутое, прозвучало почти как ласка. Он продолжал сразу охрипшим голосом:

— Я в жизни увлекался уже много раз, и вы, вероятно, тоже, но, честное слово, вы...— Он не договорил и, нагнувшись вперед, уткнул подбородок в ладони.— Э, да что толку. Вы пойдете своей дорогой, а я, надо полагать, своей.

Молчание. Изабелла, взволнованная до глубины души, скомкала платок в тугой комочек и в бледном сумраке не то уронила, не то бросила его на пол. Руки их на мгновение встретились, но ни слова не было сказано. Молчание ширилось, становилось еще слаще. В соседней комнате другая парочка, тоже сбежавшая наверх, наигрывала что-то на рояле. После обычных вступительных аккордов послышалось начало «Младенцев в лесу», и в маленькую гостиную долетел мягкий тенор:

Дай руку мне —
С тобой наедине
Окажемся мы в сказочной стране.

Изабелла стала чуть слышно подпевать и задрожала, когда ладонь Эмори легла на ее руку.

— Изабелла,— шепнул он,— вы же знаете, что свели меня с ума. И я вам не совсем безразличен.

— Да.

— Вы меня любите? Или есть кто-нибудь другой?

— Нет.

Он едва слышал ее, хотя наклонился так близко, что чувствовал на щеке ее дыхание.

— Изабелла, я уезжаю в Принстон на целых полгода, так неужели нам нельзя... если б я хоть это мог увезти на память о вас...

— Закройте дверь.

Ее голос еле прошелестел, он даже не был уверен, что расслышал. Дверь под его рукой затворилась бесшумно, музыка зазвучала ближе:

Лунный свет мерцает, маня...
Поцелуй на прощанье меня.

Какая чудесная песня, думала она, сегодня все чудесно, а главное — эта романтическая сцена в маленькой гостиной, как они держатся за руки, и вот-вот случится то, что должно случиться. Вся жизнь уже рисовалась ей как бесконечная вереница таких сцен — при луне и в бледном свете звезд, в теплых лимузинах и в уютных двухместных «фордиках», поставленных под тенью деревьев. Только партнер мог меняться, но этот был такой милый. Он нежно держал ее руку в своей. Потом быстро повернул ладонью кверху, поднес к губам и поцеловал.

— Изабелла!

Шепот его смешался с музыкой, их словно плавно качнуло друг к другу. Она задышала чаще.

— Позволь тебя поцеловать, Изабелла!

Полуоткрыв губы, она повернулась к нему в темноте. И вдруг их оглушили голоса, топот бегущих ног. Мгновенно Эмори включил бра над диваном, и, когда в комнату ворвались трое, в том числе рассерженный, соскучившийся по танцам Фрогги, он уже небрежно листал журналы на столе, а она сидела, спокойная, безмятежная, и даже встретила их приветливой улыбкой. Но сердце у нее отчаянно билось, и она чувствовала себя обделенной.

Все было кончено. Их шумно тащили в зал, они переглянулись, его взгляд выражал отчаяние, ее — сожаление. А потом вечер пошел своим чередом, и кавалеры, вновь обретя уверенность, стали бойчее прежнего перехватывать девушек.

Без четверти двенадцать Эмори чинно простился с Изабеллой, стоя среди кучки гостей, подошедших пожелать ему счастливого пути. На секунду хладнокровие изменило ему, да и ее передернуло, когда какой-то остряк, прячась за чужими спинами, крикнул:

— Вы бы проводили его на вокзал, Изабелла!

Он чуть крепче, чем нужно, сжал ее руку, она ответила ему на пожатие, как ответила в этот вечер уже многим, и это было все.

В два часа ночи, вернувшись домой, Салли Уэдерби спросила, успели ли они с Эмори «развлечься» в маленькой гостиной. Изабелла обратила к ней невозмутимо спокойное лицо. В глазах ее светилась безгрешная мечтательность современной Жанны д'Арк.

— Нет,— отвечала она.—Я больше такими вещами не занимаюсь. Он просил меня, но я не захотела.

Ложась в постель, она старалась угадать, что он ей напишет завтра в письме с пометкой «срочное». У него такие красивые губы — неужели она никогда...

— «Тринадцать ангелов их сон оберегали...» — сонно пропела Салли в соседней комнате.

— К черту,— пробормотала Изабелла, кулаком взбивая подушку и стараясь не смять прохладные простыни.— К черту.

Карнавал

Эмори, попав в «Принстонскую газету», наконец-то нашел себя. По мере того как приближались выборы, мелкие снобы, эти безошибочные барометры успеха, относились к нему все почтительнее, и старшекурсники заглядывали к нему и к Тому, неловко усаживались на столы и на ручки кресел и болтали о чем угодно, кроме того, что их действительно интересовало. Эмори забавляли устремленные на него внимательные взгляды и, если гости представляли какой-нибудь малоинтересный клуб, с превеликим удовольствием шокировал их еретическими высказываниями.

— Минуточку,— ошарашил он как-то вопросом одну делегацию,— как вы сказали, вы какой клуб представляете?

С гостями из «Плюща», «Коттеджа» и «Тигра» он разыгрывал «наивного, неиспорченного юношу», в простоте душевной и не догадывающегося, зачем к нему явились.

В знаменательное утро в начале марта, когда весь университет был охвачен массовой истерией, он, забрав с собой Алека, пробрался в «Коттедж» и стал с интересом наблюдать своих посходивших с ума однокашников.

Были среди них мотыльки, метавшиеся из клуба в клуб, были друзья трехдневной давности, чуть не со слезами заявлявшие, что им непременно нужно быть в одном клубе, что они жить друг без друга не могут; вспыхивали внезапные ссоры, когда студент, только что выдвинувшийся из толпы, припоминал кому-то прошлогоднюю обиду. Еще вчера неизвестные личности, набрав вожделенное число голосов, сразу становились важными птицами, а другие, про которых говорили, что успех им обеспечен, обнаруживали, что успели нажить врагов, и, сразу почувствовав себя одинокими и всеми покинутыми, во всеуслышание заявляли, что уходят из университета.

Вокруг себя Эмори видел людей, забаллотированных — один за то, что носил зеленую шляпу, другой за то, что «оде-

вается, как манекен от портного», за то, что «однажды напился, как не подобает джентльмену», и еще по каким-то причинам, известным только тем, кто сам опускал черные шары.

Эта оргия всеобщей общительности завершилась грандиозным пиршеством в ресторане Нассау, где пунш разливали из гигантских мисок и весь нижний этаж кружился в бредовой карусели голосов и лиц.

— Эй, Дибби, поздравляю!

— Молодец, Том, в «Шапке»-то тебя как поддержали!

— Керри, скажи-ка...

— Эй, Керри, ты, я слышал, прошел в «Тигр» с прочими гиревиками?

— Уж конечно, не в «Коттедж», там пусть наши дамские угодники отсиживаются.

— Овертон, говорят, в обморок упал, когда его приняли в «Плющ». Даже записываться не пошел в первый день. Вскочил на велосипед и погнал узнавать, не произошло ли ошибки.

— А ты-то, старый повеса, как попал в «Шапку»?

— Поздравляю!

— И тебя также. Голосов ты, я слышал, набрал ого!

Когда закрылся бар, они, сбившись кучками, с песнями разбрелись по засыпанным снегом улицам и садам, теша себя заблуждением, что эпоха напряжения и снобизма наконец-то осталась позади и в ближайшие два года они могут делать все, что пожелают.

Много лет спустя Эмори вспоминал эту вторую университетскую весну как самое счастливое время своей жизни. Душа его была в полной гармонии с окружающим; в эти апрельские дни у него не было иных желаний, кроме как дышать, и мечтать, и наслаждаться общением со старыми и новыми друзьями.

Однажды утром к нему ворвался Алек Коннедж, и он, открыв глаза, сразу увидел в окно сверкающее на солнце здание Кембл-холла.

— Ты, Первородный Грех, проснись и пошевеливайся. Через полчаса чтоб был у кафе Ренвика. Имеется автомобиль.

Он снял со стола крышку, и со всем, что на ней стояло, осторожно пристроил на кровати.

— А откуда автомобиль? — недоверчиво спросил Эмори.

— Во временном владении. А вздумаешь придираться, так не видать тебе его как своих ушей.

— Я, пожалуй, еще посплю,— сказал Эмори и, снова откинувшись на подушку, потянулся за сигаретой.

— Что?!

— А чем плохо? У меня в одиннадцать тридцать лекция.

— Филин ты несчастный! Конечно, если тебе не хочется съездить к морю...

Одним прыжком Эмори выскочил из постели, и вся мелочь с крышки стола разлетелась по полу. Море... Сколько лет он его не видел, с тех самых пор, как они с матерью кочевали по всей стране...

— А кто едет? — спросил он, натягивая брюки.

— Дик Хамберд, и Керри Холидей, и Джесси Ферренби, и... в общем, человек шесть, кажется. Давай поживее!

Через десять минут Эмори уже уписывал у Ренвика корнфлекс с молоком, а в половине десятого веселая компания покатила прочь из города, держа путь к песчаным пляжам Дил-Бич.

— Понимаешь,— объяснил Керри,— автомобиль прибыл из тех краев. Точнее говоря, неизвестные лица угнали его из Эсбери-парк и бросили в Принстоне, а сами отбыли на Запад. И наш хитрый Хамберд получил в городском управлении разрешение доставить его обратно владельцам.

Ферренби, сидевший впереди, вдруг обернулся.

— Деньги у кого-нибудь есть?

Единодушное и громкое «нет!» было ему ответом.

— Это уже интересно.

— Деньги? Что такое деньги? На худой конец продадим машину.

— Или получим с хозяина вознаграждение за спасенное имущество.

— А что мы будем есть? — спросил Эмори.

— Ну, знаешь ли,— с укором возразил Керри,— ты что же, думаешь, у Керри не хватит смекалки на каких-то три дня? Бывало, люди годами ничего не ели. Ты почитай журнал «Бойскаут».

— Три дня,— задумчиво произнес Эмори.— А у меня лекции...

— Один из трех дней — воскресенье.

— Все равно, мне можно пропустить еще только шесть лекций, а впереди целых полтора месяца.

— Выкинуть его за борт!

— Пешком идти домой? Нет, лень.

— Эмори, а тебе не кажется, что ты «высовываешься»?

— Научись относиться к себе критически, Эмори.

Эмори смирился, умолк и стал созерцать окрестности. Почему-то вспомнился Суинберн:

Окончен срок пустоты и печали,
    Окончено время снега и сна,
Дни, что влюбленных зло разлучали,
    Свет, что слабеет, и тьма, что сильна;
С мыслью о времени — скорби забыты,
Почки набухли, морозы убиты,
И, году листвой возвестив о начале,
    Цветок за цветком, возникает весна.

Густым тростником замедлен поток...

— Что с тобой, Эмори? Эмори размышляет о поэзии, о цветочках и птичках. По глазам видно.

— Нет,— соврал Эмори.— Я думаю о «Принстонской газете». Мне сегодня вечером нужно было зайти в редакцию, но, наверно, откуда-нибудь можно будет позвонить.

— О-о,— почтительно протянул Керри,— уж эти мне важные шишки...

Эмори залился краской, и ему показалось, что Ферренби, не прошедший по тому же конкурсу, слегка поморщился. Керри, конечно, просто валяет дурака, но он прав — не стоило упоминать про «Принстонскую газету».

День был безоблачный, они ехали быстро, и, когда в лицо потянуло соленым ветерком, Эмори сразу представил себе океан, и длинные, ровные песчаные отмели, и красные крыши над синей водой. И вот уже они промчались через городок, и все это вспыхнуло у него перед глазами, всколыхнув целую бурю давно дремавших чувств.

— Ой, смотрите! — воскликнул он.

— Что?

— Стойте, я хочу выйти, я же этого восемь лет не видел. Милые, хорошие, остановитесь!

— Удивительный ребенок,— заметил Алек.

— Да, он у нас со странностями.

Однако автомобиль послушно остановили у обочины, и Эмори бегом бросился к прибрежной дорожке.

Его поразило, что море синее, что оно огромное, что оно ревет не умолкая,— словом, все самое банальное, чем может

поразить океан, но если б ему в ту минуту сказали, что все это банально, он только ахнул бы от изумления.

— Пора закусить,— распорядился Керри, подходя к нему вместе с остальными.— Пошли, Эмори, брось считать ворон и спустись на землю... Начнем с самого лучшего отеля,— продолжал он,— а потом дальше — по нисходящей.

Они прошествовали по набережной до внушительного вида гостиницы, вошли в ресторан и расположились за столиком.

— Восемь коктейлей «Бронкс»,— заказал Алек.— Сандвич покрупнее и картофель «жюльен». Закуску на одного. Остальное на всех.

Эмори почти не ел, он выбрал стул, с которого мог смотреть на море и словно чувствовать его колыхание. Поев, все еще посидели, покурили.

— Сколько там с нас?

Кто-то заглянул в счет.

— Восемь тридцать пять.

— Грабеж среди бела дня. Мы им дадим два доллара и доллар на чай. Ну-ка, Керри, займись сбором мелочи.

Подошел официант, Керри вручил ему доллар, два доллара небрежно бросил на счет и отвернулся. Они не спеша двинулись к выходу, но через минуту встревоженный виночерпий догнал их.

— Вы ошиблись, сэр.

Керри взял у него счет и внимательно прочитал.

— Все правильно,— сказал он, важно покачав головой, и, аккуратно разорвав счет на четыре куска, протянул их официанту, а тот, ничего не поняв, только бессмысленно смотрел им вслед, пока они выходили на улицу.

— А он не поднимет тревогу?

— Нет,— сказал Керри.— Сперва он решит, что мы — сыновья хозяина, потом еще раз изучит счет и пойдет к метрдотелю, а мы тем временем...

Автомобиль они оставили в Эсбери и на трамвае доехали до Алленхерста, потолкались среди тентов на пляже. В четыре часа подкрепились в закусочной, заплатив совсем уж ничтожную долю суммы, указанной в счете,— было что-то неотразимое в их внешности, в спокойной, уверенной манере, и никто не пытался их задержать.

— Понимаешь, Эмори, мы — социалисты марксистского толка,— объяснил Керри.— Мы — против частной собственности и претворяем свои теории в жизнь.

— Близится вечер,— напомнил Эмори.

— Выше голову, доверься Холидею.

В шестом часу они совсем развеселились и, сцепившись под руки, двинулись по набережной, распевая заунывную песню про печальные волны морские. Неожидавно Керри заметил в толпе лицо, чем-то его привлекшее, и, отделившись от остальных, через минуту появился снова, ведя за руку одну из самых некрасивых девушек, каких Эмори приходилось видеть. Ее бледный рот растянулся в улыбке, зубы клином выдавались вперед, маленькие косящие глаза заискивающе выглядывали из-за немного скривленного носа. Керри торжественно познакомил ее со всей компанией:

— Мисс Калука, гавайская королева. Разрешите представить вам моих друзей: мистеры Коннедж, Слоун, Хамберд, Ферренби и Блейн.

Девушка всем по очереди сделала книксен. «Бедняга,— подумал Эмори,— наверно, ее еще ни разу никто не замечал; может быть, она не вполне нормальная». За всю дорогу (Керри пригласил ее поужинать) она не сказала ничего, что могло бы его в этом разубедить.

— Она предпочитает свои национальные блюда,— серьезно сообщил Алек официанту,— а впрочем, сойдет и любая другая пища, лишь бы погрубее.

За ужином он был с ней изысканно почтителен и вежлив. Керри, сидевший с другой стороны от нее, беспардонно с ней любезничал, а она хихикала и жеманилась. Эмори молча наблюдал эту комедию, думая о том, какой легкий человек Керри, как он самому пустяковому случаю умеет придать законченность и форму. В большей или меньшей мере то же относилось ко всем этим юношам, и Эмори отдыхал душой в их обществе. Как правило, люди нравились ему поодиночке, а любой компании он побаивался, если только сам не был ее центром. Он пробовал разобраться в том, кто какой вклад вносит в общее настроение. Душой общества были Алек и Керри — душой, но не центром. А главенствовали, пожалуй, молчаливый Хамберд и Слоун, чуть раздражительный, чуть высокомерный.

Дик Хамберд еще с первого курса стал для Эмори идеалом аристократа. Он был сухощав, но крепко сбит, черные курчавые волосы, правильные черты лица, смуглая кожа. Что бы он ни сказал — все звучало к месту. Отчаянно храбр, очень неглуп, острое чувство чести и притом обаяние, не позволявшее заподозрить его в лицемерной праведности. Даже изрядно выпив,

он оставался в форме, даже его рискованные выходки не подходили под понятие «высовываться». Ему подражали в одежде, пытались подражать в манере говорить... Эмори решил, что он, вероятно, не принадлежит к авангарду человечества, но видеть его другим не хотел бы...

Хамберд отличался от типичных здоровых молодых буржуа — он, например, никогда не потел. Другим стоит фамильярно поговорить с шофером, и им ответят не менее фамильярно; а Хамберд мог бы позавтракать у «Шерри» с негром — и всем почему-то было бы ясно, что это в порядке вещей. Он не был снобом, хотя общался только с половиной своего курса. В приятелях у него числились и тузы, и мелкая сошка, но втереться к нему в дружбу было невозможно. Слуги его обожали, для них он был царь и бог. Он казался эталоном для всякого, притязающего на принадлежность к верхушке общества.

— Он похож на портреты из «Иллюстрейтед Лондон ньюс»,— сказал как-то Эмори Алеку,— знаешь — английские офицеры, погибшие на войне.

— Если тебя не страшит неприглядная правда,— ответил тогда Алек,— могу тебе сообщить, что его отец был продавцом в бакалейной лавке, потом в Такоме разбогател на продаже недвижимости, а в Нью-Йорк перебрался десять лет назад.

У Эмори тревожно засосало под ложечкой.

Эта их вылазка оказалась возможной потому, что после клубных выборов весь курс словно перетряхнуло, словно то была последняя попытка получше узнать друг друга, сблизиться, устоять против замкнутого духа тех же клубов. Это была разрядка после университетских условностей, с которыми они до сих пор так старательно считались.

После ужина они проводили Калуку на набережную, потом побрели по пляжу обратно в Эсбери. Вечернее море вызывало совсем иные чувства — исчезли его краски, его извечность, теперь это была холодная пустыня безрадостных северных саг. Эмори вспомнилась строка из Киплинга:

Берега Луканона, когда там не ступала нога моржелова...

И все-таки это тоже была музыка, бесконечно печальная.

К десяти часам они остались без единого цента. Последние одиннадцать центов поглотил роскошный ужин, и они шли по

набережной, пели, заходили в пассажи и под освещенные арки, останавливались послушать каждый уличный оркестр. Один раз Керри организовал сбор пожертвований на французских детей, которых война оставила сиротами; они собрали доллар и двадцать центов и на эти деньги купили бренди, чтобы не простудиться от ночного холода. Закончили они день в кино, где смотрели какую-то старую комедию, время от времени разражаясь громовым хохотом к удивлению и недовольству остальной публики. В кино они проникли как опытные стратеги: каждый, проходя мимо контролера, кивал через плечо на следующего. Слоун, замыкавший шествие, убедившись, что остальные уже рассыпались по рядам, снял с себя всякую ответственность — он, мол, их и в глаза не видал, а когда разъяренный контролер кинулся в зал, не спеша вошел туда за ним следом.

Позже они собрались у казино и подготовились к ночевке. Керри уломал сторожа, чтобы тот позволил им спать на веранде, вместо матрасов и одеял они натаскали туда целую кучу ковров из кабинок, проболтали до полуночи, а потом уснули как убитые, хотя Эмори очень старался не спать, чтобы полюбоваться океаном, освещенным совершенно необыкновенной луной.

Так они прожили два счастливых дня, передвигаясь вдоль побережья то на трамвае, то пешком по людной береговой дорожке, изредка пируя за столом какого-нибудь богача, а чаще — питаясь более чем скромно за счет простодушных хозяев закусочных. В моментальной фотографии они снялись в восьми разных видах. Керри придумывал мизансцены: то это была студенческая футбольная команда, то шайка истсайдских гангстеров в пиджаках наизнанку, а сам он восседал в центре на картонном полумесяце. Вероятно, снимки эти и по сей день хранятся у фотографа, во всяком случае, заказчики за ними не явились. Погода держалась прекрасная, и они опять ночевали на воздухе, и Эмори опять уснул, как ни старался лежать с открытыми глазами.

Настало воскресенье, торжественно респектабельное, и они возвратились в Принстон на «фордах» попутных фермеров и разошлись по домам, чихая и сморкаясь, но вполне довольные своей поездкой.

Еще больше, чем в прошлом году, Эмори запускал академические занятия — не умышленно, а из-за лени и переизбытка привходящих интересов. Его не влекла ни аналитическая гео-

метрия, ни монотонные двустишия Корнеля и Расина, и даже психология, от которой он так много ждал, оказалась скучнейшим предметом — не исследование свойств и влияний человеческого сознания, а сплошь мускульные реакции и биологические термины. Занятия эти начинались в полдень, когда его особенно клонило ко сну, и, установив, что почти во всех случаях подходит формула «субъективно и объективно, сэр», он с успехом ею пользовался. Вся группа ликовала, когда Ферренби или Слоун, услышав вопрос, обращенный к нему, толкали его в бок и он в полусне произносил спасительные слова.

То и дело они куда-нибудь уезжали — в Орендж или на море, реже — в Нью-Йорк или Филадельфию, а однажды, собрав четырнадцать официанток от Чайлдса, целый вечер катали их по Пятой авеню на империале автобуса. Все они уже напропускалн больше лекций, чем дозволялось правилами, а это означало дополнительные занятия в будущем учебном году, но весна брала свое — очень уж заманчивы были эти эскапады. В мае Эмори выбрали в комиссию по устройству летнего бала, и теперь, подробно обсуждая с Алеком возможный состав студенческого совета старших курсов, они среди первых кандидатов неизменно называли себя. В совет, как правило, входило восемнадцать студентов, особенно чем-нибудь отличившихся, и футбольные достижения Алека, а также твердое намерение Эмори сменить Бэрна Холидея на посту главного редактора «Принстонской газеты» давали все основания для таких предположений. Как ни странно, оба они включали в число кандидатов и Тома Д'Инвильерса, что год назад было бы воспринято как шутка.

Всю весну, то реже, то чаще, Эмори переписывался с Изабеллой Борже, ссорился с ней и мирился, а главным образом подыскивал синонимы к слову «любовь». В письмах Изабелла оказалась огорчительно сдержанной и даже бесчувственной, но Эмори не терял надежды, что в широких весенних просторах этот экзотический цветок распустится так же, как в маленькой гостиной клуба Миннегага. В мае он стал чуть ли не каждый вечер сочинять ей письма на тридцать две страницы и отсылал их по два сразу, надписав на толстых конвертах «Часть 1» и «Часть 2».

— Ох, Алек, по-моему, колледж мне слегка надоел,— грустно признался он во время одной из их вечерних прогулок.

— Ты знаешь, и мне, пожалуй, тоже.

— Хочу жить в маленьком домике в деревне, в каких-нибудь теплых краях, с женой, а заниматься чем-нибудь ровно столько, чтобы не сдохнуть со скуки.

— Вот-вот, и я так же.

— Хорошо бы бросить университет.

— А девушка твоя как считает?

— Ну что ты! — в ужасе воскликнул Эмори.— Она и не думает о замужестве... по крайней мере, сейчас. Я ведь говорю вообще, о будущем.

— А моя очень даже думает. Мы помолвлены.

— Да ну?

— Правда. Ты, пожалуйста, никому не говори, но, может быть, на будущий год я сюда не вернусь.

— Но тебе же только двадцать лет. Бросить колледж...

— А сам только что говорил...

— Верно,— перебил его Эмори.— Но это так, мечты. Просто как-то грустно бывает в такие вот чудесные вечера. И кажется, что других таких уже не будет, а я не все от них беру, что можно. Если б еще моя девушка жила здесь. Но жениться — нет, куда там. Да еще отец пишет, что доходы у него уменьшились.

— Да, вечеров жалко,— согласился Алек.

Но Эмори только вздохнул — у него вечера не пропадали даром. Под крышкой старых часов он хранил маленький снимок Изабеллы, и почти каждый вечер он ставил его перед собой, садился у окна, погасив в комнате все лампы, кроме одной, на столе, и писал ей сумасбродные письма.

«...так трудно выразить словами, что я чувствую, когда так много думаю о Вас; Вы стали для меня грезой, описать которую невозможно. Ваше последнее письмо просто удивительное, я перечитал его раз шесть, особенно последний кусок, но иногда мне так хочется, чтобы Вы были откровеннее и написали, что Вы на самом деле обо мне думаете, но последнее Ваше письмо — прелесть, я просто не знаю, как дождусь июня! Непременно устройте так, чтобы приехать на наш бал. Я уверен, что все будет замечательно, и мне хочется, чтобы Вы побывали здесь в конце такого замечательного года. Я часто вспоминаю, что Вы сказали в тот вечер, и все думаю, насколько это было серьезно. Если б это были не Вы... но, понимаете, когда я Вас в первый раз увидел, мне показалось, что Вы — ветреная, и Вы пользуетесь таким успехом, ну, в общем, мне просто не верится, что я Вам нравлюсь больше всех.

Изабелла, милая, сегодня такой удивительный вечер. Где-то вдалеке кто-то играет на мандолине “Луна любви”, и эта музыка словно ведет Вас сюда, в мою комнату. А сейчас он заиграл “Прощайте, мальчики, с меня довольно”, и это как раз по мне. Потому что с меня тоже всего довольно. Я решил не выпить больше ни одного коктейля, и я знаю, что никогда больше не полюблю — просто не смогу — Вы настолько стали частью моих дней и ночей, что я никогда и думать не смогу о другой девушке. Я их встречаю сколько угодно, но они меня не интересуют. Я не хочу сказать, что я пресыщен, дело не в этом. Просто я влюблен. О Изабелла, дорогая (не могу я называть Вас просто Изабелла и очень опасаюсь, как бы мне в июне не выпалить «дорогая» при Ваших родителях), приезжайте на наш бал обязательно, а потом я на денек приеду к вам, и все будет чудесно...»

И так далее, нескончаемое повторение все того же, казавшееся им обоим безмерно прекрасным, безмерно новым.

Настал июнь, жара и лень так их разморили, что даже мысль об экзаменах не могла их встряхнуть, и они проводили вечера во дворе клуба «Коттедж», лениво переговариваясь о том о сем, пока весь склон, спускающийся к Стони-Брук, не расплывался в голубоватой мгле, и кусты сирени белели вокруг теннисных кортов, и слова сменялись безмолвным дымком сигарет... а потом по безлюдным Проспект-авеню и Мак-Кош, где отовсюду неслись обрывки песен,— домой, к жаркой и неумолчно оживленной Нассау-стрит.

Том Д’Инвильерс и Эмори почти перестали спать: весь курс охватила лихорадка азартных игр, и не раз в эти душные ночи они играли в кости до трех часов. А однажды, наигравшись до одури, вышли из комнаты Слоуна, когда уже пала роса и звезды в небе побледнели.

— Хорошо бы добыть велосипеды и покататься, а, Том? — предложил Эмори.

— Давай. Я совсем не устал, а теперь когда еще выберешься, ведь с понедельника надо готовиться к празднику.

В одном из дворов они нашли два незапертых велосипеда и в четверть четвертого уже катили по дороге на Лоренсвилл.

— Ты как думаешь проводить лето, Эмори?

— Не спрашивай. Наверно, как всегда. Месяца полтора в Лейк-Джинева — между прочим, не забудь, что в июле ты у

меня там погостишь,— потом Миннеаполис, а значит, чуть не каждый день танцульки, и нежности, и скука смертная... Но признайся, Том,— добавил он неожиданно,— этот год был просто изумительный, верно?

— Нет,— решительно заявил Том — новый, совсем не прошлогодний Том в костюме от Брукса и модных ботинках.— Эту партию я выиграл, но больше играть мне неохота. Тебе-то что, ты — как резиновый мячик, и тебе это даже идет, а мне осточертело приноравливаться к здешним снобам. Я хочу жить там, где о людях судят не по цвету галстуков и фасону воротничков.

— Ничего у тебя не выйдет, Том,— возразил Эмори, глядя на светлеющую впереди дорогу.— Теперь где бы ты ни был, ты всех будешь бессознательно мерить одной меркой — либо у человека «это есть», либо нет. Хочешь не хочешь, а клеймо мы на тебе поставили. Ты — принстонец.

— А раз так,— высокий, надтреснутый голос Тома жалобно зазвенел,— зачем мне вообще сюда возвращаться? Все, что Принстон может предложить, я усвоил. Еще два года корпеть над учебниками и подвизаться в каком-нибудь клубе — что это мне даст? Только то, что я окончательно стану рабом условностей и совсем потеряю себя? Я и сейчас уже до того обезличился, что вообще не понимаю, как я еще живу.

— Но ты упускаешь из виду главное,— сказал Эмори.— Вся беда в том, что вездесущий снобизм открылся тебе слишком неожиданно и резко. А вообще-то думающий человек неизбежно обретает в Принстоне общественное сознание.

— Уж не ты ли меня этому выучил? — спросил Том, с усмешкой поглядывая на него в сером полумраке.

Эмори тихонько рассмеялся.

— А разве нет?

— Иногда мне думается,— медленно произнес Том,— что ты — мой злой гений. Из меня мог бы получиться неплохой поэт.

— Ну, знаешь ли, это уже нечестно. Ты пожелал учиться в одном из восточных колледжей. И у тебя открылись глаза на то, как люди подличают, норовя пробиться повыше. А мог бы все эти годы прожить незрячим — как наш Марти Кэй,— и это тебе тоже не понравилось бы.

— Да,— согласился Том,— тут ты нрав. Это мне не понравилось бы. А все-таки обидно, когда из тебя к двадцати годам успевают сделать циника.

— Я-то такой от рождения,— негромко сказал Эмори.— Я циник-идеалист.

Он умолк и спросил себя, есть ли в этих словах какой-нибудь смысл.

Они доехали до спящей лоренсвиллской школы и повернули обратно.

— Хорошо вот так ехать, правда? — сказал Том после долгого молчания.

— Да, хорошо, чудесно. Сегодня все хорошо. А впереди еще долгое жаркое лето и Изабелла!

— Ох уж эта мне твоя Изабелла. Пари держу, что она глупа, как... Давай лучше почитаем стихи.

И Эмори усладил слух придорожных кустов «Одой к соловью»*.

— Я никогда не стану поэтом,— сказал он, дочитав до конца.— Чувственное восприятие мира у меня недостаточно тонкое. Красота для меня существует только в самых своих явных проявлениях — женщины, весенние вечера, музыка в ночи, море. А таких тонкостей, как «серебром рокочущие трубы», я не улавливаю. Умственно я кое-чего, возможно, достигну, но стихи если и буду писать, так в лучшем случае посредственные.

Они въехали в Принстон, когда солнце уже расцветило небо, как географическую карту, и помчались принять душ, которым пришлось обойтись вместо сна. К полудню на улицах появились группы бывших принстонцев — в ярких костюмах, с оркестрами и хорами, и устремились на свидание с однокашниками к легким павильонам, над которыми реяли на ветру оранжево-черные флаги. Эмори долго смотрел на павильончик с надписью «Выпуск 60-го года». Там сидели несколько седых стариков и тихо беседовали, глядя на шагающие мимо них новые поколения.

Под дуговым фонарем

И тут из-за гребня июня на Эмори внезапно глянули изумрудные глаза трагедии. На следующий день после велосипедной прогулки веселая компания отправилась в Нью-Йорк на поиски приключений, и в обратный путь они пустились часов в двенадцать ночи, на двух автомобилях. В Нью-Йорке они покутили на славу и не все были одинаково трезвы. Эмори ехал

во второй машине, где-то они ошиблись поворотом и сбились с дороги и теперь спешили, чтобы наверстать упущенное время.

Ночь была ясная, ощущение скорости пьянило не хуже вина. В сознании Эмори бродили смутные призраки двух стихотворных строф...

В ночи, серея, прополз мотор. Ничто не нарушало тишину... Как расступается морской простор перед акулой, режущей волну, пред ним деревья расступались вмиг, и реял птиц ночных тревожный крик...

Желтеющий под желтою луной, трактир в тенях и свете промелькнул — но смех слизнуло тишиной ночной... Мотор в июльский ветер вновь нырнул, и снова тьма пространством сгущена и синевой сменилась желтизна.

Внезапный толчок, машина стала, Эмори в испуге высунулся наружу. Какая-то женщина что-то говорила Алеку, сидевшему за рулем. Много позже он вспомнил, как неопрятно выглядел ее старый халат, как глухо и хрипло звучал голос.

— Вы студенты, из Принстона?

— Да.

— Там один из ваших разбился насмерть, а двое других чуть живы.

— Боже мой!

— Вон, глядите.

Они в ужасе обернулись. В круге света от высокого дугового фонаря ничком лежал человек, а под ним расплывалась лужа крови.

Они выскочили из машины, Эмори успел подумать: затылок, этот затылок... эти волосы... А потом они перевернули тело на спину.

— Это Дик... Дик Хамберд!

— Ох, господи!

— Пощупай сердце!

И снова каркающий голос старухи, словно бы даже злорадный:

— Да мертвый он, мертвый. Автомобиль перевернулся. Двое, которые легко отделались, внесли других в комнату, а этому уж ничем не поможешь.

Эмори бросился в дом, остальные, войдя за ним следом, положили обмякшее тело на диван в убогой комнатке окном на улицу. На другой кушетке лежал Слоун, тяжело раненный в пле-

чо. Он был в бреду, все повторял, что лекция по химии будет в 8.10.

— Понять не могу, как это случилось,— сказал Ферренби сдавленным голосом.— Дик вел машину, никому не хотел отдать руль, мы ему говорили, что он выпил лишнего, а тут этот чертов поворот... ой, какой ужас...— Он рухнул на пол и затрясся от рыданий.

Приехал врач, потом Эмори подошел к дивану, кто-то дал ему простыню накрыть мертвого. С непонятным хладнокровием он приподнял безжизненную руку и дал ей снова упасть. Лоб был холодный, но лицо еще что-то выражало. Он посмотрел на шнурки от ботинок — сегодня утром Дик их завязывал. Сам завязывал, а теперь он — этот тяжелый белый предмет. Все, что осталось от обаяния и самобытности Дика Хамберда, каким он его знал,— как это все страшно, и обыденно, и прозаично. Всегда в трагедии есть эта нелепость, эта грязь... все так никчемно, бессмысленно... так умирают животные... Эмори вспомнилась попавшая под колеса изуродованная кошка в каком-то из переулков его детства...

— Надо отвезти Ферренби в Иринстон.

Эмори вышел на дорогу и поежился от свежего ночного ветра, и от порыва этого ветра кусок крыла на груде искореженного металла задребезжал тихо и жалобно.

Крещендо!

На следующий день его закружило в спасительном праздничном вихре. Стоило ему остаться одному, как в памяти снова и снова возникал приоткрытый рот Дика Хамберда, неуместно красный на белом лице, но усилием воли он заслонял эту картину спешкой мелких насущных забот, выключал ее из сознания.

Изабелла с матерью приехали в четыре часа и по веселой Проспект-авеню проследовали в «Коттедж» пить чай. Клубы в тот вечер по традиции обедали каждый у себя и без гостей, поэтому в семь часов Эмори препоручил Изабеллу знакомому первокурснику, сговорившись встретиться с ней в гимнастическом зале в одиннадцать, когда старшекурсников допускали на бал младших. Наяву она оказалась не хуже, чем жила в его мечтах, и от этого вечера он ждал исполнения многих желаний. В девять часов старшие, выстроившись перед своими клу-

бами, смотрели факельное шествие первокурсников, и Эмори думал, что, наверно, в глазах этих орущих, глазеющих юнцов он и его товарищи — во фраках, на фоне старинных темных стен, в отблесках факелов — зрелище столь же великолепное, каким было для него самого год назад.

Вихрь не утих и наутро. Завтракали вшестером в отдельной маленькой столовой в клубе, и Эмори с Изабеллой, обмениваясь нежными взглядами над тарелками с жареными цыплятами, пребывали в уверенности, что их любовь — навеки. На балу танцевали до пяти утра, причем кавалеры беспрестанно перехватывали друг у друга Изабеллу, и чем дальше, тем чаще и веселее, а в промежутках бегали в гардеробную глотнуть из бутылок, оставленных в карманах плащей, чтобы еще на сутки отодвинуть накопившуюся усталость. Группа кавалеров без постоянных дам — это нечто единое, наделенное одной общей душой. Вот проносится в танце красавица брюнетка, и вся группа, тихо ахнув, подается вперед, а самый проворный разбивает парочку. А когда приближается галопом шестифутовая дылда (гостья Кэя, которой он весь вечер пытался вас представить), вся группа, так же дружно отпрянув назад, начинает с интересом вглядываться в дальние углы зала, потому что вот он, Кэй, взмокший от пота и от волнения, уже пробирается сюда сквозь толпу, высматривая знакомые лица.

— Послушай, старик, тут есть одна прелестная...

— Прости, Кэй, сейчас не могу. Я обещал вызволить одного приятеля.

— Ну а следующий танец?

— Да нет, я... гм... честное слово, я обещал. Ты мне дай знак, когда она будет свободна.

Эмори с восторгом принял идею Изабеллы уйти на время из зала и покататься на ее машине. Целый упоительный час — он пролетел слишком быстро! — они кружили по тихим дорогам близ Принстона и разговаривали, скользя по поверхности, взволнованно и робко. Эмори, охваченный странной, какой-то детской застенчивостью, даже не пытался поцеловать ее.

На следующий день они покатили в Нью-Йорк, позавтракали там, а после завтрака смотрели в театре серьезную современную пьесу, причем Изабелла весь второй акт проплакала, и Эмори был этим несколько смущен, хотя и преисполнился нежности, украдкой наблюдая за нею. Ему так хотелось осушить ее слезы поцелуями, а она в темноте потянулась к его руке, и он ласково накрыл ее ладонью.

А к шести они уже прибыли в загородный дом семьи Борже на Лонг-Айленде, и Эмори помчался наверх в отведенную ему комнату переодеваться к обеду. Вдевая в манжеты запонки, он вдруг понял, что так наслаждаться жизнью, как сейчас, ему, вероятно, уже никогда больше не суждено. Все вокруг тонуло в священном сиянии его собственной молодости. В Принстоне он сумел выдвинуться в первые ряды. Он влюблен, и ему отвечают взаимностью. Он зажег в комнате все лампы и посмотрел на себя в зеркало, отыскивая в своем лице те качества, что позволяли ему и видеть отчетливее, чем большинство других людей, и принимать твердые решения, и проявлять силу воли. Сейчас он, кажется, ничего не захотел бы изменить в своей жизни... Вот только Оксфорд, возможно, сулил бы более широкое поприще...

В молчании он любовался собой. Как хорошо, что он красив, как идет ему смокинг. Он вышел в коридор, но, дойдя до лестницы, остановился, услышав приближающиеся шаги. То была Изабелла, и никогда еще она вся — от высоко зачесанных блестящих волос до крошечных золотых туфелек — не была так прекрасна.

— Изабелла! — воскликнул он невольно и раскрыл объятия. Как в сказке, она подбежала и упала ему на грудь, и то мгновение, когда губы их впервые встретились, стало вершиной его тщеславия, высшей точкой его юного эгоизма.

Глава III

ЭГОИСТ НА РАСПУТЬЕ

— Ой, пусти!

Эмори разжал руки.

— Что случилось?

— Твоя запонка, ой как больно... вот, гляди.

Она скосила глаза на вырез своего платья, где на белой коже проступило крошечное голубое пятнышко.

— О Изабелла, прости,— взмолился он.— Какой же я медведь! Я нечаянно, слишком крепко я тебя обнял.

Она нетерпеливо вздернула голову.

— Ну конечно же, не нарочно, Эмори, и не так уж больно, но что нам теперь делать?

— Делать? — удивился он.— Ах, ты про это пятнышко, да это сейчас пройдет.

— Не проходит,— сказала она после того, как с минуту внимательно себя рассматривала.— Все равно видно, так некрасиво, ой, Эмори, как же нам быть, ведь оно как раз на высоте твоего плеча.

— Попробуй потереть,— предложил Эмори, которому стало чуточку смешно.

Она осторожно потерла шею кончиками пальцев, а потом в уголке ее глаза появилась и скатилась по щеке большая слеза.

— Ох, Эмори,— сказала она, подняв на него скорбный взгляд,— если тереть, у меня вся шея станет ярко-красная. Как же мне быть?

В мозгу его всплыла цитата, и он, не удержавшись, произнес ее вслух:

— «Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку...»

Она посмотрела на него, и новая слеза блеснула, как льдинка.

— Не очень-то ты мне сочувствуешь.

Он не понял.

— Изабелла, родная, уверяю тебя, что это...

— Не трогай меня! — крикнула она.— Я так расстроена, а ты стоишь и смеешься.

И он опять сказал не то:

— Но, Изабелла, милая, ведь это и правда смешно, а помнишь, мы как раз говорили, что без чувства юмора...

Она не то чтобы улыбнулась, но в уголках ее рта появился слабый невеселый отблеск улыбки.

— Ох, замолчи! — крикнула она вдруг и побежала по коридору назад, к своей комнате.

Эмори остался стоять на месте, смущенный и виноватый.

Изабелла появилась снова, в накинутом на плечи легком шарфе, и они спустились по лестнице в молчании, которое не прерывалось в течение всего обеда.

— Изабелла,— сказал он не слишком ласково, едва они сели в машину, чтобы ехать на танцы в Гриничский загородный клуб.— Ты сердишься, и я, кажется, тоже скоро рассержусь. Поцелуй меня, и давай помиримся.

Изабелла недовольно помедлила.

— Не люблю, когда надо мной смеются,— сказала она наконец.

— Я больше не буду. Я и сейчас не смеюсь, верно?

— А смеялся.

— Да не будь ты так по-женски мелочна.

Она чуть скривила губы.

— Какой хочу, такой и буду.

Эмори с трудом удержался от резкого ответа. Он уже понял, что никакой настоящей любви к Изабелле у него нет, но ее холодность задела его самолюбие. Ему хотелось целовать ее, долго и сладко,— тогда он мог бы утром уехать и забыть ее. А вот если не выйдет, ему не так-то легко будет успокоиться... Это помешает ему чувствовать себя победителем. Но, с другой стороны, не желает он унижаться, просить милости у столь доблестной воительницы, как Изабелла.

Возможно, она обо всем этом догадалась. Во всяком случае, вечер, обещавший стать квинтэссенцией романтики, прошел среди порхания ночных бабочек и аромата садов вдоль дороги, но без нежного лепета и легких вздохов...

Поздно вечером, когда они ужинали в буфетной шоколадным тортом с имбирным пивом, Эмори объявил о своем решении:

— Завтра рано утром я уезжаю.

— Почему?

— А почему бы и нет?

— Это вовсе не обязательно.

— Ну а я все равно уезжаю.

— Что ж, если ты намерен так глупо себя вести...

— Ну зачем так говорить,— возразил он.

— ...просто потому, что я не хочу с тобой целоваться... Ты что же, думаешь...

— Погоди, Изабелла,— перебил он,— ты же знаешь, что дело не в этом, отлично знаешь. Мы дошли до той точки, когда мы либо должны целоваться, либо... либо — ничего. Ты ведь не из нравственных соображений отказываешься.

Она заколебалась.

— Просто не знаю, что и думать о тебе,— начала она, словно ища обходный путь к примирению.— Ты такой странный.

— Чем?

— Ну, понимаешь, я думала, ты очень уверен в себе. Помнишь, ты недавно говорил мне, что можешь сделать все, что захочешь, и добиться всего, чего хочешь.

Эмори покраснел. Он и вправду много чего наговорил ей.

— Ну, помню.

— А сегодня ты не очень-то был уверен в себе. Может быть, у тебя это просто самомнение.

— Это неверно...— он замялся.— В Принстоне...

— Ох уж твой Принстон. Послушать тебя, так на нем свет клином сошелся. Может, ты правда пишешь лучше всех в своей газете, может, первокурсники правда воображают, что ты герой...

— Ты не понимаешь...

— Прекрасно понимаю. Понимаю, потому что ты все время говоришь о себе, и раньше мне это нравилось, а теперь нет.

— И сегодня я тоже говорил о себе?

— В том-то и дело. Сегодня ты совсем раскис. Только сидел и следил, на кого я смотрю. И потом, когда с тобой говоришь, все время приходится думать. Ты к каждому слову готов придраться.

— Значит, я заставляю тебя думать? — спросил Эмори, невольно польщенный.

— С тобой никаких нервов не хватает,— сказала она сердито.— Когда ты начинаешь разбирать каждое малюсенькое переживание или ощущение, я просто не могу.

— Понятно,— сказал он и беспомощно покачал головой.

— Пошли.— Она встала.

Он машинально встал тоже, и они дошли до подножия лестницы.

— Когда отсюда есть поезд?

— Есть в девять одиннадцать, если тебе действительно нужно уезжать.

— Да, в самом деле нужно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Они уже поднялись по лестнице, и Эмори, поворачивая к своей комнате, как будто уловил на ее лице легкое облачко недовольства. Он лежал в темноте, и не спал, и все думал, очень ему больно или нет, и в какой мере это внезапное горе — только оскорбленное самолюбие, и, может быть, он по самой своей природе не способен на романтическую любовь?

Проснулся он весело, словно ничего и не случилось. Утренний ветерок шевелил кретоновые занавески на окнах, и он слегка дивился, почему он не в своей комнате в Принстоне, где над комодом должен висеть снимок их школьной футбольной команды, а на другой стене — труппа «Треугольника». Потом большие часы в коридоре пробили восемь, и он сразу вспомнил вчерашний вечер. Он вскочил и стал быстро одеваться — нужно успеть уйти из дому, не повидав Изабеллу. То, что вчера казалось несчастьем, сейчас казалось досадной осечкой. В половине девятого он был готов и присел у окна, чув-

ствуя, что сердце у него как-никак сжимается от грусти. Какой насмешкой представилось ему это утро — ясное, солнечное, напоенное благоуханием сада. Внизу, на веранде, послышался голос миссис Борже, и он подумал, где-то сейчас Изабелла.

В дверь постучали.

— Автомобиль будет у подъезда без десяти девять, сэр.

Он опять загляделся на цветущий сад и стал снова и снова повторять про себя строфу из Браунинга, которую когда-то процитировал в письме к Изабелле:

Не знали мы жизни даров,
Не знали судьбы участья:
Слез, смеха, постов, пиров,
Волнений — ну, словом, счастья.

Но у него-то все это впереди. Он ощутил мрачное удовлетворение при мысли, что Изабелла, может быть, всегда была только порождением его фантазии, что выше этого ей не подняться, что никто никогда больше не заставит ее думать. А между тем именно за это она его отвергла, и он вдруг почувствовал, что нет больше сил все думать и думать.

— Ну ее к черту! — сказал он злобно.— Испортила мне весь год!

Сверхчеловек допускает оплошность

В пыльный день в сентябре Эмори прибыл в Принстон и влился в заполнившие улицы толпы студентов, которых ждали переэкзаменовки. Бездарно это было, конечно, так начинать третий учебный год — по четыре часа каждое утро просиживать в душной комнате, усваивая невообразимую скуку сечения конусов. Мистер Руни с шести утра до полуночи натаскивал тупиц,— выводил с ними формулы и решал уравнения, выкуривая при этом несметное количество сигарет.

— Ну, Лангедюк, если применить эту формулу, то где будет у нас точка А?

Лангедюк лениво распрямляет все шесть с лишком футов своей футбольной фигуры и пробует сосредоточиться.

— Мм... честное слово, не знаю, мистер Руни.

— Правильно, эту формулу здесь нельзя применить. Этого ответа я от вас и ждал.

— Ну да, ну да, конечно.

— А почему, вам понятно?

— Ну да, в общем, да.

— Если непонятно, скажите. Для этого я с вами и занимаюсь.

— Если можно, мистер Руни, объясните еще раз.

— С удовольствием.

Комната была царством тупости — две огромные этажерки с бумагой, перед ними — мистер Руни без пиджака, а вокруг, развалившись на стульях,— десятка полтора студентов: Фред Слоун, лучший бейсболист, которому во что бы то ни стало нужно было сохранить свое место в команде; Лангедюк, которому предстояло этой осенью победить йельцев, если только он сдаст свои несчастные пятьдесят процентов; Мак-Дауэлл, развеселый второкурсник, считавший для себя удачей готовиться к переэкзаменовке вместе со всеми этими чемпионами.

— Кого мне жаль, так это тех бедняг, у кого нет денег на эти занятия,— сказал он как-то Эмори, вяло жуя бледными губами сигарету.— Ведь им придется подгонять самим, во время семестра. Скука-то какая, в Нью-Йорке во время семестра можно провести время и поинтереснее. Скорее всего, они просто не подумали, чего себя лишают.— Тон мистера Мак-Дауэлла был до того панибратский, что Эмори чуть не вышвырнул его в окно... Дурачок несчастный, в феврале его мамочка удивится, почему он не вступил ни в какой клуб, и увеличит ему содержание...

В унылой, без искры веселья атмосфере сквозь дым временами звучали беспомощные возгласы: «Не понимаю! Мистер Руни, повторите, пожалуйста!» Но большинство студентов по глупости или по лени не задавали вопросов, даже когда ничего не понимали, и к последним принадлежал Эмори. Он не мог принудить себя вникнуть в сечение конусов; спокойная, дразнящая их закономерность, заполнявшая неаппетитные апартаменты мистера Руни, превращала любое уравнение в неразрешимый ребус. В последний вечер он посидел над учебником, прикладывая ко лбу мокрое полотенце, а утром беспечно отправился на экзамен, не понимая, куда девалось его весеннее честолюбие и почему жизнь стала такой тусклой и серой. После ссоры с Изабеллой академические успехи как-то сразу перестали его волновать, и к возможному провалу он относился почти равнодушно, хотя этот провал должен был неизбежно повлечь за собой уход с поста редактора «Принстонской газе-

ты» и лишить его каких бы то ни было шансов попасть в члены совета старшекурсников.

Может, еще кривая вывезет.

Он зевнул, небрежно написал на папке присягу, что работал честно, и вперевалку вышел из аудитории.

— Если ты не сдал,— сказал только что приехавший Алек, сидя у окна в комнате Эмори и обсуждая с ним, как лучше развесить картины и снимки,— значит, ты последний идиот. И в клубе, и вообще в университете твои акции упадут, как камень в воду.

— Сам знаю. Можешь не объяснять.

— И поделом тебе. За такое поведение из «Принстонской» хоть кого вышибут, и правильно сделают.

— Ладно, хватит,— рассердился Эмори.— Посмотрим, как будет, а пока помалкивай. Не желаю я, чтобы в клубе все меня про это спрашивали, точно я картофелина, которую выращивают на приз для выставки огородников.

Вечером неделю спустя Эмори по дороге к Ренвику остановился под своим окном и, увидев наверху свет, крикнул:

— Эй, Том, почта есть?

В желтом квадрате света появилась голова Алека.

— Да, тебе пришло извещение.

У Эмори заколотилось сердце.

— Какой листок, розовый или голубой?

— Не знаю. Сам увидишь.

Он прошел прямо к столу и только тогда вдруг заметил, что в комнате есть и еще люди.

— Здорово, Керри.— Он выбрал самый вежливый тон.— О, друзья мои принстонцы! — Видимо, тут собрались все свои, поэтому он взял со стола конверт со штампом «Канцелярия» и нервно взвесил его на ладони.— Мы имеем здесь важный документ.

— Да открой ты его, Эмори.

— Для усиления драматического эффекта довожу до вашего сведения, что если листок голубой, мое имя больше не значится в руководстве «Принстонской газеты» и моя недолгая карьера закончена.

Он умолк и тут только увидел устремленные на него голодные, внимательные глаза Ферренби. Эмори ответил ему выразительным взглядом.

— Читайте примитивные эмоции на моем лице, джентльмены.

Он разорвал конверт и поглядел листок на свет.

— Ну?

— Розовый или голубой?

— Говори же!

— Мы ждем, Эмори.

— Улыбнись или выругайся, ну же!

Пауза... пролетел рой секунд... он посмотрел еще раз, и еще один рой улетел в вечность.

— Небесно-голубой, джентльмены...

Похмелье

Все, что Эмори делал в том учебном году с начала сентября и до конца весны, было так непоследовательно и бесцельно, что и рассказывать об этом едва ли стоит. Разумеется, он тотчас пожалел о том, чего лишился.

Вся его философия успеха развалилась на куски, и он лучился вопросом, почему так случилось.

— Собственная лень, вот и все,— сказал однажды Алек.

— Нет, тут причины глубже. Сейчас мне кажется, что эта неудача была предопределена.

— В клубе на тебя уже косятся. Каждый раз, как кто-нибудь проваливается, нашего полку убывает.

— Не принимаю я такой точки зрения.

— Ты безусловно мог бы еще отыграться, стоит только захотеть.

— Ну нет, с этим покончено — я имею в виду свой авторитет в колледже.

— Честно тебе скажу, Эмори, меня не то бесит, что ты не будешь ни в «Принстонской», ни в совете, а просто что ты не взял себя в руки и не сдал этот несчастный экзамен.

— Ну а меня,— медленно проговорил Эмори,— меня бесит самый факт. Мое безделье вполне соответствовало моей системе. Просто везение кончилось.

— Скажи лучше, что твоя система кончилась.

— Может, и так.

— И что же ты теперь намерен делать? Поскорее обзавестись новой или прозябать еще два года на ролях бывшего?

— Еще не знаю.

— Да ну же, Эмори, встряхнись!

— Там видно будет.

Позиция Эмори, хоть и опасная, в общем отражала истинное положение дел. Если его реакцию на окружающую среду можно было бы изобразить в виде таблицы, она, начиная с первых лет его жизни, выглядела бы примерно так:

1. Изначальный Эмори.
2. Эмори плюс Беатриса.
3. Эмори плюс Беатриса плюс Миннеаполис.

Потом Сент-Реджис разобрал его по кирпичикам и стал строить заново.

4. Эмори плюс Сент-Реджис.
5. Эмори плюс Сент-Реджис плюс Принстон.

Так, приноравливаясь к стандартам, он продвинулся сколько мог по пути к успеху. Изначальный Эмори, лентяй, фантазер, бунтарь, был, можно сказать, похоронен. Он приноровился, он достиг кое-какого успеха, но, поскольку успех не удовлетворял его и не захватил его воображения, он бездумно, почти случайно, поставил на всем этом крест, и осталось то, что было когда-то:

6. Изначальный Эмори.

Эпизод финансовый

В День благодарения тихо и без шума скончался его отец. Эмори позабавило, как не вяжется смерть с красотой Лейк-Джинева и сдержанной, полной достоинства манерой матери, и похороны он воспринял иронически терпимо. Он решил, что погребение все же предпочтительнее кремации, и с улыбкой вспомнил, как мальчиком придумал себе очень интересную смерть: медленное отравление кислородом в ветвях высокого дерева. На следующий день после похорон он развлекался в просторной отцовской библиотеке, принимая на диване разные предсмертные позы, выбирая, что будет лучше, когда придет его час,— чтобы его нашли со скрещенными на груди руками (когда-то монсеньор Дарси отозвался о такой позе как наиболее благообразной) или же с руками, закинутыми за голову, что наводило бы на мысль о безбожии и байронизме.

Гораздо интереснее, чем уход отца из мира живых, оказался для Эмори разговор, состоявшийся через несколько дней после похорон между ним, Беатрисой и мистером Бартоном из фирмы их поверенных «Бартон и Крогмен». Впервые он был посвящен в финансовые дела семьи и узнал, каким огромным состоянием владел одно время его отец. Он взял приходно-расходную книгу с надписью «1906 год» и тщательно просмот-

рел ее. Общая сумма расходов за тот год несколько превышала сто десять тысяч долларов. Из них сорок тысяч были взяты из доходов самой Беатрисы, и подробного отчета о них не было: все шло под рубрикой «Векселя, чеки и кредитные письма, предъявленные Беатрисе Блейн». Остальное было перечислено по пунктам: налоги по имению в Лейк-Джинева и оплата произведенных там ремонтных и прочих работ составили без малого девять тысяч долларов, общие хозяйственные расходы, включая электромобиль Беатрисы и купленный в том году новый французский автомобиль,— свыше тридцати пяти тысяч. Записано было и все остальное, причем во многих случаях в записях на правой стороне книги отсутствовали данные, из каких источников эти суммы взяты.

В книге за 1912 год Эмори ждало неприятное открытие: уменьшение количества ценных бумаг и резкое снижение доходов. По деньгам Беатрисы разница была не так разительна, а вот отец его, как выяснилось, в предыдущем году провел ряд неудачных спекуляций с нефтью. Нефти эти операции принесли ничтожно мало, а расходов от Стивена Блейна потребовали огромных. Доходы продолжали снижаться и в последующие три года, и Беатриса впервые стала тратить на содержание дома собственные средства. Впрочем, в 1913 году счет ее врача превысил девять тысяч долларов.

Общее положение дел представлялось мистеру Бартону весьма запутанным и неясным. Имелись недавние капиталовложения, о результате которых еще рано было судить, а кроме того, он подозревал, что за последнее время были и еще спекуляции и биржевые сделки, заключенные без его ведома и согласия.

Лишь спустя несколько месяцев Беатриса написала сыну, каково на поверку оказалось их финансовое положение. Все, что осталось от состояния Блейнов и О'Хара,— это поместье в Лейк-Джинева и около полумиллиона долларов, вложенных теперь в сравнительно надежные шестипроцентные облигации. Кроме того, Беатриса писала, что надеется при первой возможности обменять все бумаги на акции железнодорожных и трамвайных компаний.

«В чем я уверена,— писала она,— так это в том, что люди хотят путешествовать. Во всяком случае, из такого положения исходит в своей деятельности этот Форд, о котором столько говорят. Поэтому я дала мистеру Бартону указание покупать акции "Северной Тихоокеанской" и компании "Быстрый тран-

зит", как они называют трамвай. Никогда себе не прощу, что вовремя не купила акции "Вифлеемской стали". О них рассказывают поразительные вещи. Ты должен пойти по финансовой линии, Эмори, я уверена, что это как раз для тебя. Начинать нужно, кажется, с рассыльного или кассира, а потом можно продвигаться все выше и выше, почти без предела. Я уверена, что, будь я мужчиной, я бы ничего так не хотела, как заниматься денежными операциями, у меня это стало каким-то старческим увлечением. Но прежде чем продолжать, несколько слов о другом. Я тут на днях познакомилась в гостях с некой миссис Биспам, на редкость любезной женщиной, у нее сын учится в Йеле, так вот она рассказала мне, что он ей написал, что тамошние студенты всю зиму носят летнее белье и даже в самые холодные дни выходят на улицу с мокрыми волосами и в одних полуботинках. Не знаю, распространена ли такая мода и в Принстоне, но ты уж, пожалуйста, не веди себя так глупо. Это грозит не только воспалением легких и детским параличом, но и всякими легочными заболеваниями, а ты им всегда был подвержен. Нельзя рисковать своим здоровьем. Я в этом убедилась. Я не хочу показаться смешной и не настаиваю, как, вероятно, делают некоторые матери, чтобы ты носил ботики, хотя отлично помню, как один раз на рождественских каникулах ты упорно носил их с расстегнутыми пряжками, они еще так забавно хлопали, а застегивать ты их не хотел, потому что все мальчики так ходили. А на следующее Рождество ты уж и галоши не желал надевать, как я тебя ни просила. Тебе, милый, скоро двадцать лет, и не могу я все время быть при тебе и проверять, разумно ли ты поступаешь.

Вот видишь, какое деловое получилось письмо. В прошлый раз я тебя предупреждала, что когда не хватает денег, чтобы делать все, что вздумается, становишься домоседкой и скучной собеседницей, но у нас-то еще есть достаточно, если не слишком транжирить. Береги себя, мой мальчик, и очень тебя прошу, пиши мне хоть раз в неделю, а то, когда от тебя долго нет вестей, я начинаю воображать всякие ужасы.

Целую тебя.

Мама».

Первое появление термина «личность»

На Рождество монсеньор Дарси пригласил Эмори погостить недельку в его Стюартовском дворце на Гудзоне, и они провели немало часов в беседах у камина. Монсеньор еще не-

много располнел и словно стал еще обходительнее, и Эмори ощутил отдохновение и покой, когда они, расположившись в низких креслах с подушками, степенно, как двое немолодых мужчин, закурили сигары.

— Я все думаю, не бросить ли мне колледж, монсеньор.

— Почему?

— Карьера моя рухнула, вы, конечно, скажете, что это ребячество и все такое, но...

— Вовсе не ребячество, это очень важно. Расскажи-ка мне все по порядку. Обо всем, что ты делал с тех пор, как мы с тобой не виделись.

Эмори заговорил. Он стал подробно описывать крушение своих эгоистических замыслов, и через полчаса от его равнодушного тона не осталось и следа.

— А что бы ты стал делать, если бы ушел из колледжа? — спросил монсеньор.

— Не знаю. Мне хотелось бы поездить по свету, но путешествовать сейчас нельзя из-за этой злосчастной войны. И мама страшно огорчилась бы, если бы я не кончил. Просто не знаю, как быть. Керри Холидей уговаривает меня ехать вместе с ним в Европу и вступить в эскадрилью имени Лафайета.

— А этого тебе не хочется.

— Когда как. Сейчас я готов хоть завтра уехать.

— Нет, для этого тебе, думается, еще недостаточно надоело жить. Я ведь тебя знаю.

— Наверно, так,— нехотя согласился Эмори.— Просто как подумаешь, что надо бессмысленно тянуть лямку еще год, это кажется самым легким выходом.

— Понимаю. Но, сказать по правде, я не особенно за тебя тревожусь, по-моему, ты эволюционируешь вполне естественно.

— Нет,— возразил Эмори,— я за год растерял половину самого себя.

— Ничего подобного! — решительно заявил монсеньор.— Ты растерял некоторую долю тщеславия, только и всего.

— Ну а чувствую я себя так, как будто опять только что поступил в Сент-Реджис.

— Напрасно.— Монсеньор покачал головой.— То была неудача, а сейчас это к лучшему. Все ценное, что ты приобретаешь в жизни, придет к тебе не теми путями, на которых ты чего-то искал в прошлом году.

— Что может быть никчемнее моей теперешней апатии?

— Да, если не смотреть вперед... но ты растешь. У тебя есть время подумать, и ты понемногу освобождаешься от своих прежних идей насчет престижа, сверхчеловека и прочего. Такие люди, как мы, не способны ни одну теорию принять целиком. Если мы делаем то, что нужно сейчас, и один час в день оставляем себе на то, чтобы подумать, мы можем творить чудеса, но что касается той или иной всеобъемлющей системы главенства — тут мы обычно садимся в лужу.

— Но я не могу делать то, что нужно сейчас, монсеньор.

— Скажу тебе по секрету, Эмори, я и сам только совсем недавно этому научился. Я могу делать сто дел второстепенных, а вот на том, что нужно сейчас, спотыкаюсь, как ты нынче осенью споткнулся на математике.

— А почему обязательно нужно делать то, что нужно сейчас? Мне всегда кажется, что именно это делать ни к чему.

— Это нужно потому, что мы не индивидуумы, а личности.

— Как интересно. Но что это значит?

— Индивидуальности — это то, чем ты себя воображал, то, чем, судя по твоим рассказам, являются твои Слоун и Керри. Индивидуальность — категория главным образом физическая, она человека скорее принижает, и я знаю случаи, когда после долгой болезни она вообще исчезает. Но пока индивидуум действует, он отмахивается от «ближайшего нужного дела». А личность неизбежно что-то накапливает. Она неразрывно связана с поступками. Это — веревка, на которой навешано много всякого добра, иногда, как у нас с тобой, заманчиво яркого, но личность пользуется этим добром с расчетом и смыслом.

— А из моих самых ярких сокровищ,— с живостью подхватил Эмори его метафору,— многие рассыпались в прах как раз тогда, когда они были мне нужнее всего.

— Да, в том-то и дело. Когда тебе кажется, что накопленный тобою престиж, и таланты, и прочее у всех на виду, тебе ни до кого нет дела, ты сам без труда с любым справляешься.

— Но с другой стороны, без своих сокровищ я совершенно беспомощен.

— Безусловно.

— А ведь это идея.

— Ты сейчас можешь начать с нуля, а Слоуну и Керри это по самой их природе недоступно. Три-четыре побрякушки с тебя слетели, а ты с досады отшвырнул и все остальное. Теперь

дело за тем, чтобы собрать новую коллекцию, и чем дальше в будущее ты будешь при этом заглядывать, тем лучше. Но помни, делай то, что нужно сейчас.

— Как вы умеете все прояснить!

В таком духе они беседовали — часто о себе, иногда о философии, о религии, о жизни — что она такое: игра или тайна. Священник словно угадывал мысли Эмори еще раньше, чем тот сам успевал их для себя сформулировать,— так похоже и параллельно работало их сознание.

— Почему я все время составляю списки? — спросил как-то вечером Эмори.— Самые разнообразные списки.

— Потому что ты — человек Средневековья,— отвечал монсеньор.— Мы оба с тобой такие. Это страсть к классификации и поискам единого типа.

— Это желание додуматься до чего-то определенного.

— Это ядро схоластики.

— Я, перед тем как поехал к вам, уже стал подозревать, что я ненормальный. Наверно, это была просто поза.

— Пусть это тебя не тревожит. Возможно, для тебя отсутствие позы и есть самая настоящая поза. Позируй на здоровье, но...

— Да?

— Делай то, что нужно сейчас.

По возвращении в колледж Эмори получил от монсеньора несколько писем, давших ему обильную пищу для дальнейших размышлений о себе.

«Боюсь, я внушил тебе, что в конечном счете тебе ничто не грозит; пойми, я просто верю, что ты способен на усилия, а отнюдь не хочу сказать, что ты чего-нибудь добьешься без борьбы. С некоторыми чертами твоего характера тебе неизбежно предстоит считаться, но оповещать о них окружающих не рекомендую. Ты лишен чувствительности, почти не способен на любовь, в тебе есть острота ума, но нет смекалки, есть тщеславие, но нет гордости.

Не поддавайся ощущению собственной никчемности: в жизни ты не раз проявишь себя с самой худшей стороны как раз тогда, когда тебе будет казаться, что ты поступил как герой; и перестань скорбеть об утрате своей “индивидуальности”, как ты любишь выражаться. В пятнадцать лет ты весь сиял, как раннее утро, в двадцать ты начнешь излучать печальный свет луны, а когда доживешь до моих лет, от тебя, как от меня сейчас, будет исходить ласковое золотое тепло летнего дня.

Если будешь писать мне, очень прошу, пиши попроще. Твое последнее письмо с рассуждениями об архитектуре было противно читать, до того оно заумно, будто ты обитаешь в каком-то умственном и эмоциональном вакууме; и остерегайся слишком четко делить людей на определенные типы,— ты убедишься, что в молодости люди только и делают, что перепрыгивают из одной категории в другую, и когда ты на каждого нового знакомого наклеиваешь какой-нибудь нелестный ярлык, ты всего-навсего засовываешь его под крышку, а едва у тебя начнутся подлинные конфликты с жизнью, он выскочит из-под крышки, да еще покажет тебе язык. Более ценным маяком для тебя был бы сейчас такой человек, как Леонардо да Винчи.

Ты еще узнаешь и взлеты и падения, как и я знавал в молодости, но старайся сохранить ясную голову и не кори себя сверх меры, когда дураки или умники вздумают тебя осуждать.

Ты говоришь, что в "женском вопросе" тебе не дает сбиться с пути только уважение к условностям; но дело не только в этом, Эмори: тут замешан и страх, что, раз начав, ты не сможешь остановиться; здесь тебя ждут безумие и гибель, и, поверь, я знаю, о чем говорю. Это то необъяснимое шестое чувство, которым человек распознает зло, полуосознанный страх Божий, который мы носим в сердце.

Чему бы ты ни посвятил себя впоследствии — философии, архитектуре, литературе,— я убежден, что ты чувствовал бы себя увереннее, обретя опору в Церкви, но не хочу тебя уговаривать, рискуя утерять твою дружбу, хотя в душе не сомневаюсь, что рано или поздно перед тобой разверзнется "черная бездна папизма". Пиши мне, не забывай.

Искренне тебе преданный

Тэйер Дарси».

Даже чтение у Эмори в этот период пошло под уклон. Он то углублялся в такие туманные закоулки литературы, как Гюисманс*, Уолтер Патер и Теофиль Готье, то выискивал особо смачные страницы у Рабле, Боккаччо, Петрония и Светония. Однажды он из любопытства решил обследовать личные библиотеки своих товарищей и решил, что самый типичный образчик — библиотека Слоуна: сочинения Киплинга, О. Генри, Джона Фокса-младшего и Ричарда Хардинга Дэвиса; «Что следует знать каждой немолодой женщине» и «Зов Юкона»; «подарочное издание» Джеймса Уиткомба Райли, растрепанные, исчерканные учебники и, наконец, собственное недавнее от-

крытие, сильно удивившее его на этих полках,— стихи Руперта Брука.

Вместе с Томом Д'Инвильерсом он выискивал среди принстонских светил кандидата в основоположники Великой Традиции Американской Поэзии.

Младшие курсы в том году оказались интереснее, чем в насквозь филистерском Принстоне два года назад. Сейчас жизнь там стала намного разнообразнее, хотя обаяние новизны улетучилось. В прежнем Принстоне они, конечно же, не заметили бы Танадьюка Уайли. Когда этот Танадьюк, второкурсник с огромными ушами, изрекал «Земля, крутясь, несется вниз сквозь зловещие луны предрешенных поколений!», они только недоумевали слегка, почему это звучит не совсем понятно, но в том, что это есть выражение сверхпоэтической души, не сомневались ни минуты. Так, во всяком случае, восприняли его Том и Эмори. Они всерьез уверяли его, что по своему духовному облику он сродни Шелли, и печатали его поэтические опусы, написанные сверхсвободным стихом и прозой, в «Литературном журнале Нассау». Однако гений Танадьюка вмещал все краски своего времени, и вскоре, к великому разочарованию товарищей, он окунулся в богему. Теперь он толковал уже не про «кружение полуденных лун», а про Гринич-Вилледж и вместо шеллиевских «детей мечты», которые так восхищали их и, казалось, столько сулили в будущем, стал общаться с зимними музами, отнюдь не академическими и заточенными в кельях Сорок второй улицы и Бродвея. И они уступили Танадьюка футуристам, решив, что он и его кричащие галстуки придутся там более к месту. Том напоследок посоветовал ему на два года бросить писательство и четыре раза прочесть полное собрание сочинений Александра Попа, но Эмори возразил, что Поп нужен Танадьюку, как собаке — пятая нога, и они с хохотом удалились, гадая, слишком ли велик или слишком мелок оказался для них этот гений.

Эмори с чувством легкого презрения сторонился университетских преподавателей, которые для завоевания популярности чуть ли не каждый вечер приглашали к себе студентов и потчевали их пресными эпиграммами и рюмочкой шартреза. И еще его поражало сочетание доктринерства и полной неуверенности в подходе к любой научной теме; эти свои взгляды он воплотил в коротенькой сатире под заглавием «На лекции» и уговорил Тома поместить ее на страницах «Журнала Нассау».

День добрый, шут...
                    Который раз
Ты лекцией терзаешъ нас
И, рассуждая, как всегда,
Речешь миропорядку «да».
Внимая словесам твоим,
Мы, сто баранов, мирно спим...
Считается, что ты учен:
Из пыльных книг былых времен.
От трепета ни мертв, ни жив
И ноздри плесенью забив,
Вынюхивал ты матерьял,
Сверял, выписывал, кропал,
С колен в восторге встал потом
И вычихнул толстенный том...
А мой сосед, чей взгляд тяжел,
Зубрила-мученик, осел,
Подлиза и любимчик твой,
Склонясь с почтеньем головой,
Тебе сюсюкнет, что вчера
Читал всю ночь он до утра
Твою стряпню... Как тем польщен
Ты будешь! Вундеркиндом он
Прикинется, и властно труд
Вновь призовет к себе зануд.

Двенадцать дней тому назад
Ты возвратил мой реферат —
Узнать я из пометок мог,
Что я наукой пренебрег,
Что я от логики ушел
И зубоскальство предпочел.
«У вас сомненья в этом нет?»
И «Шоу — не авторитет!»
Но ведь зубрила, хоть и скор,
Тебе подсунет худший вздор.

Эстет, какую благодать
Вкушаешь ты, когда пахать
Начнет Шекспира, впавши в жар,
Пронафталиненный фигляр!
Твой здравый смысл и строг и чист,

О правоверный атеист,
И если радикал начнет
Вещать, то ты раззявишь рот.
Кичась идейной широтой,
И в церковь ты зайдешь порой,
В почете у тебя, педант,
Равно и Вильям Бус*, и Кант.
Живешь ты долгие года,
Уныло повторяя «да».

...Ура, счастливчики,— звонок!
И топотом двух сотен ног
Твои слова заглушены.
Нет больше сонной тишины,
И вмиг забудет наш отряд
Зевок, которым ты зачат.

В апреле Керри Холидей расстался с университетом и отплыл во Францию, чтобы вступить в эскадрилью имени Лафайета. Но восхищение и зависть, испытанные Эмори в связи с этим поступком, заслонило одно его собственное переживание, которое он так никогда и не сумел понять и оценить, хотя оно целых три года не давало ему покоя.

Дьявол

Из кафе «Хили» они вышли в полночь и на такси покатили к «Бистолари». Их было четверо — Аксия Марлоу и Феба Колем из труппы «Летний сад», Фред Слоун и Эмори. Время было еще не позднее, энергия в них била ключом, и в кафе они ворвались, как юные сатиры и вакханки.

— Самый лучший столик нам, на двух мужчин и двух дам! — завопила Феба.— Поживее, старичок, усади нас в уголок!

— Пусть сыграют «Восхищение»! — крикнул Слоун.— Мы с Фебой сейчас покажем класс. А вы пока заказывайте.

И они влились в толпу танцующих. Эмори и Аксия, познакомившиеся час назад, протиснулись вслед за официантом к удобно расположенному столику, сели и огляделись.

— Вон Финдл Марботсон из Нью-Хейвена! — заорала она, перекрикивая шум.— Эй, Финдл, алло! Привет!

— Эй, Аксия! — гаркнул тот радостно.— Иди к нам!

— Не надо,— шепнул Эмори.

— Не могу, Финдл, я не одна! Позвони мне завтра, примерно в час.

Финдл, веселящийся молодой человек невзрачной наружности, ответил что-то неразборчивое и отвернулся к яркой блондинке, с которой он пытался пройтись «елочкой».

— Врожденный идиот,— определил Эмори.

— Да нет, он ничего. А вот и наш официант. Лично я заказываю двойной «дайкири».

— На четверых.

Толпа кружилась, сменялась, мельтешила. Все больше студенты, там и тут молодчики с задворок Бродвея и женщины двух сортов — хористки и хуже. В общем, типичная публика, и их компания — такая же типичная, как любая другая. Три четверти из них веселились напоказ, эти были безобидны, расставались у дверей кафе, чтобы поспеть на пятичасовой поезд к себе в Йель или в Принстон; остальные захватывали и более мутные часы и собирали сомнительную дань в сомнительных местах. Их компания по замыслу принадлежала к безобидным. Фред Слоун и Феба Колем были старые знакомые, Аксия и Эмори — новые. Но странные вещи рождаются и в ночное время, и Необычное, которому, казалось бы, нет места в кафе, этих пристанищах всего прозаического и банального, уже готовилось убить в глазах Эмори всю романтику Бродвея. То, что произошло, было так неимоверно страшно, так невообразимо, что впоследствии рисовалось ему не как личное переживание, а как сцена из туманной трагедии, сыгранная в загробном мире, но имеющая — это он знал твердо — некий определенный смысл.

Около часа ночи они перебрались к «Максиму», в два уже были у «Девиньера». Слоун пил без передышки и пребывал в бесшабашно веселом состоянии, Эмори же был до противности трезв; нигде им не встретился ни один из тех старых нью-йоркских распутников, что всех подряд угощают шампанским.

Они кончили танцевать и пробирались на свои места, когда Эмори почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оглянулся... Немолодой мужчина в свободном коричневом пиджаке, сидевший один за соседним столиком, внимательно посматривал на всю их компанию. Встретившись глазами с Эмори, он чуть заметно улыбнулся. Эмори повернулся к Фреду.

— Что это за бледнолицый болван за нами следит? — спросил он недовольно.

— Где? — вскричал Слоун.— Сейчас мы велим его отсюда выставить.— Он встал и, покачнувшись, ухватился за спинку стула.

Аксия и Феба вдруг перегнулись друг к другу через стол, пошептались, и не успел Эмори опомниться, как все они уже двинулись к выходу.

— А теперь куда?

— К нам домой,— предложила Феба.— У нас и бренди найдется, и содовая, а здесь сегодня что-то скучно.

Эмори стал быстро соображать. До сих пор он почти ничего не пил, и если держаться и дальше, то почему не поехать, так вдруг отколоться от остальных было бы неудобно. Более того, поехать, пожалуй, даже необходимо, чтобы присмотреть за Слоуном — тот ведь уже вообще не способен соображать. И вот он подхватил Аксию под руку, и они, дружно ввалившись в такси, поехали в район Сотых улиц и остановились перед высоким белым многоквартирным домом... Никогда ему не забыть этой улицы... Она была широкая, окаймленная точно такими же высокими белыми домами с темными квадратами окон, дома тянулись вдаль сколько хватал глаз, залитые театрально ярким лунным светом. Наверно, подумалось ему, в каждом таком доме есть доска для ключей, есть лифт и при нем лифтер-негр. В каждом восемь этажей и квартиры по три и по четыре комнаты. Он не без удовольствия вошел в веселенькую гостиную и опустился на тахту, а девушки побежали хлопотать насчет закуски.

— Феба — девочка что надо,— вполголоса сообщил ему Слоун.

— Я побуду полчаса и уйду,— строго сказал Эмори и тут же одернул себя — кажется, это прозвучало брезгливо.

— Еще чего! — возмутился Слоун.— Уж раз мы здесь, так нечего торопиться.

— Мне здесь не нравится,— угрюмо сказал Эмори,— а есть я не хочу.

Появилась Феба, она несла сандвичи, бутылку, сифон и четыре стакана.

— Эмори, наливай, мы сейчас выпьем за Фреда Слоуна, а то он нас безобразно обскакал.

— Да,— сказала Аксия, входя.— И за Эмори. Мне Эмори нравится.

Она села рядом с ним и склонилась желтой прической ему на плечо.

— Я сам налью,— сказал Слоун,— а ты, Феба, займись сифоном.

Полные стаканы выстроились на подносе.

— Готово. Начали!

Эмори замер со стаканом в руке.

Была минута, когда соблазн овеял его, как теплый ветер, и воображение воспламенилось, и он взял протянутый Фебой стакан. На том и кончилось: в ту же секунду, когда пришло решение, он поднял глаза и в десяти шагах от себя увидел того человека из кафе. В изумлении он вскочил с места и выронил стакан. Человек сидел на угловом диванчике, прислонясь к подушкам. И лицо у него было такое же бледное, словно из воска,— не одутловатое и матовое, как у мертвеца, и нездоровым его не назовешь — скорее, это бледность крепкого мужчины, который долго проработал в шахте или трудился по ночам в сыром климате. Эмори как следует рассмотрел его — позже он мог бы, кажется, нарисовать его в мельчайших подробностях. Рот у него был из тех, что называют откровенными, спокойные серые глаза оглядывали их всех по очереди с чуть вопросительным выражением. Эмори обратил внимание на его руки — совсем некрасивые, но в них чувствовалась сноровка и сила... нервные руки, легко лежащие на подушках дивана, и пальцы то сжимались слегка, то разжимались. А потом Эмори вдруг заметил его ноги, и что-то словно ударило его — он понял, что ему страшно. Ноги были противоестественные... он не столько понял это, сколько почувствовал... как тайный грешок у порядочной женщины, как кровь на атласе; одна из тех пугающих несуразностей, от которых что-то сдвигается в мозгу. Обут он был не в ботинки, а в нечто вроде мокасин, только с острыми, загнутыми кверху носами, вроде той обуви, что носили в XIV веке. Темно-коричневые, и носы не пустые, а как будто до конца заполненные ступней... Неописуемо страшные...

Видимо, он что-то сказал либо изменился в лице, потому что из пустоты вдруг донесся голос Аксии, до странности добрый:

— Гляньте-ка на Эмори! Бедному Эмори плохо — что, головка закружилась?

— Смотрите, кто это? — крикнул Эмори, указывая на угловой диванчик.

— Ты это про зеленого змия? — расхохоталась Аксия.— Ой, не могу! На Эмори смотрит зеленый змий!

Слоун бессмысленно ухмыльнулся.

— Что, сцапал тебя зеленый змий?

Наступило молчание... Невидимка насмешливо поглядывал на Эмори... Потом словно издали донеслись человеческие голоса.

— А мне казалось, что ты не пьешь,— съязвила Аксия, но слышать ее голос было приятно. Весь диван, на котором сидел «тот», ожил, пришел в движение, как воздух над раскаленным асфальтом, как извивающиеся черви...

— Куда ты, куда? — Аксия схватила его за рукав.— Эмори, миленький, не уходи!

Он уже был на полпути к двери.

— Не бросай нас, Эмори!

— Что, тошнит?

— Ты лучше сядь.

— Выпей воды.

— Глотни бренди...

Лифт был рядом, полусонный лифтер от усталости побледнел до оттенка лиловатой бронзы. Сверху еще несся умоляющий голос Аксии. Эти ноги... ноги...

Не успел лифт остановиться внизу, как они возникли в тусклом электрическом свете на каменном полу холла.

В переулке

По длинной улице приближалась луна, Эмори повернулся к ней спиной и пошел. В десяти — пятнадцати шагах от него звучали другие шаги. Точно падали капли — медленно, но как бы настойчиво напоминая о себе. Тень Эмори футов на десять обгоняла его, и на столько же, очевидно, отставали мягкие подошвы. Инстинктивно, как ребенок, Эмори жался к синему мраку белых зданий, испуганно перепрыгивал через полосы света, один рая пустился бежать, неуклюже спотыкаясь. Потом вдруг остановился. Мелькнула мысль — нельзя распускаться. Он облизал пересохшие губы.

Если бы встретить кого-нибудь хорошего — а есть ли еще на земле хорошие люди или все они теперь живут в белых квартирных домах? Неужели за каждым кто-то крадется в лунном свете? Но если бы встретить кого-нибудь хорошего, кто понял бы его и услышал эти чертовы шаги... И тут шаги сразу зазвучали ближе, а луну закрыло черное облако. Когда бледное сияние опять заструилось по карнизам, шаги были почти рядом, и Эмори послышалось чье-то негромкое дыхание. Ему вдруг стало ясно, что шаги звучат не позади него, а впереди и что так

было все время, и он не уходит от них, а идет за ними следом. Он побежал, ничего не видя, стиснув кулаки, чувствуя только, как колотится сердце. Далеко впереди появилась черная точка и постепенно приняла очертания человеческой фигуры. Но теперь это уже не имело значения, он свернул в какой-то переулок, узкий, темный, пропахший помойкой. Виляя, бежал по длинной извилистой тьме, куда лунный свет проникал только маленькими блестками и пятнами... и вдруг, задыхаясь, в полном изнеможении опустился наземь в каком-то углу у забора. Шаги впереди остановились, он слышал, как они тихонько шуршат в непрестанном движении, как волны у причала.

Он закрыл лицо руками, зажмурился, заткнул уши. За все это время ему ни разу не пришло в голову, что он бредит или пьян. Напротив, ничто материальное никогда не вселяло в него такого чувства реальности. Сознание его покорно подчинялось этому чувству, и оно было под стать всему, что он когда-либо пережил. Оно не вносило путаницы. Точно задача, где ответ известен, а решение никак не дается. Ужаса он уже не испытывал. Сквозь тонкую корку ужаса он провалился в пространство, где те ноги и страх перед белыми стенами стали реальными, живыми, неотвратимыми. Только в самой глубине души еще вспыхивало крошечное пламя и кричало, что что-то тянет его вниз, пытается втолкнуть куда-то и захлопнуть за ним дверь. А когда эта дверь захлопнется, останутся только шаги и белые здания в лунном свете, и, может быть, сам он станет одним из этих шагов.

За те пять или десять минут, что он ждал в тени забора, пламя ее угасло... иначе он потом не умел это назвать. Он помнил, что взывал вслух: «Мне нужен кто-нибудь глупый! Пришлите мне кого-нибудь глупого!» — взывал к черному забору, в тени которого те шаги все шаркали, шаркали... «Глупый» и «хороший», видимо, слились воедино в силу каких-то давнишних ассоциаций.

Воля в этих призывах не участвовала — воля заставила его убежать от той фигуры, что появилась впереди,— а взывал инстинкт, слой за слоем копившаяся традиция либо бездумная молитва, рожденная давно, еще до этой ночи. А потом вдали словно тихо ударили в гонг, и перед ним над теми ногами сверкнуло лицо, бледное, искаженное каким-то несказанным пороком, от которого оно кривилось, как пламя на ветру; но те полминуты, что гонг звенел и глухо замирал вдали, *он знал, что это лицо Дика Хамберда.*

Вскоре затем он вскочил на ноги, смутно сознавая, что звуков больше нет и что он один в редеющем мраке переулка. Было холодно, и он побежал, ровно и без остановок, в ту сторону, где светилась улица.

У окна

Когда ои проснулся, телефон у его кровати в гостинице звонил не умолкая, и он вспомнил, что просил разбудить его в одиннадцать. На другой кровати храпел Слоун, одежда его была свалена в кучу на полу. Они молча оделись и позавтракали, потом вышли на воздух. Мысль у Эмори работала медленно, он все старался осознать случившееся и вытянуть из хаоса образов, заполнявших память, какие-то обрывки действительности. Если бы утро было холодным и пасмурным, он сразу ухватил бы прошедшее, но выдался один из тех редких для Нью-Йорка майских дней, когда воздух на Пятой авеню сладостен, как легкое вино. Сколько и что именно помнил Слоун — это Эмори не интересовало; судя по всему, Слоун не испытывал того нервного напряжения, которое не отпускало его самого, ходило у него в мозгу туда-сюда, как визжащая пила.

Потом на них накатился Бродвей, и от пестрого шума и накрашенных лиц Эмори стало дурно.

— Ради бога, пойдем обратно. Подальше от этого... этого места.

Слоун удивленно воззрился на него:

— Ты что?

— Эта улица, это же ужас! Пошли обратно на Пятую.

— Ты хочешь сказать,— повторил Слоун невозмутимо,— что у тебя было вчера несварение желудка и ты вел себя как маньяк, а посему ты уже и на Бродвей больше никогда не выйдешь?

Эмори тут же причислил его к толпе — прежний Слоун с его легким характером и беспечным юмором стал всего лишь одним из порочных признаков, несшихся мимо в мутном потоке.

— Пойми ты! — выкрикнул он так громко, что кучка прохожих на углу оглянулась и проводила их глазами.— Это же грязь, и если ты этого не видишь, значит, ты и сам грязный.

— Ничего не поделаешь,— упрямо отозвался Слоун.— Да что с тобой стряслось? Совесть замучила? Хорош бы ты сейчас был, если б остался с нами до конца!

— Я ухожу, Фред,— медленно произнес Эмори.

Ноги у него подкашивались, и он чувствовал, что если еще минуту пробудет на этой улице, то просто упадет и не встанет.

— Ко второму завтраку приду в «Ваидербильт».

Он быстро зашагал прочь и свернул на Пятую авеню. В гостинице ему стало легче, но когда он вошел в парикмахерскую, решив сделать массаж головы, запах пудры и одеколона вызвал в памяти лукавую, двусмысленную улыбку Аксии, и он поспешил уйти. В дверях его номера внезапная тьма хлынула на него с двух сторон, как два рукава реки.

Он очнулся с четким ощущением, что прошло несколько часов. Рухнул ничком на кровать, объятый смертельным страхом, что сходит с ума. Ему нужны были люди, люди, кто-нибудь нормальный, глупый, хороший. Он не знал, сколько времени пролежал неподвижно. В висках явственно бились горячие жилки, ужас затвердел на нем, словно гипс. Он чувствовал, что снова выбирается наверх сквозь тонкую корку ужаса, и только теперь яснее различил сумеречные тени, едва не поглотившие его. Видимо, он опять заснул,— следующим, что сохранила память, было, что он уже расплатился по счету в гостинице и садится в такси. На улице лил дождь.

В поезде на Принстон не было знакомых лиц, только стайка совсем, видно, выдохшихся юнцов из Филадельфии. Оттого, что напротив него сидела накрашенная женщина, к горлу снова подступила тошнота, и он перешел в другой вагон, попытался прочесть статью в каком-то журнальчике. Поймав себя на том, что раз за разом перечитывает те же полстраницы, он отказался от этой попытки и устало припал горячим лбом к отсыревшему стеклу окна. В вагоне курили, было жарко и душно, словно здесь смешались запахи разноплеменного населения всего штата; он попробовал открыть окно, и его обдало холодом облако ворвавшегося снаружи тумака. Два часа пути тянулись как два дня, и он чуть не закричал от радости, когда за окнами поплыли башни Принстона и сквозь синий дождь замелькали желтые квадраты света.

Том стоял посреди комнаты, раскуривая потухшую сигару. Эмори показалось, что при виде его на лице Тома изобразилось облегчение.

— Дурацкий сон мне про тебя снился,— прозвучал сквозь сигарный дым надтреснутый голос.— Будто с тобой случилась какая-то беда.

— Не рассказывай! — громко вскрикнул Эмори.— Не говори ни слова. Я устал, совсем вымотался.

Том искоса взглянул на него, потом сел и раскрыл свою тетрадь с записями по итальянскому языку. Эмори скинул пальто и шляпу на пол, расстегнул воротничок и наугад взял с полки томик Уэллса. «Уэллс нормальный,— подумал он,— а если и он не поможет, буду читать Руперта Брука».

Прошло полчаса. За окном поднялся ветер, и Эмори вздрогнул, когда мокрые ветки задвигались и стали царапать ногтями по стеклам. Том весь ушел в работу, и в комнате стояла тишина — только чиркнет изредка спичка или скрипнет кожа, когда повернешься в кресле. А потом в один миг все изменилось. Эмори рывком выпрямился в кресле и застыл. Том смотрел на него в упор, недоуменно скривив губы.

— О господи! — воскликнул Эмори.

— Боже милостивый! — крикнул Том.— Оглянись.

Эмори молниеносно сделал пол-оборота. И увидел только темное стекло окна.

— Все исчезло,— раздался после короткого молчания испуганный голос Тома.— На тебя что-то смотрело.

Эмори, весь дрожа, снова опустился в кресло.

— Я должен тебе рассказать,— начал он.— Со мной произошла ужасная вещь. Кажется, я видел... видел дьявола... или что-то вроде. Ты какое лицо сейчас видел?.. Впрочем, нет, не говори!

И он все рассказал Тому. Когда он кончил, уже наступила полночь, и после этого, при полном освещении, два полусонных перепуганных мальчика читали друг другу вслух «Нового Макиавелли»*, пока небо над Уидерспун-холлом не посветлело, и за дверью с легким стуком упал свежий номер «Принстонской газеты», и птицы запели, встречая солнце, омытое вчерашним дождем.

Глава IV

НАРЦИСС НЕ У ДЕЛ

В переходный период Принстона, иными словами, за те два последних года, которые Эмори там провел, наблюдая, как университет меняется, раздается вширь и начинает оправдывать свою готическую красоту средствами более интересными, чем ночные процессии, в его поле зрения появилось несколько студентов, разбудораживших устоявшуюся универси-

тетскую жизнь до самых глубин. Одни из них поступали на первый курс одновременно с Эмори, другие были курсом моложе; и эти-то люди в начале его последнего учебного года, сидя за столиками в кафе «Нассау», стали в полный голос критиковать те самые установления, которые Эмори и многие, многие другие уже давно критиковали про себя. Прежде всего, как-то почти случайно, речь зашла о некоторых книгах, о том особом роде биографического романа, который Эмори окрестил «романом поисков». В таких книгах герой вступает в жизнь, вооруженный до зубов и с намерением использовать свое оружие как принято — чтобы продвинуться вперед без оглядки на других и на все, что его окружает, однако со временем убеждается, что этому оружию можно найти и более благородное применение. Среди таких книг были «Нет других богов», «Мрачная улица» и «Благородные искания»; последняя из них в начале четвертого курса особенно поразила воображение Бэрна Холидея и навела его на мысль: а стоит ли довольствоваться столь высоким положением, как светило и властитель дум в своем клубе на Проспект-авеню? Положением этим он, кстати говоря, был целиком обязан университетской элите. Эмори до сих пор был знаком с ним очень поверхностно, только как с братом Керри, но на последнем курсе они стали друзьями.

— Слышал новость? — спросил как-то вечером Том, прибежавший под дождем домой с тем победоносным видом, какой у него всегда бывал после успешного словопрения.

— Нет. Кто-нибудь срезался? Или немцы пустили ко дну еще один пароход?

— Хуже. На третьем курсе примерно треть студентов выходит из состава клубов.

— Что?!

— Факт.

— Почему?

— Реформистские веяния и прочее в этом духе. Это все работа Бэрна Холидея. Сейчас заседают президенты клубов — изыскивают пути для совместного противодействия.

— Но какие все-таки причины?

— Да разные: клубы, мол, наносят вред принстонской демократии; дорого стоят; подчеркивают социальные различия; отнимают время — все то же, что слышишь иногда от разочарованных второкурсников. И Вудро Вильсон, видите ли, считал, что их нужно упразднить, да мало ли что еще.

— И это не шутки?

— Отнюдь. Я думаю, что они одержат верх.

— Да расскажи ты толком.

— Так вот,— начал Том.— Видимо, идея эта зародилась одновременно в нескольких умах. Я недавно разговаривал с Бэрном, и он уверяет, что это логический вывод, к которому приходит всякий разумный человек, если даст себе труд подумать о социальной системе. У них состоялась какая-то дискуссия, и кто-то выдвинул предложение упразднить клубы. Все за это ухватились, потому что так или иначе сами об этом думали и недоставало только искры, чтобы разгорелся пожар.

— Здорово! Вот это будет спектакль! А как на это смотрят в «Шапке и Мантии»?

— С ума сходят, конечно. Спорят до хрипоты, ругаются, лезут в бутылку, кто пускает слезу, кто грозит кулаками. И так во всех клубах. Я везде побывал, убедился. Припрут к стенке какого-нибудь радикала и закидывают его вопросами.

— А радикалы как держатся?

— Да ничего, молодцом. Бэрн ведь первоклассный оратор, а уж искренен до того, что его ничем не проймешь. Слишком очевидно, что для него добиться поголовного ухода из клубов куда важнее, чем для нас — помешать этому. Вот и я — попробовал с ним поспорить, а сам чувствую, что это безнадежно, и в конце концов очень ловко занял некую нейтральную позицию. Бэрну, по-моему, даже показалось, что он меня убедил.

— Ты как сказал, на третьем курсе треть студентов решили уйти?

— Ну, уж четверть — во всяком случае.

— О господи, кто бы подумал, что такое возможно?

В дверь энергично постучали, и появился сам Бэрн.

— Привет, Эмори. Привет, Том.

Эмори поднялся с места.

— Добрый вечер, Бэрн. Прости, что убегаю,— я собрался к Ренвику.

Бэрн быстро обернулся к нему.

— Тебе, наверно, известно, о чем я хочу поговорить с Томом. Тут никаких секретов нет. Хорошо бы ты остался.

— Да я с удовольствием.

Эмори снова сел и, когда Бэрн, примостившись на столе, вступил в оживленный спор с Томом, пригляделся к этому революционеру внимательнее, чем когда-либо раньше. Бэрн, ши-

роколобый, с крепким подбородком и с такими же честными серыми глазами, как у Керри, производил впечатление человека прочного, надежного. Что он упрям, тоже было несомненно, но упрямство было не тупое, и, послушав его пять минут, Эмори понял, что в его увлеченности нет ничего от дилетантства.

Позже Эмори ощутил, какая сила исходит от Бэрна Холидея, и что было совсем не похоже на то восхищение, которое некогда внушал ему Дик Хамберд. На этот раз все началось с чисто рассудочного интереса. Другие люди, становившиеся его героями, сразу покоряли его своей неповторимой индивидуальностью, а в Бэрне не было той непосредственной притягательности, перед которой он обычно не мог устоять. Но в тот вечер Эмори поразила предельная серьезность Бэрна — свойство, которое он привык связывать только с глупостью, и огромная увлеченность, разбудившая в его душе замолкшие было струны. Бэрн каким-то образом олицетворял ту далекую землю, к которой, как надеялся Эмори, его самого несло течение и которой уже пора, давно пора было показаться на горизонте. Том, Эмори и Алек зашли в тупик, никакие новые интересы их не объединяли: Том и Алек последнее время так же впустую заседали в своих комитетах и правлениях, как Эмори впустую бездельничал, а темы обычных обсуждений — колледж, характер современного человека и тому подобное — были жеваны-пережеваны.

В тот вечер они обсуждали вопрос о клубах до полуночи и в общих чертах согласились с Бэрном. Тому и Эмори этот предмет представлялся не столь важным, как два-три года назад, но логика, с какой Бэрн обрушивался на социальную систему, так совпадала с их собственными соображениями, что они не столько спорили, сколько задавали вопросы и завидовали здравомыслию, позволявшему Бэрну так решительно ниспровергать любые традиции.

Потом Эмори увел разговор в новое русло и убедился, что Бэрн неплохо осведомлен и в других областях. Он давно интересовался экономикой и был близок к социализму. Занимали его ум и пацифистские идеи, и он прилежно читал журнал «Мэссис»* и Льва Толстого.

— А как с религией? — спросил его Эмори.

— Не знаю. Я еще многого для себя не решил. Я только что обнаружил, что наделен разумом, и начал читать.

— Что читать?

— Все. Приходится, конечно, выбирать, но главным образом такие книги, которые будят мысль. Сейчас я читаю четыре Евангелия и «Виды религиозного опыта».

— А что послужило толчком?

— Уэллс, пожалуй, и Толстой, и еще некий Эдвард Карпентер. Я уже больше года как начал читать — по разным линиям, по тем линиям, которые считаю важнейшими.

— И поэзию?

— Честно говоря, не то, что вы называете поэзией, и не по тем же причинам. Вы-то оба пишете, так что у вас, естественно, другое восприятие. Уитмен, вот кто меня интересует.

— Уитмен?

— Да. Он — ярко выраженный этический фактор.

— К стыду своему должен сказать, что ровным счетом ничего о нем не знаю. А ты, Том?

Том смущенно кивнул.

— Так вот,— продолжал Бэрн,— у него есть вещи и скучноватые, но я беру его творчество в целом. Он грандиозен — как Толстой. Оба они смотрят фактам в лицо и, как это ни странно для таких разных людей, по существу выражают одно и то же.

— Тут я пасую, Бэрн,— сознался Эмори.— Я, конечно, читал «Анну Каренину» и «Крейцерову сонату», но вообще-то Толстой для меня — темный лес.

— Такого великого человека не было в мире уже много веков! — убежденно воскликнул Бэрн.— Вы когда-нибудь видели его портрет, видели эту косматую голову?

Они проговорили до трех часов ночи обо всем на свете, от биологии до организованной религии, и когда Эмори, совсем продрогший, забрался наконец в постель, голова у него гудела от мыслей и от досадного чувства, что кто-то другой отыскал дорогу, по которой он уже давно мог бы идти. Бэрн Холидей так явно находился в процессе роста, а ведь Эмори воображал то же самое о себе. А чего он достиг? Пришел к циничному отрицанию всего, что попадалось ему на дороге, утверждая только неисправимость человека, да читал Шоу и Честертона, чтобы не скатиться в декадентство,— сейчас вся умственная работа, проделанная им за последние полтора года, вдруг показалась пошлой и никчемной, какой-то пародией на самоусовершенствование... и темным фоном для всего этого служило таинственное происшествие, случившееся с ним прошлой весной,— оно до сих пор заполняло его ночи тоскливым

ужасом и лишило его способности молиться. Он даже не был католиком, а между тем только католичество было для него хотя бы призраком какого-то кодекса — пышное, богатое обрядами, парадоксальное католичество, которого пророком был Честертон, а клакерами — такие раскаявшиеся литературные развратники, как Гюисманс и Бурже*, которое в Америке насаждал Ральф Адамс Крам* со своей одержимостью соборами XIII века,— такое католичество Эмори готов был принять как нечто удобное, готовенькое, без священников, таинств и жертвоприношений.

Не спалось, он зажег лампу у изголовья и, достав с полки «Крейцерову сонату», пробовал вычитать в ней первопричину увлеченности Бэрна. Стать вторым Бэрном вдруг показалось ему настолько соблазнительнее, чем просто быть умным. Но он тут же вздохнул... может быть, еще один колосс на глиняных ногах?

Он перебрал в памяти прошедшие два года — представил себе Бэрна нервным, вечно спешащим куда-то первокурсником, затененным более яркой фигурой брата. А потом вспомнил один эпизод, в котором главную роль предположительно сыграл Бэрн.

Большая группа студентов слышала, как декан Холлистер пререкался с шофером такси, доставившим его со станции. По ходу спора рассерженный декан заявил, что «лучше уж просто купит весь таксомотор». Потом он расплатился и ушел в дом, а на следующее утро, войдя в свой служебный кабинет, обнаружил на месте, обычно занятом его письменным столом, целое такси с надписью: «Собственность декана Холлистера. Куплено и оплачено»... Двум опытным механикам потребовалось полдня, чтобы разобрать машину на мелкие части и вынести из помещения,— что только доказывает, как деятельно может проявиться юмор второкурсников под умелым руководством.

И той же осенью Бэрн произвел еще одну сенсацию. Некая Филлис Стайлз, усердно посещавшая любые вечеринки и праздники в любом колледже, на этот раз не получила приглашения на матч Гарвард — Принстон.

За две недели до того Джесси Ферренби привозил ее на какие-то менее интересные состязания и завербовал в помощники Бэрна, чем нанес этому женоненавистнику чувствительный удар.

— А на матч с Гарвардом вы приедете? — спросил ее Бэрн, просто чтобы о чем-то поговорить.

— А вы меня пригласите? — живо откликнулась она.

— Разумеется,— сказал Бэрн без особого восторга.

Уловки Филлис были ему внове, и он был уверен, что это не более как скучноватая шутка. Однако не прошло и часа, как он понял, что связал себя по рукам и ногам. Филлис вцепилась в него намертво, сообщила, каким поездом приедет, и привела его в полное отчаяние. Мало того, что он всеми силами души ее ненавидел,— он рассчитывал в тот день провести время с приятелем из Гарварда.

— Я ей покажу,— заявил он делегации, явившейся к нему в комнату специально, чтобы подразнить его.— Больше она ни одного невинного младенца не уговорит водить ее на матчи.

— Но послушай, Бэрн, чего же ты ее приглашал, раз она тебе ни к чему?

— А признайся, Бэрн, втайне ты в нее влюблен, вот в чем беда.

— А что ты можешь сделать, Бэрн? Что ты можешь против Филлис?

Но Бэрн только качал головой и бормотал угрозы, выражавшиеся главным образом в словах «я ей покажу!».

Неунывающая Филлис весело вынесла из поезда свои двадцать пять весен, но на перроне взору ее представилось жуткое зрелище. Там стояли Бэрн и Фред Слоун, наряженные в точности как карикатурные фигуры на университетских плакатах. Они купили себе ярчайшие костюмы с брюками галифе и высоченными подложенными плечами, на голове лихо заломленная студенческая шапка с черно-оранжевой лентой, а из-под целлулоидного воротничка пылает огнем оранжевый галстук. На рукаве черная повязка с оранжевым *П*, в руках — тросточка с принстонским вымпелом, и для полного эффекта — носки и торчащий наружу уголок носового платка в той же цветовой гамме. На цепочке они держали огромного сердитого кота, раскрашенного под тигра.

Собравшаяся на платформе публика уже глазела на них: кто с жалостливым ужасом, кто — давясь от смеха. Когда же приблизилась Филлис с удивленно вздернутыми изящными бровками, двое озорников, склонившись в поклоне, испустили оглушительный университетский клич, не забыв четко добавить в конце имя «Филлис». С громогласными приветствиями они повели ее в университетский городок, сопровождаемые це-

лой оравой местных мальчишек, под приглушенный смех сотен бывших принстонцев и гостей, причем многие понятия не имели, что это розыгрыш, а просто решили, что два принстонских спортсмена пригласили знакомую девушку на студенческий матч.

Можно себе представить, каково было Филлис, когда ее торжественно вели мимо принстонской и гарвардской трибун, где сидело много ее прежних поклонников. Она пыталась уйти немножко вперед, пыталась немножко отстать, но Бэрн и Фред упорно держались рядом, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет того, с кем она явилась, да еще громко перебрасывались шутками о своих друзьях из футбольной команды, так что она почти слышала, как ее знакомые шепотом говорят друг другу: «Плохи, видно, дела у Филлис Стайлз, если она не нашла кавалеров получше!»

Вот каким был когда-то Бэрн — неуемный шутник и серьезный мыслитель. Из этого корня и выросла та энергия, которую он теперь старался направить в достойное русло...

Проходили недели, наступил март, а глиняные ноги, которых опасался Эмори, все не показывались. На вол не праведного гнева около ста студентов третьего и четвертого курсов покинули клубы, и клубы, бессильные их удержать, обратили против Бэрна свое самое сильное оружие — насмешку. К самому Бэрну все, кто его знал, относились с симпатией, но его идеи (а они возникали у него одна за другой) подвергались столь язвительным нападкам, что более хрупкая натура нипочем бы не выдержала.

— А тебе не жаль терять престиж? — спросил как-то вечером Эмори.

Они теперь бывали друг у друга по нескольку раз в неделю.

— Конечно, нет. Да и что такое престиж?

— Про тебя говорят, что в политических вопросах ты большой оригинал.

Бэрн расхохотался.

— Это самое мне сегодня сказал Фред Слоун. Видно, не миновать мне взбучки.

Однажды они затронули тему, уже давно интересовавшую Эмори,— влияние физического склада на характер. Бэрн, коснувшись биологической стороны вопроса, сказал:

— Разумеется, здоровье играет очень большую роль. У здорового вдвое больше шансов стать хорошим человеком.

— Не согласен. Не верю я в «мускулистое христианство».

— А я верю. Я уверен, что Христос был наделен большой физической силой.

— Не думаю,— возразил Эмори.— Слишком уж тяжело он работал. По-моему, он умер сломленным, разбитым человеком. И святые не были силачами.

— Некоторые были.

— Пусть даже так, я все равно не считаю, что здоровье влияет на душевные свойства. Конечно, для святого очень важно, если он способен выносить огромные физические нагрузки, но мания дешевых проповедников, которые поднимаются на цыпочки, чтобы показать, какие они атлеты, и вопят, что спасение мира в гимнастике,— нет, это не для меня.

— Ну что ж, не будем спорить — мы ни до чего не договоримся, да к тому же я и сам еще не вполне в этом разобрался. Но одно я знаю твердо — внешность человека очень много значит.

— Цвет глаз, цвет волос? — живо откликнулся Эмори.

— Да.

— Мы с Томом тоже к этому пришли,— сказал Эмори.— Мы взяли журналы за последние десять лет и просмотрели снимки членов совета старшекурсников. Я знаю, ты невысоко ценишь это августейшее учреждение, но в общих чертах оно отражает личные успехи в пределах колледжа. Так вот, в каждом выпуске примерно треть — блондины, а среди членов совета блондинов — две трети. Не забудь, мы просмотрели портреты за десять лет; это значит, что из каждых пятнадцати блондинов старшекурсников в совет попадает один, а из брюнетов — только один из пятидесяти.

— Вот именно,— согласился Бэрн.— В общем, светлые волосы — признак более высокого типа. Я это как-то проверил на президентах Соединенных Штатов,— оказалось, что больше половины из них блондины, и это при том, что в стране у нас преобладают брюнеты.

— Подсознательно все это признают,— сказал Эмори.— Обрати внимание, все считают, что белокурые умеют хорошо говорить. Если блондинка не умеет поддержать разговор, мы называем ее «куклой»; молчаливого блондина считаем болваном. А наряду с этим мир полон «интересных молчаливых брюнетов» и «томных брюнеток», абсолютно безмозглых, но никто их почему-то за это не винит.

— А большой рот, квадратный подбородок и крупный нос — несомненные признаки высшего типа.

— Ну, не знаю.— Эмори был сторонником классических черт лица.

— Да, да, вот смотри.

И Бэрн достал из ящика стола пачку фотографий. То были сплошь косматые, бородатые знаменитости — Толстой, Уитмен, Карпентер и другие.

— Удивительные лица, верно?

Из вежливости Эмори хотел было поддакнуть, но потом со смехом махнул рукой.

— Нет, Бэрн, на мой взгляд это скопище уродов. Богадельня, да и только.

— Что ты, Эмори, ты посмотри, какой у Эмерсона лоб, какие глаза у Толстого! — В голосе его звучал укор.

Эмори покачал головой.

— Нет! Их можно назвать интересными или как-нибудь там еще, но красоты я здесь не вижу.

Ни на йоту не поколебленный, Бэрн любовно провел рукой по внушительным лбам и убрал фотографии обратно в ящик.

Одним из его любимых занятий были ночные прогулки, и однажды он уговорил Эмори пойти вместе.

— Ненавижу темноту,— отбивался Эмори.— Раньше этого не было, разве что когда дашь волю фантазии, но теперь — ненавижу, как последний дурак.

— Но ведь в этом нет смысла.

— Допускаю.

— Пойдем на восток,— предложил Бэрн,— а потом лесом, там есть несколько дорог.

— Не могу сказать, что это меня прельщает,— неохотно признался Эмори.— Ну да ладно, пойдем.

Они пустились в путь быстрым шагом, оживленно беседуя, и через час огни Принстона остались далеко позади, расплывшись в белые пятна.

— Человек с воображением не может не испытывать страха,— серьезно сказал Бэрн.— Я сам раньше очень боялся гулять по ночам. Сейчас я тебе расскажу, почему теперь я могу пойти куда угодно без всякого страха.

— Расскажи.

Они уже подходили к лесу, и нервный, увлеченный голос Бэрна зазвучал еще убедительнее:

— Я раньше приходил сюда ночью один, еще три месяца тому назад, и всегда останавливался у того перекрестка, кото-

рый мы только что прошли. Впереди чернел лес, вот как сейчас, двигались тени, выли собаки, а больше — ни звука, точно ты один на всем свете. Конечно, я населял лес всякой нечистью, как и ты, наверно?

— Да,— признался Эмори.

— Так вот, я стал разбирать, в чем тут дело. Воображение упорно совало в темноту всякие ужасы, а я решил сунуть в темноту свое воображение — пусть глядит на меня оттуда,— я приказывал ему обернуться бродячей собакой, беглым каторжником, привидением, а потом видел себя, как я иду по дороге. И получалось очень хорошо — как всегда получается, когда целиком поставишь себя на чье-нибудь место. Не буду я угрозой для Бэрна Холидея, ведь он-то мне ничем не грозит. Потом я подумал о своих часах. Может быть, лучше вернуться, оставить их дома, а потом уже идти в лес — и решил: нет, уж лучше лишиться часов, чем поворачивать обратно,— и вошел-таки в лес, не только по дороге, но углубился в самую чащу, и так много раз, пока совсем не перестал бояться, так что однажды сел под деревом и задремал. Тогда уж я убедился, что больше не боюсь темноты.

— Уф,— выдохнул Эмори,— я бы так не мог. Я бы пошел, но если бы проехал автомобиль и фары осветили дорогу, а потом стало бы еще темнее, тут же повернул бы обратно.

— Ну вот,— сказал вдруг Бэрн после короткого молчания,— полдороги по лесу мы прошли, давай поворачивать к дому.

На обратном пути он завел разговор про силу воли.

— Это самое главное,— уверял он.— Это единственная граница между добром и злом. Я не встречал человека, который вел бы скверную жизнь и не был бы безвольным.

— А знаменитые преступники?

— Те, как правило, душевнобольные. А если нет, так тоже безвольные. Такого типа, как нормальный преступник с сильной волей, в природе не существует.

— Не согласен, Бэрн. А как же сверхчеловек?

— Ну что сверхчеловек?

— Он, по-моему, злой, и притом нормальный и сильный.

— Я его никогда не встречал, но пари держу, что он либо глуп, либо ненормален.

— Я его встречал много раз, он ни то, ни другое. Потому мне и кажется, что ты не прав.

— А я уверен, что прав, и поэтому не признаю тюремного заключения, кроме как для умалишенных.

С этим Эмори никак не мог согласиться. В жизни и в истории сколько угодно сильных преступников — умных, но часто ослепленных славой; их можно найти и в политических и в деловых кругах, и среди государственных деятелей прежних времен, королей и полководцев; но Бэрн стоял на своем, и от этой точки их пути постепенно разошлись.

Бэрн уходил все дальше и дальше от окружавшего его мира. Он отказался от поста вице-президента старшего курса и почти все свое время заполнял чтением и прогулками. Он посещал дополнительные лекции по философии и биологии, и когда он их слушал, глаза у него становились внимательные и беспокойные, словно он ждал, когда же лектор доберется до сути. Порой Эмори замечал, как он ерзает на стуле и лицо у него загорается от страстного желания поспорить.

На улице он теперь бывал рассеян, не узнавал знакомых, его даже обвиняли в высокомерии, но Эмори знал, как это далеко от истины, и однажды, когда Бэрн прошел от него в трех шагах, ничего не видя, словно мысли его витали за тысячу миль, Эмори чуть не задохнулся, такой романтической радости исполнило его это зрелище. Бэрн, казалось ему, покорял вершины, до которых другим никогда не добраться.

— Уверяю тебя,— сказал он как-то Тому,— Бэрн — единственный из моих сверстников, чье умственное превосходство я безоговорочно признаю.

— Неудачное ты выбрал время для такого признания, многие склоняются к мнению, что у него не все дома.

— Он просто на голову выше их, а ты и сам говоришь с ним как с недоумком,— боже мой, Том, ведь было время, когда ты умел противопоставить себя этим «многим». Успех окончательно тебя стандартизировал.

Том был явно раздосадован.

— Он что, святого из себя корчит?

— Нет! Он совсем особенный. Никакой мистики, никакого сектантства. В эту чепуху он не верит. И не верит, что все мировое зло можно исправить с помощью общедоступных бассейнов и доброго слова во благовремении. К тому же выпивает, когда придет охота.

— Куда-то не туда он заворачивает.

— Ты с ним в последнее время разговаривал?

— Нет.

— Ну так ты ровным счетом ничего о нем не знаешь.

Спор окончился ничем, но Эмори стало еще яснее, как сильно изменилось в университете отношение к Бэрну.

— Странно,— сказал он Тому через некоторое время, когда их беседы на эту тему стали более дружескими,— те, кто ополчается на Бэрна за радикализм, это самые что ни на есть фарисеи, то есть самые образованные люди в колледже: редакторы наших изданий, как ты и Ферренби, молодые преподаватели... Неграмотные спортсмены вроде Лангедюка считают его чудаком, но они просто говорят: «У нашего Бэрна появились завиральные идеи»,— и проходят мимо. А уж фарисеи — те издеваются над ним немилосердно.

На следующее утро он встретил на улице Бэрна, спешившего куда-то с лекции.

— В какие края, государь?

— В редакцию «Принстонской», к Ферренби.— И помахал свежим номером газеты.— Он там написал передовую.

— И ты решил спустить с него шкуру?

— Нет, но он меня ошарашил. Либо я неверно судил о нем, либо он вдруг превратился в отъявленного радикала.

Бэрн умчался, и Эмори только через несколько дней узнал, какой разговор состоялся в редакции.

Бэрн вошел в редакторский кабинет, бодро потрясая газетой.

— Здорово, Джесси.

— Здорово, Савонарола.

— Только что прочел твою передовицу.

— Благодарю, не ожидал удостоиться такой чести.

— Джесси, ты меня удивил.

— Это чем же?

— Ты не боишься, что заработаешь нагоняй от начальства, если не перестанешь шутить с религией?

— Что?!

— А вот как сегодня.

— Какого черта, ведь передовая была о системе репетиторства.

— Да, но эта цитата...

— Какая цитата?

— Ну как же: «Кто не со мной, тот против меня».

— Ну и что?

Джесси был озадачен, но не встревожен.

— Вот тут ты говоришь... сейчас найду.— Бэрн развернул газету и прочитал: — *«Кто не со мной, тот против меня,* как вы-

разился некий джентльмен, заведомо способный только на грубые противопоставления и ничего не значащие трюизмы».

— Ну и что же? — На лице Ферренби отразилась тревога.— Ведь это, кажется, сказал Кромвелл? Или Вашингтон? Или кто-то из святых? Честное слово, забыл.

Бэрн покатился со смеху.

— Ах, Джесси! Милый, добрый Джесси!

— Да кто это сказал, черт возьми?

— Насколько мне известно,— отвечал Бэрн, овладев своим голосом,— святой Матфей приписывает эти слова Христу.

— Боже мой! — вскричал Джесси и, откинувшись назад, свалился в корзинку для мусора.

Эмори пишет стихотворение

Недели проносились одна за другой. Эмори изредка удирал в Нью-Йорк в надежде найти что-нибудь новенькое, что могло бы своим дешевым блеском поднять его настроение. Один раз он забрел в театр, на возобновленную постановку, название которой показалось ему смутно знакомым. Раздвинулся занавес, на сцену вышла девушка, он почти не смотрел на нее, но какие-то реплики коснулись его слуха и слабо отдались в памяти. Где?.. Когда?..

Потом рядом с ним словно зашептал кто-то, очень тихо, но внятно: «Ой, я такая дурочка, вы мне всегда говорите, если я что делаю не так».

Блеснула разгадка, и ласковым воспоминанием на минуту возникла Изабелла.

Он нашел свободное место на программе и стал быстро писать:

Опять в партере я. Темнеет зал.
　　Вот взвился занавес, а вместе с ним —
　　Завеса лет. И мы с тобой следим
За скверной пьесой. Радостный финал
Нам не смешон. О, как я трепетал,
　　Как был я восхищен лицом твоим!
　　Гнушаясь представлением плохим,
Его вполглаза я воспринимал.

Теперь, зевая, здесь опять я сел —
　　Один... И гомон слушать не дает

Единственную сносную из сцен
(Ты плакала, а я тебя жалел) —
    В ней мистер Игрек защищал развод
    В страдальческих объятьях миссис Н.

Все еще спокойно

— Привидения — глупый народ,— заявил Алек.— Просто тупицы. Я любое привидение могу перехитрить.

— Как именно? — осведомился Том.

— Это смотря по тому где. Возьмем, к примеру, спальню. Если действовать осмотрительно, в спальне привидение никогда тебя не настигнет.

— Ну, допустим, ты подозреваешь, что у тебя в спальне завелось привидение. Какие ты принимаешь меры, когда поздно вечером возвращаешься домой? — заинтересованно спросил Эмори.

— Надо взять палку,— отвечал Алек наставительно а серьезно,— длиной примерно как ручка от половой щетки. Первым делом комнату необходимо обследовать. Для этого вбегают в нее с закрытыми глазами и зажигают все лампы, после чего с порога тщательно обшаривают палкой чулан, три или четыре раза. Затем, если ничего не случится, можно туда заглянуть. Но только в таком порядке: *сначала* основательно пройтись палкой, а *затем* уже заглянуть.

— Это, конечно, старинный кельтский рецепт,— без улыбки сказал Том.

— Да, только они обычно начинают с молитвы. Так или иначе, этот метод годится для поисков в чуланах, а также за дверями...

— И под кроватью,— подсказал Эмори.

— Что ты, Эмори, ни в коем случае! — в ужасе вскричал Алек.— Кровать требует особой тактики. От кровати следует держаться подальше. Если в комнате есть привидение — а это бывает в одном случае из трех,— оно *почти всегда* прячется под кроватью.

— Ну, так значит...— начал Эмори, но Алек жестом заставил его замолчать.

— Смотреть туда нельзя. Нужно стать посреди комнаты, а потом сразу, не дав ему опомниться, одним прыжком перемахнуть в постель. Ни в коем случае не прохаживаться около постели. Для привидения твое самое уязвимое место — лодыжка.

А там ты в безопасности, оно пусть лежит под кроватью хоть до утра, тебе уже ничего не грозит. А если все еще сомневаешься, накройся с головой одеялом.

— Все это чрезвычайно интересно, не правда ли, Том?

— Еще бы! — Алек горделиво усмехнулся.— И выдумано мною лично. Я сэр Оливер Лодж* в американском издании.

Эмори опять от души наслаждался жизнью в колледже. Вернулось ощущение, что он продвигается вперед по четкой прямой линии; молодость бурлила в нем и нащупывала новые возможности. Он даже накопил избыточной энергии, чтобы испробовать новую позу.

— Ты что это уставился в пространство? — спросил как-то Алек, видя, что Эмори застыл над книгой в нарочитой неподвижности.— Ради Христа, хоть при мне не разыгрывай мистика — Бэрна.

Эмори поднял на него невинный взгляд,

— В чем дело?

— В чем дело? — передразнил его Алек.— Ты что, хочешь довести себя до транса с помощью... а ну-ка, дай сюда книгу.

Он схватил ее, насмешливо глянул на заголовок.

— Так что же? — спросил Эмори чуть вызывающе.

— «Житие святой Терезы»,— прочел Алек вслух.— Ну и ну!

— Послушай, Алек!

— Что?

— Это тебя раздражает?

— Что именно?

— А вот что я бываю как будто в трансе и вообще...

— Да нет, почему же раздражает.

— Тогда будь добр, не порть мне удовольствия. Если мне нравится с видом наивного ребенка внушать людям, будто я считаю себя гением, не препятствуй мне в этом.

— Ты, видимо, хочешь сказать, что решил прослыть чудаком! — рассмеялся Алек.

Но Эмори не сдался, и в конце концов Алек пошел на это, чтобы при посторонних принимать его игру как должное, но с условием, что с глазу на глаз ему будет разрешено отводить душу; и Эмори лицедействовал напропалую, приглашая на обед в клубе «Коттедж» самых эксцентричных типов — шальных аспирантов, преподавателей с диковинными теориями относительно Бога и правительства — и тем повергая высокомерных членов клуба в негодующее изумление.

К концу зимы, когда февраль редкими солнечными днями устремился навстречу марту, Эмори несколько раз съездил на воскресенье к монсеньору, а один раз захватил с собой Бэрна — и получилось отлично: он с одинаковой гордостью и радостью показывал их друг другу. Монсеньор несколько раз возил его в гости к Торнтону Хэнкоку, а раза два — к некой миссис Лоренс, ушибленной Римом американке, которая понравилась Эмори чрезвычайно.

А потом от монсеньора пришло письмо с интересным постскриптумом:

«Знаешь ли ты, что в Филадельфии живет твоя дальняя родственница Клара Пейдж? Она полгода тому назад овдовела и сильно нуждается. Ты, кажется, с ней незнаком, но у меня к тебе просьба: съезди ее навестить. На мой взгляд, она женщина незаурядная и примерно одних с тобой лет».

Эмори вздохнул, но решил съездить, выполнить просьбу...

Клара

Она была древняя, как мир... Клара, прекрасная Клара с волнистыми золотыми волосами, недосягаемая для Эмори, как, впрочем, и для любого мужчины. Ее прелесть была чужда вульгарной морали охотниц за мужьями, не подпадала под скучное мерило женских добродетелей.

Горе она несла легко, и Эмори, когда он разыскал ее в Филадельфии, показалось, что ее серо-синие глаза излучают только счастье; дремавшая в ней сила и трезвый взгляд на вещи полностью проявились в столкновении с фактами, перед которыми поставила ее жизнь. Она была одна на свете с двумя маленькими детьми, почти без денег и, что хуже всего, с кучей знакомых. Он сам видел, что по вечерам в ее гостиной бывает полно мужчин, а у нее, как он знал, не было прислуги, если не считать девочки-негритянки, охранявшей малышей в детской на втором этаже. Он видел, как один из завзятых филадельфийских распутников, человек, только и знавший, что пить и буянить как у себя дома, так и в гостях, целый вечер сидел напротив нее, скромно и заинтересованно беседуя о закрытых школах для девочек. Каким тонким умом наделена была Клара! Она умела строить захватывающую, почти блестящую беседу на самом пустом месте, какое только можно вообразить в гостиной.

Помня, что эта женщина прозябает в бедности, Эмори дал волю воображению. По пути в Филадельфию он ясно представил себе дом 921 по Арк-стрит как мрачное трущобное жилище. Убедившись в своей ошибке, он даже испытал разочарование. Дом был старый, много лет принадлежавший семье ее мужа. Престарелая тетка, не пожелавшая его продать, оставила в распоряжении поверенного деньги в счет уплаты налогов на десять лет вперед, а сама ускакала в Гонолулу, предоставив Кларе отапливать дом как сумеет. И хозяйка, встретившая Эмори на пороге, была совсем не похожа на растрепанную женщину с голодным младенцем на руках и выражением грустной покорности во взгляде: судя по оказанному ему приему, Эмори мог бы предположить, что она не ведает в жизни ни трудов, ни забот.

Спокойное мужество и ленивый юмор, в отличие от ее обычной уравновешенности,— вот убежища, в которые она порой спасалась. Она могла заниматься самыми прозаическими делами (впрочем, у нее хватало ума не смешить публику пристрастием к «художественному» вязанию и вышивке), а потом сразу взяться за книгу и дать воображению носиться по ветру бесформенным облачком. Из самой глубины ее существа исходило золотое сияние. Как горящий в темной комнате камин отбрасывает на спокойные лица блики романтики и высокого чувства, так она по любой комнате, в которой находилась, разбрасывала собственные блики и тени, превращая своего скучного старого дядюшку в самобытного и обаятельного мыслителя, а мальчишку-рассыльного — в прелестное и неповторимое создание, подобное эльфу Пэку. Вначале эта ее способность немного раздражала Эмори. Он считал свою исключительность вполне достаточной и как-то смущался, когда Клара пыталась, для услаждения других своих поклонников, наделить его новыми интересными чертами. Словно вежливый, но настойчивый режиссер навязывал ему новое толкование роли, которую он заучил уже давным-давно.

Но как умела Клара говорить, как она рассказывала пустячный эпизод про себя, шляпную булавку и подвыпившего мужчину... Многие пробовали пересказывать ее анекдоты, но, как ни старались, получалось бессмысленно и пресно. Люди дарили ее невинным вниманием и такими хорошими улыбками, какими многие из них не улыбались с детства; сама Клара была скупа на слезы, но у тех, кто ей улыбался, глаза увлажнялись.

В очень редких случаях Эмори задерживался у нее на полчаса после того, как остальные придворные удалялись; тогда они пили чай и ели хлеб с вареньем, если дело было днем, а по вечерам «завтракали кленовым соком», как она это называла.

— Вы совсем особенная, правда? — Эмори, забравшись на стол в столовой, уже изрекал со своего нашеста банальности.

— Вовсе нет,— отвечала она, доставая из буфета салфетки.— Я — самая обыкновенная, каких тысячи. Одна из тех женщин, которые не интересуются ничем, кроме своих детей.

— Как бы не так,— усмехнулся Эмори.— Вы — как солнце, и знаете это.

И он сказал ей то единственное, что могло ее смутить, те слова, с которыми первый надоеда обратился к Адаму.

— Расскажите мне о себе,— попросил он.

И она ответила так же, как, должно быть, в свое время ответил Адам:

— Да рассказывать-то нечего.

Но в конце концов Адам, вероятно, рассказал надоеде, о чем он думает по ночам, когда в сухой траве звенят цикады, да еще добавил самодовольно, как сильно он отличается от Евы, забыв о том, как сильно Ева отличается от него... короче говоря, Клара в тот вечер многое рассказала Эмори о себе. Она не знала свободной минуты с шестнадцати лет, и образование ее кончилось вместе с досугом. Роясь в ее библиотеке, Эмори нашел растрепанную серую книжку, из которой выпал пожелтевший листок бумаги. Эмори бесцеремонно развернул его — это были стихи, написанные Кларой в школе, стихи о серой монастырской стене в серый день и о девушке в плаще, развеваемом ветром, которая сидит на стене и думает о многоцветном мире. Обычно такие стихи вызывали у него зевоту, но эти были написаны так просто, с таким настроением, что он сразу представил себе Клару — Клара в такой вот прохладный, серенький день смотрит вдаль своими синими глазами, пытается разглядеть трагедии, что надвигаются на нее из-за горизонта. Он завидовал этим стихам. Какое это было бы наслаждение — увидеть ее на стене, словно парящей в воздухе у него над головой, и, подойдя ближе, плести ей какой-нибудь романтический вздор. Он познал жестокую ревность ко всему, что касалось Клары: к ее прошлому, ее детям, к мужчинам и женщинам, которые шли к ней, чтобы напиться из источника ее спокойной доброты и дать отдых усталым мозгам, как на захватывающем спектакле.

— Вам никто не кажется скучным,— возмущался он.

— Нет, половина тех, с кем я общаюсь, мне скучны, но это не так уж много, верно?

И она потянулась за томиком Браунинга, чтобы найти строки на эту тему. Из всех, кого он знал, она одна умела прервать разговор, чтобы отыскать в книге нужный отрывок или цитату, не доводя его этим до белого каления. Она проделывала это часто и с таким искренним увлечением, что он полюбил смотреть на ее золотые волосы, склоненные над книгой, на брови, чуть сдвинутые от старания найти нужную фразу.

Он стал ездить в Филадельфию каждую неделю, на субботу и воскресенье. Почти всегда у Клары бывали в эти дни и другие гости, и она как будто не стремилась остаться с ним наедине — было много случаев, когда одно ее слово могло бы подарить ему лишних полчаса для сладостного обожания. Но он влюблялся все сильнее и уже носился с мыслью о браке. Мысль эта не только бродила у него в голове, но и выливалась в слова, однако позже он понял, что желание его было неглубоко. Однажды ему приснилось, что оно сбылось, и он проснулся в ужасе, потому что во сне Клара была глупая, белобрысая, волосы ее уже не золотились, а с языка, словно ее подменили, срывались невыносимо пошлые трюизмы. Но она была первой в его жизни интересной женщиной, была по-настоящему хорошим человеком, не казавшимся ему скучным, как почти все хорошие люди, которых он встречал. Порядочность только украшала ее. Эмори считал, что обычно хорошие люди либо следуют чувству долга, либо искусственно приучают себя к человеколюбию, и еще, конечно, имеются ханжи и фарисеи (их-то, впрочем, он никогда не причислял к праведникам).

Святая Цецилия

Пусть бархатный наряд тяжел —
Под златом кос, под светом глаз
Румянец розы вдруг расцвел,
То вспыхнул, то опять погас —
И от нее и до него
Истомой все напоено,
И не поймет он: есть иль нет
Мгновенный смех и розы цвет.

— Я вам нравлюсь?

— Конечно,— серьезно ответила Клара.

— Чем?

— Во-первых, у нас с вами много общего. Разные черточки, которые проявляются в нас непосредственно — или раньше так проявлялись.

— Вы хотите сказать, что я неважно использовал свои возможности?

Клара ответила не сразу:

— Знаете, мне трудно об этом судить. У мужчины, конечно, жизнь куда сложнее, а я была защищена от внешнего мира.

— Прошу вас, Клара, не увиливайте,— перебил ее Эмори.— Вы только поговорите немножко обо мне, ладно?

— Почему же нет, с удовольствием.— Она не улыбнулась.

— Вот какая вы милая. Прежде всего, ответьте на несколько вопросов. По-вашему, я очень высокого мнения о себе?

— Да пожалуй, нет — тщеславие у вас безграничное, но для людей, которые его замечают, это только забавно.

— Вот как.

— В сущности, вы смиренный. Когда вам кажется, что вас обидели, вы погружаетесь в бездонное отчаяние. Скажу больше — вам недостает самоуважения.

— Опять в яблочко. Как вам это удается, Клара? Ведь вы мне не даете слова сказать.

— Ну конечно. Я никогда не сужу о человеке по его словам. Но я не договорила. Почему вы, в сущности, так неуверенны в себе, хотя готовы всерьез уверять филистеров, что считаете себя гением? А потому, что вы придумали себе кучу смертных грехов и пытаетесь оправдать эту выдумку. Например, вы всё твердите, что вы — раб коктейлей.

— Так оно и есть, потенциально.

— И уверяете, что вы бесхарактерный, безвольный.

— Да, абсолютно безвольный. Я — раб своих чувств, своих вкусов, своего страха перед скукой, своих желаний...

— Неправда! — Она ударила одним стиснутым кулачком по другому.— Вы — раб, закованный в цепи раб, но только своего воображения.

— Это интересно. Если вам не надоело, продолжайте.

— Я заметила, что, когда вам хочется лишний день не появляться в колледже, вы действуете вполне уверенно. Вы не принимаете решения, пока вам еще более или менее ясно, что луч-

ше — прогулять или не прогулять. Вы даете своему воображению поиграть несколько часов с вашими желаниями, а потом уж решаете. А воображение, естественно, подсказывает вам миллион оправданий для прогула, так что когда решение приходит, оно уже не правильное. Оно пристрастно.

— Да, но позволять воображению играть в запретные игры, разве это не отсутствие силы воли? — возразил Эмори.

— Милый мой мальчик, вот тут-то вы ошибаетесь. К силе воли это не имеет никакого отношения. И вообще это только лишние, ничего не значащие слова. Чего вам недостает — это здравомыслия, умения понять, что воображение подведет вас, дай ему только волю.

— Черт побери! — удивленно воскликнул Эмори.— Вот этого я не ожидал.

Клара не злорадствовала. Она сразу заговорила о другом. Но он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она отчасти права. Он чувствовал себя, как фабрикант, который обвинил служащего в нечестности, а затем обнаружил, что это его родной сын из недели в неделю подделывал записи в книгах. Его бедная, оклеветанная сила воли, которую он так упорно отрицал для обольщения себя и своих друзей, стояла перед ним, омытая от грехов, а здравомыслие под конвоем шагало в тюрьму, и рядом, насмешливо приплясывая, бежал неуемный бесенок — воображение. Клара была единственным человеком, с которым он советовался, самолично не диктуя ответа,— Клара да еще, может быть, монсеньор Дарси.

Как он любил проводить время с Кларой! Ходить с ней за покупками было поистине мечтой эпикурейца. В магазинах, где ее знали, о ней перешептывались как о «красавице миссис Пейдж».

— Помяните мое слово, она-то недолго останется одинокой вдовой.

— А ты помалкивай, она и без твоего мнения обойдется.

— Надо же, какая красавица!

(Входит старший приказчик. Продавщицы умолкают, а он с улыбочками устремляется к покупательнице.)

— Она, говорят, из высшего общества?

— Да, только теперь, я слышала, с деньгами у нее плохо.

— Ох, девушки, но до чего же хороша!

А Клара всех одинаково дарила своей лаской. Эмори подозревал, что в магазинах ей делают скидку, когда с ее ведома, а когда и нет. Он видел, что она отлично одевается, что в доме

у нее все высшего качества и что обслуживает ее всякий раз старший приказчик, а то и хозяин магазина.

По воскресеньям они ходили иногда вместе в церковь,— он шел рядом с ней и упивался тем, как капельки влажного воздуха оседают на ее щеках. Она была очень набожна, с самого детства, и одному Богу известно, на какие высоты она возносилась и какую силу там черпала, когда стояла на коленях, склонив золотые волосы, озаренные светом витражей.

— Святая Цецилия! — вырвалось у него однажды, и многие оглянулись на него, священник запнулся посреди проповеди, а Клара и Эмори залились краской.

Это было их последнее воскресенье, потому что в тот вечер он сам все испортил. Просто не удержался.

Они шли, окутанные мартовскими сумерками, теплыми, как в июне, и счастье молодости так переполняло его душу, что он не мог не заговорить.

— Мне кажется,— сказал он дрогнувшим голосом,— что если бы я потерял веру в вас, я бы потерял веру в Бога.

Она оглянулась на него так удивленно, что он спросил, в чем дело.

— Да ни в чем,— протянула она.— Просто я уже пять раз слышала это от разных мужчин, и это меня пугает.

— Ах, Клара, значит, это вам на роду написано?

Она не ответила.

— Для вас любовь — это, вероятно...— начал он.

Она резко оборвала его:

— Я никогда не любила.

Они пошли дальше, и постепенно ему открылось огромное значение ее слов... никогда не любила... Внезапно она предстала перед ним как дочь небесного света. Сам он начисто выпал из ее мира, и ему лишь хотелось коснуться ее одежды — такое чувство испытал, должно быть, Иосиф, когда ему открылась непреходящая святость Марии. Но одновременно, словно со стороны, он услышал собственный голос, говоривший:

— А я вас люблю — все, что во мне заложено высокого... Нет, не могу я это выразить, Клара, но если я приду к вам снова через два года, когда добьюсь чего-то и смогу просить вашей руки...

Она покачала головой.

— Нет, я больше никогда не выйду замуж. У меня двое детей, и я нужна себе для них. Вы мне нравитесь, мне все умные мужчины нравятся, а вы тем более, но вы меня немного знае-

те, и пора бы вам понять, что я никогда не вышла бы замуж за умного мужчину.

Она помолчала.

— Эмори!

— Что?

— Вы ведь меня не любите. Вы и не собирались на мне жениться. Разве не так?

— Это сумерки виноваты,— недоуменно произнес Эмори.— Я как-то не осознал, что говорю вслух. Но я люблю вас... или обожаю... или боготворю...

— Это на вас похоже — проиграть за пять секунд всю гамму эмоций.

Он невольно улыбнулся.

— Не изображайте меня таким легковесом, Клара; право же, вы умеете иногда облить холодной водой.

— Вы что угодно, только не легковес,— сказала она серьезно, взяв его под руку и широко раскрыв глаза,— в меркнущем свете он разглядел, какие они добрые.— Легковес — это тот, кто все отрицает.

— Такая весна сегодня в воздухе, такая сладость в вашем сердце!

Она отпустила его руку.

— Сейчас вам хорошо, а я и вовсе на седьмом небе. Дайте мне сигарету. Вы не знали, что я курю? Курю, примерно раз в месяц.

А потом эта непостижимая женщина и Эмори со всех ног побежали к перекрестку, как двое шаловливых детей, взбудораженных голубыми сумерками.

— На завтра я уезжаю за город,— сообщила она, запыхавшись, стоя в надежном свете фонаря на углу.— Упускать такие дивные дни просто грех, хотя, может быть, они больше чувствуются именно в городе.

— Клара, Клара, каким бесовским обаянием наделил бы вас Бог, если бы чуть направил вашу душу в другую сторону!

— Возможно,— отвечала она.— Впрочем, не думаю. Я, в сущности, не сумасбродка. Никогда не была. А эта моя маленькая вспышка — просто дань весне.

— Вы и сама вся весенняя.

Они уже снова шли рядом.

— Нет, вы опять ошиблись. И как только человек с вашим признанным вами же умом может раз за разом во мне оши-

баться? Я — как раз обратное всему весеннему. Если я получилась похожей на идеал сентиментального древнегреческого скульптора, это просто несчастная случайность, но уверяю вас — будь у меня другое лицо, я ушла бы в монастырь и тихо жила...— Она ускорила шаг и закончила громче, чтобы он, едва поспевая за ней, мог услышать: — Без моих драгоценных малюток, по которым я ужасно соскучилась.

Только с Кларой ему становилось понятно, что женщина может предпочесть ему другого. Не раз он встречал чужих жен, которых знавал молоденькими девушками, и, вглядываясь в них, воображал, что читает в их лицах сожаление: «Ах, вот если бы я тогда сумела покорить *вас!*» Ах, как много мнил о себе Эмори Блейн!

Но этот вечер был вечером звезд и песен, и светлая душа Клары все еще озаряла пути, пройденные ими вместе.

«Вечер, вечер золотой,— негромко запел он лужицам на тротуаре,— *воздух золотой... золотые мандолины сыплют золото в долины — радость и покой... Золотых переплетений по земле ложатся тени, словно юный Бог смертным золото оставил, беззаботно улетая без путей-дорог...»*

Эмори недоволен

Медленно и неотвратимо, а под конец одним мощным всплеском — пока Эмори разговаривал и мечтал — война накатилась на берег и поглотила песок, на котором резвился Принстон. По вечерам в гимнастическом зале теперь гулко топал взвод за взводом, стирая на полу метки от баскетбола. В Вашингтоне, куда Эмори съездил на следующие свободные дни, его ненадолго захватило общее чувство лихорадочного подъема, которое, однако, в спальном вагоне на обратном пути сменилось брезгливым отвращением, потому что через проход от него спали какие-то неаппетитные чужаки, скорее всего, решил он, греки или русские. Он думал о том, насколько легче дается патриотизм однородным нациям, насколько легче было бы воевать, как воевала американские колонии или Южная конфедерация. Он не заснул в эту ночь, а все слушал, как гогочут и храпят чужаки, наполняя вагон тяжким духом современной Америки.

В Принстоне все шутливо утешали друг друга, а в глубине души и себя перспективой хотя бы пасть смертью храбрых.

Любители литературы зачитывались Рупертом Бруком; щеголей волновало, разрешит ли правительство офицерам носить военную форму английского образца; иные из закоренелых бездельников направляли прошения в военный департамент — об освобождении от строевой службы и о тепленьком местечке.

Однажды Эмори после долгого перерыва встретил Бэрна и сразу понял, что спорить с ним бесполезно,— Бэрн заделался пацифистом. Социалистические журналы, изучение Толстого и собственное горячее стремление послужить делу, которое потребовало бы всех его душевных сил, определили его окончательное решение ратовать за мир как за личный идеал каждого человека.

— Когда немцы вступили в Бельгию,— начал он,— если бы жители продолжали спокойно заниматься своими делами, германская армия оказалась бы дезорганизованной за какие-нибудь...

— Знаю,— перебил его Эмори.— Все это я слышал. Но я не намерен тебя пропагандировать. Может быть, ты и прав, но еще не пришло и еще сотни лет не придет время, когда непротивление могло бы стать для нас чем-то реальным.

— Но пойми ты, Эмори...

— Что толку спорить.

— Хорошо, не будем.

— Я только одно могу сказать — я не прошу тебя подумать о своей семье, о друзьях,— я ведь знаю, что для тебя это нуль по сравнению с чувством долга,— но, Бэрн, не приходило ли тебе в голову, что эти твои журналы, и кружки, и агитаторы, что за всем этим, может быть, стоят немцы?

— В некоторых случаях, конечно, так и есть.

— А может быть, они все за Германию — все эти трусы с немецко-еврейскими фамилиями?

— И это не исключено,— медленно проговорил Бэрн.— Я не могу сказать с уверенностью, в какой мере моя позиция обусловлена пропагандой, которой я наслушался. Мне-то, конечно, кажется, что это мое глубочайшее убеждение, что другой дороги у меня просто нет.

У Эмори упало сердце.

— Но ты подумай, какая это дешевка. Никто ведь не подвергнет тебя гонениям за твой пацифизм, он всего-то втянет тебя в компанию самых худших...

— Едва ли,— перебил Бэрн.

— Ну а на мой взгляд, все это сильно отдает нью-йоркской богемой.

— Я тебя понимаю, поэтому я еще и не решил, заняться ли мне агитацией.

— Неужели тебя прельщает в одиночку говорить с людьми, которые не захотят тебя слушать,— и это с твоими-то данными?

— Так, вероятно, рассуждал много лет назад великомученик Стефан. Но он стал проповедовать, и его убили. Умирая, он, возможно, подумал, что зря старался. Но, понимаешь, мне-то всегда казалось, что смерть Стефана — это то самое, что вспомнилось Павлу на пути в Дамаск и заставило его идти проповедовать учение Христа по всему миру.

— Ну, дальше.

— А дальше — все. Это мой личный долг. Даже если сейчас я просто пешка, просто жертва чьих-то козней. Боже ты мой, Эмори, неужели ты думаешь, что я люблю немцев?

— Ну, больше мне сказать нечего — я исчерпал свои доводы насчет непротивления, и передо мной стоит только исполинский призрак человека, такого, какой он есть и каким всегда будет. И этому призраку одинаково импонирует логическая необходимость Толстого и логическая необходимость Ницше...— Эмори осекся.— Ты когда уезжаешь?

— На будущей неделе.

— Значит, еще увидимся.

Они разошлись, и Эмори подумал, что очень похожее выражение было на лице Керри, когда они прощались под аркой Блера два года назад. Он с грустным недоумением спросил себя, почему сам он не способен на такие же элементарно честные поступки, как эти двое.

— Бэрн — фанатик,— сказал он Тому,— и он не прав, и я сильно подозреваю, что он — слепое орудие в руках анархистов-издателей и агитаторов на жалованье у немцев,— но я все время о нем думаю — как он мог вот так поставить крест на всем, для чего стоит жить...

Бэрн уехал неделю спустя, как-то трагически незаметно. Он распродал все свое имущество и зашел проститься, ведя за руль обшарпанный старый велосипед, на котором решил добираться до родного дома в Пенсильвании.

— Петр-отшельник прощается с кардиналом Ришелье,— изрек Алек, который сидел развалясь у окна, пока Бэрн и Эмори пожимали друг другу руки.

Но Эмори было не до шуток, и, глядя вслед Бэрну, крутящему своими длинными ногами педали нелепого велосипеда, он знал, что ему предстоит очень тоскливая неделя. В вопросе о войне у него сомнений не было, Германия по-прежнему олицетворяла в его глазах все, против чего возмущалась его душа,— грубый материализм и полный произвол власти,— но лицо Бэрна не забывалось, и ему претили истерические выкрики, звучавшие вокруг.

— Какой смысл в том, что все вдруг обрушились на Гёте? — взывал он к Алеку и Тому.— К чему писать книги, доказывающие, что это он развязал войну,— или что недалекий, перехваленный Шиллер — сатана в человеческом образе?

— Ты что-нибудь их читал? — лукаво спросил Том.

— Нет,— честно признался Эмори.

— И я нет,— рассмеялся Том.

— Пусть их кричат,— спокойно сказал Алек.— А Гёте все равно стоит на своей полке в библиотеке, чтобы всякий, кому вздумается, мог над ним поскучать.

Эмори промолчал, и разговор перешел на другое.

— Ты в какие части пойдешь, Эмори?

— Пехота или авиация — никак не решу. Технику я терпеть не могу, но авиация для меня, конечно, самое подходящее.

— Вот и я так же думаю,— сказал Том.— Пехота или авиация. Авиация, конечно,— это вроде бы романтическая сторона войны, то, чем в прежнее время была кавалерия; но я, как и Эмори, не отличу поршня от лошадиной силы.

Эмори сознавал, что ему недостает патриотического пыла, и недовольство собой вылилось в попытку возложить ответственность за войну на предыдущее поколение... на тех, кто прославлял Германию в 1870 году, на воинствующих материалистов, на восхвалителей немецкой науки и деловитости. И вот однажды он сидел на лекции по английской литературе, слушал, как лектор цитирует «Локсли Холл», и с мрачным презрением судил Теннисона и все, что тот собой олицетворял,— потому что считал его викторианцем.

Господа викторианцы, чужды вам и скорбь и гнев,
Ваши дети пожинают ваш безрадостный посев,—

записал Эмори в своем блокноте. Лектор что-то сказал о цельности Теннисона, и пятьдесят студенческих голов склонились

над тетрадями. Эмори перевернул страницу и опять стал писать:

Вы дрожали, узнавая то, что Дарвин возвестил,
И когда убрался Ньюмен*, и в обычай вальс входил...

Впрочем, вальс появился намного раньше... Эту строку он вычеркнул.

— ...и озаглавленное «Песня времен порядка!» — донесся откуда-то издали тягучий голос профессора.

«Времен порядка»! Боже ты мой! Все запихнуто в ящик, а викторианцы уселись на крышку и безмятежно улыбаются... И Браунинг на своей вилле в Италии бодро восклицает: «Все к лучшему!» Эмори опять стал писать:

Вы колена в Божьем храме преклоняли то и знай,
Восхваляли за «доходы», упрекали за Китай.

Почему у него никогда не получается больше одного двустишия зараз? Теперь ему нужна рифма к строке:

Бог спивался, но пытались вы научно подтвердить...

Ну ладно, пока пропустим.

И полвека жил в Европе всяк из вас, ханжа и сноб,
И считал, что все в порядке, и сходил прилично в гроб.

— К этому в общих чертах сводятся идеи Теннисона,— гудел голос профессора.— Он вполне мог бы озаглавить свое стихотворение, как Суинберн, «Песня времен порядка». Он воспевал порядок в противовес хаосу, в противовес бесплодному растрачиванию сил.

Вот оно, почувствовал Эмори. Он снова перевернул страницу и те двадцать минут, что еще оставались до конца лекции, писал, уже не отрываясь. Потом подошел к кафедре и положил на нее вырванный из тетради листок.

— Это стихи, посвященные викторианцам, сэр,— сказал он сухо.

Профессор с интересом потянулся к листку, Эмори же тем временем быстро вышел из аудитории.

Вот что он написал:

Песни времен порядка —
Вот наследье ваших времен.
Аргументы без заключенья,
В рифмах — на жизнь ответ,
Ключ блюстителей заточенья,
Колокольный старый трезвон...
Завершилась с годами загадка,
А мы — завершенье лет.

Нам — море в разумных пределах,
Крыша неба над низким жильем,
Не для дуэли перчатка,
Пушки, чтоб нас стерегли,
Сотни чувств устарелых
С пошлостью о любом,
Песни времен порядка
И язык, чтобы петь мы могли.

Многое кончилось

Апрель промелькнул как в тумане — в туманной дымке долгих вечеров на веранде клуба, когда в комнатах граммофон пел «Бедняжка Баттерфляй», любимую песенку минувшего года. Война словно бы и не коснулась их, так могла бы протекать любая весна на старшем курсе, если не считать проводившейся через день военной подготовки, однако Эмори остро ощущал, что это последняя весна старого порядка.

— Это массовый протест против сверхчеловека,— сказал Эмори.

— Наверно,— согласился Алек.

— Сверхчеловек не совместим ни с какой утопией. Пока он существует, покоя не жди, он пробуждает худшие инстинкты у толпы, которая слушает его речи и поддается их влиянию.

— А сам он всего-навсего одаренный человек без моральных критериев.

— Вот именно. Мне кажется, опасность тут вот в чем: раз все это уже бывало в прошлом, когда оно повторится снова? Через полвека после Ватерлоо Наполеон стал для английских школьников таким же героем, как Веллингтон. Почем знать,

может быть, наши внуки будут вот так же возносить на пьедестал Гинденбурга.

— А почему так получается?

— Виновато время, черт его бери, и те, кто пишет историю. Если бы нам только научиться распознавать зло, как таковое, независимо от того, рядится ли оно в грязь, в скуку или в пышность...

— О черт, мы, по-моему, только и делали эти четыре года, что крушили все на свете.

А потом настал их последний вечер в Принстоне. Том и Эмори, которым наутро предстояло разъехаться в разные учебные лагеря, привычно бродили по тенистым улочкам и словно все еще видели вокруг знакомые лица.

— Сегодня из-за каждого дерева смотрят призраки.

— Их тут везде полным-полно.

Они постояли у колледжа Литтл, посмотрели, как восходит луна и серебрится в ее сиянии шиферная крыша соседнего здания, а деревья из черных становятся синими.

— Ты знаешь,— шепотом сказал Том,— ведь то, что мы сейчас испытываем,— это чувства всей замечательной молодежи, которая прошумела здесь за двести лет.

От арки Блера донеслись последние звуки какой-то песни — печальные голоса перед долгой разлукой.

— И то, что мы здесь оставляем, это нечто большее, чем наши товарищи, это наследие молодости. Мы — всего лишь одно поколение, мы разрываем все звенья, которые словно бы связывали нас с поколением, носившим ботфорты и шейные платки. В эти темно-синие ночи мы ведь бродили здесь рука об руку с Бэрром* и с Генри Ли...* Да, именно темно-синие,— отвлекся он.— Всякое яркое пятно испортило бы их, как ненужная экзотика. Шпили на фоне неба, сулящего рассвет, и синее сияние на шиферных крышах... грустно это... очень.

— Прощай, Аарон Бэрр! — крикнул Эмори, повернувшись к опустевшему Нассау-холлу.— Нам с тобой случилось заглядывать в причудливые закоулки жизни.

Голос его отозвался эхом в тишине.

— Факелы погасли,— прошептал Том.— О Мессалина, длинные тени минаретами прочертили арену цирка...

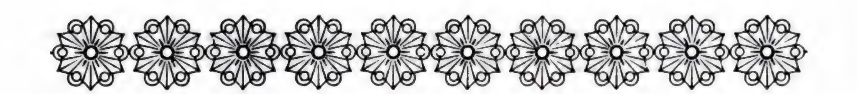
На минуту вокруг них зазвучали голоса их первого курса, и они посмотрели друг на друга влажными от слез глазами.

— К черту!

— К черту!

Скользит последний луч. Ласкает он ряд шпилей, солнцем только что залитый, и духи вечера, тоской повиты, запели жалобно под лирный звон в сени дерев, что служат им защитой. Скользит по башням бледный огонек... Сон, грезы нам дарующий, возьми ты, возьми на память лотоса цветок и выжми из него мгновений этих сок.

Средь звезд и шпилей, в замкнутой долине, нам снова лунный лик не просквозит. Зарю желаний время обратит в сиянье дня, не жгущее отныне. Здесь в пламени нашел ты, Гераклит, тобой дарованные предвещанъя, и ныне в полночь страсть моя узрит отброшенные тенью средь пыланья великолепие и горечь мирозданья.



Интерлюдия

МАЙ 1917 — ФЕВРАЛЬ 1919

Письмо, помеченное «Январь 1918, от монсеньора Дарси Эмори Блейну, младшему лейтенанту 171-го пехотного полка, порт погрузки — лагерь Миллз, Лонг-Айленд»:

«Дорогой мой мальчик!

Мне нужно знать о тебе одно: что ты жив; для остального мне довольно поворошить свою беспокойную память — градусник, показывающий только подскоки температуры,— и вспомнить, чем я сам был в твоем возрасте. Но людям свойственно болтать языком, и мы с тобой будем по-прежнему перекрикиваться через всю сцену, пока последний занавес не упадет прямо нам на головы. Но ты выключил свой подрагивающий волшебный фонарь жизни с тем же примерно набором картинок, какой был у меня, так что мне просто необходимо написать тебе, хотя бы только для того, чтобы возопить о беспредельной человеческой глупости...

Один этап закончен: что бы с тобой ни случилось, ты никогда уже не будешь тем Эмори Блейном, которого я знал, никогда уже мы не встретимся так, как встречались, потому что твое поколение становится суровым и жестким, куда более суровым и жестким, чем суждено было стать моему поколению, вскормленному на легкой пище девяностых годов.

Я тут недавно перечитывал Эсхила, и в божественной иронии «Агамемнона» я нахожу единственную разгадку нашего жестокого века, когда рушится весь мир и ближайшую аналогию можно сыскать только в безнадежной резиньяции древних. Порой я думаю о наших солдатах во Франции как о римских легионерах, посланных за тридевять земель от своего развратного города сдерживать натиск варварских орд... а орды-то несут опасность посерьезнее, чем этот развратный город... еще

один удар вслепую по всему человечеству, фурии, которых мы много лет назад вознесли на пьедестал, над чьими трупами мы победно блеяли с начала до конца викторианской эры...

А останется от всего этого мир, насквозь пропитанный материализмом, и — католическая церковь. Я все думаю, как ты найдешь в нем свое место. В одном я уверен: кельтом ты проживешь свою жизнь и кельтом умрешь; так что если ты не используешь небо как неизменное мерило для своих идей, земля будет столь же неизменно опрокидывать твои честолюбивые замыслы.

Эмори, я как-то неожиданно понял, что я старик. Как у всех стариков, у меня были свои фантазии, и я тебе о них расскажу. Я тешил себя выдумкой, что ты мой сын, что, может быть, в молодости я однажды впал в бессознательное состояние и зачал тебя, а когда сознание вернулось, я об этом не помнил... Это инстинкт отцовства, Эмори, ведь безбрачие касается не только плоти, оно глубже...

Иногда мне думается, что мы с тобой потому так похожи, что у нас был общий предок, и я установил, что единственная кровь, общая для семейств Дарси и О'Хара,— это кровь О'Донагю... кажется, его звали Стивен...

Когда молния ударяет в одного из нас, она ударяет в обоих: стоило тебе отбыть в порт отправления, как я получил бумаги для поездки в Рим и теперь с минуты на минуту жду указаний, где мне сесть на пароход. Еще до того, как ты получишь это письмо, я буду в пути, а потом настанет и твой черед. Ты пошел на войну, как подобает джентльмену, так же, как пошел в школу и в университет,— потому что так было нужно. Похвальбу и геройские позы вполне можно оставить на долю средних классов, у них это получается гораздо лучше.

Помнишь ли ты те дни в марте прошлого года, когда ты привозил ко мне из Принстона Бэрна Холидея? Какой это чудесный юноша! Позже, когда ты мне написал, что я, по его мнению, молодец, меня это просто сразило. Как мог он так обмануться? Вот уж чего нельзя сказать ни про тебя, ни про меня. Допускаю, что мы с тобой незаурядные, умные, можно даже, пожалуй, сказать — блестящие. Мы способны привлекать к себе людей, создавать атмосферу, способны почти до конца растворить свои кельтские души в кельтских неуловимостях, почти всегда можем настоять на своем. Но молодцы? Нет, это не о нас.

В Рим я еду с интереснейшим досье и с рекомендательными письмами во все столицы Европы, и когда я там появлюсь, это «произведет впечатление». Эх, если бы я мог взять тебя с собой! Последние строки звучат, пожалуй, несерьезно, не с такими бы словами пожилому священнику обращаться к юноше, уезжающему на войну; единственное мое оправдание в том, что пожилой священник, в сущности, разговаривает с самим собой. Многое у нас с тобой скрыто очень глубоко, и ты не хуже меня знаешь, что именно. У нас обоих есть глубокая вера, хотя у тебя она еще неосознанная; и непомерная честность, которую не уничтожить никакой нашей софистике, и, главное — детская простота души, уберегающая нас от подлинной злобы.

Я написал для тебя ирландский «плач», который и прилагаю. Жаль, что твои «ланиты» не соответствуют описанию их, которое ты там найдешь, вольно ж тебе ночи напролет курить и читать.

Итак, вот мое творение.

ПЛАЧ ПО НАЗВАНОМУ СЫНУ, УХОДЯЩЕМУ НА ВОЙНУ
ПРОТИВ ЧУЖЕЗЕМНОГО КОРОЛЯ

Ochone
Он ушел от меня сын души моей
　　В пору золотого расцвета как Энгус Ог
Энгус сияющих птиц
　　А разум его могуч и тонок подобно разуму Кухулина на Мюиртиме.

Awirra sthrue
Чело его бело как молоко коров из стада королевы Мэйв
　　Ланиты его алы как вишни с того древа
Что склонилось дабы Мария угостила сына Божия.

Aveelia Vrone
Кудри его подобны золотому оплечью королей Тары
　　Очи его подобны четырем серым морям Эрина
Затуманенным дождем.

Mavrone go Gudyo
Он ринется в веселую багряную битву
　　Среди вождей свершающих великие подвиги
И жизнь его уйдет от него
　　И ослабнут струны моего сердца.

A Vich Deelish
Мое сердце это сердце моего сына
И конечно моя жизнь это его жизнь
Можно второй раз быть молодым
Только в сыновьях.

Jia du Vaha Alanav
Да будет сын Божий над ним и под ним впереди него
и сзади него
Да затуманит взор чужеземному королю властитель стихий
Да проведет его владычица милосердия за руку
сквозь гущу его супостатов так что они не увидят его
Да оградят его надежнее щита Патрик Гэльский
и Колумб Церковный и пять тысяч святых Эрина
Когда он ринется в битву.
Och ochone.

Эмори, Эмори, почему-то я чувствую, что это конец. Один из нас (а может быть, и оба) не переживет эту войну... Я все пытаюсь дать тебе понять, как много значило для меня последние несколько лет это перевоплощение в тебя... поразительно мы с тобой одинаковые... поразительно разные...

Прощай, мой мальчик, да хранит тебя Бог.

Тэйер Дарси».

Ночная погрузка

Эмори продвигался по палубе, к носу, пока не нашел табуретку под электрической лампой. Порывшись в карманах, он достал блокнот и карандаш и стал писать, медленно и старательно:

Пора нам в путь...
Мы молча шли по улице пустой,
Где смолк нестройный гам,
И страшен был наш серый, зыбкий строй
Мятущимся теням,
И откликался эхом порт ночной
Размеренным шагам.
Вот палуба... А ветер все смирней.
Уходит призрак-брег —

Там жалкие обломки сотен дней...
Оплачем ли мы бег
Бесплодных лет?
Как пенна моря муть!
А тучи раздались, и небосвод
Небес огни стремятся захлестнуть,
И за кормою клокотанье вод
Нам всеобъемлющий ноктюрн поет.
...Пора нам в путь.

Письмо от Эмори, помеченное «Брест, 11 марта 1919 г.— лейтенанту Т.-П. Д'Инвильерсу, лагерь Гордон, Джорджия»:

«Дорогой Бодлер!

Встречаемся в Манхэттене 30-го самого что ни на есть сего месяца, затем подыскиваем себе шикозную квартиру — ты, я и Алек, который в данную минуту находится рядом со мной. Я еще не знаю, чем займусь, но смутно мечтаю посвятить себя политике. Почему это в Англии избранная молодежь из Оксфорда и Кембриджа идет в политику, а мы в США доверяем ее всякому сброду, людям, взращенным на уличных митингах, воспитанным мелкими политиканами, и посланным в конгресс толстопузым продажным мошенникам, не имеющим "ни идей, ни идеалов", как мы, бывало, выражались на диспутах. Еще сорок лет назад у нас были среди политиков хорошие люди, но нас, нас-то для того воспитали, чтобы мы умели нажить миллион и "показать, из какого мы теста". Иногда я жалею, что я не англичанин, американская жизнь кажется мне до того глупой, бессмысленной и гигиеничной, что хоть на крик кричи.

Теперь, после смерти бедной Беатрисы, у меня будет немного денег — увы, очень, очень немного. Я могу простить матери почти все, не могу простить одного: незадолго до смерти, в припадке религиозности, она завещала половину того, что у нее еще оставалось, на церковные витражи и стипендии в духовных семинариях. Мистер Бартон, мой поверенный, пишет, что мои тысячи вложены главным образом в акции трамвайных компаний, а оные компании терпят убытки, потому что цена за проезд всего пять центов. Представляешь себе платежную ведомость, по которой неграмотному человеку платят 350 долл. в месяц?! И все же я в это верю, хотя и видел своими глазами, как состояние, некогда весьма приличное, растаяло в результате спекуляций, транжирства, демократического законо-

дательства и подоходных налогов,— да, малютка, я человек современный.

Как бы там ни было, квартира у нас будет первый сорт. Ты можешь получить работу в каком-нибудь журнале мод, Алек может поступить в ту цинковую компанию, или чем там владеют его родители,— он читает через мое плечо и говорит, что компания медная, но, по-моему, это не имеет значения, а ты как считаешь? Нажиты деньги на цинке или на меди — один черт, коррупция, надо думать, везде одинаковая. Что касается широко известного Эмори, он бы стал писать бессмертные литературные произведения, будь он хоть в чем-нибудь достаточно уверен для того, чтобы сообщить об этом публике. А искусно сформулированная банальщина — это самый опасный дар потомству.

Том, почему бы тебе не принять католичество? Конечно, чтобы стать хорошим католиком, тебе пришлось бы отказаться от бурных романов, в которые ты меня когда-то посвящал, но стихам твоим пошло бы на пользу, если бы в них появились высокие золотые подсвечники и долгие песнопения, и, хотя американское духовенство весьма буржуазно, как любила говорить Беатриса, ты мог бы посещать только церкви самого высокого полета, и я познакомил бы тебя с монсеньором Дарси, он-то не человек, а чудо.

Смерть Керри я пережил очень тяжело и смерть Джесси тоже, но не настолько. И мне очень, очень хотелось бы узнать, в каких несусветных потемках затерялся Бэрн. Как ты думаешь, может быть, он сидит в тюрьме под вымышленным именем? Покаюсь тебе, война не сделала меня правоверным, что было бы законной реакцией, а, наоборот, превратила в рьяного агностика. Католической церкви за последнее время так часто подрезали крылья, что в войне она играла робкую, почти незаметную роль, и хороших писателей у католиков не осталось. Честертоном я сыт по горло.

Мне попался всего один солдат, который пережил столь широко разрекламированное духовное обновление наподобие этого Доналда Хэнки, к тому же тот, которого я знал, еще до войны готовился принять сан, так что он уже и для духовного обновления созрел. Честно говоря, по-моему, все это чушь, хотя для тех, кто оставался дома, это, видимо, послужило своего рода сентиментальным утешением и, возможно, заставит многих родителей оценить по достоинству своих детей. Этакая

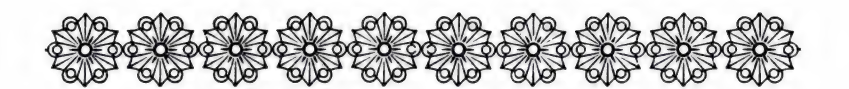
религиозность под влиянием катастрофы никакой ценности не представляет и в лучшем случае недолговечна. Думаю, что на каждого солдата, открывшего для себя Бога, приходится четыре, которые открыли Париж.

Но мы — ты, я и Алек — мы заведем, черт возьми, слугу японца, и будем переодеваться к обеду, и пить вино, и вести бесстрастную созерцательную жизнь. Ох, лишь бы хоть что-нибудь случилось! Я себе места не нахожу от тревоги и безумно боюсь растолстеть или влюбиться и стать семьянином.

Поместье в Лейк-Джинева будет сдано в аренду.

Сразу, как вернусь, съезжу на Запад, повидаюсь с мистером Бартоном и узнаю от него все подробности. Пиши мне на отель "Блекстон" в Чикаго. Засим остаюсь, дорогой Босуэлл,

Сэмюел Джонсон».



Книга вторая

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Глава I

ЕЕ ПЕРВЫЙ БАЛ

Время действия — февраль. Место действия — большая нарядная спальня в особняке Коннеджей на Шестьдесят восьмой улице в Нью-Йорке. Комната явно девичья: розовые стены и занавески, розовое покрывало на кремовой кровати. Вся комната выдержана в розовых и кремовых тонах, но из обстановки прежде всего бросается в глаза роскошный туалетный стол со стеклянной крышкой и трехстворчатым зеркалом. На стенах — дорогая гравюра с картины «Спелые вишни», несколько вежливых собачек Лендсира и «Король Черных островов» Максфилда Пэрриша.

Страшный беспорядок, а именно: 1) семь-восемь пустых картонок, из пасти которых свисают, пыхтя, языки папиросной бумаги; 2) гора уличных костюмов вперемешку с вечерними платьями — все лежат на столе, все несомненно новые; 3) рулон тюля, потерявший всякое самоуважение и раболепно обвившийся вокруг всевозможных предметов; 4) на двух изящных стульчиках — стопки белья, не поддающегося подробному описанию. Возникает желание узнать, в какую сумму обошлось все это великолепие, и еще большее желание увидеть принцессу, для которой... Вот! Кто-то входит. Какое разочарование! Это всего лишь горничная, она что-то ищет. Под одной кучкой белья — нет. Под другой, на туалете, в ящиках шифоньерки. Мелькает несколько очень красивых ночных рубашек и сногсшибательная пижама, но это не то, что ей нужно. Уходит.

Из соседней комнаты слышна неразборчивая воркотня.

Теплее. Это мать Алека, миссис Коннедж, пышная, важная, нарумяненная и вконец замученная. Губы ее выразительно шевелятся, она тоже принимается искать. Ищет не так старательно, как горничная, но зато яростнее. Спотыкается о размотавшийся тюль и отчетливо произносит: «О черт».

Удаляется с пустыми руками.

Опять разговор за сценой, и девичий голос, очень избалованный голос, произносит: «В жизни не видела таких безмозглых...»

Входит третья искательница — не та, что с избалованным голосом, а другое издание, помоложе. Это Сесилия Коннедж, шестнадцати лет, хо-

рошенькая, смышленая и от природы незлобивая. Она уже одета для вечера, и нарочитая простота ее платья, вероятно, ей не по душе. Подходит к ближайшей стопке белья, выдергивает из нее что-то маленькое, розовое и любуется, держа на вытянутой руке.

Сесилия. Розовый?

Розалинда *(за сценой)*. Да.

Сесилия. Очень модный?

Розалинда. Да.

Сесилия. Нашла! *(Бросает на себя взгляд в зеркало и от радости начинает танцевать шимми.)*

Розалинда *(за сценой)*. Что ты там делаешь? На себя примеряешь?

Сесилия, перестав танцевать, выходит, унося добычу на правом плече. Из другой двери входит Алек Коннедж. Быстро оглядевшись, зовет зычным голосом: «Мама!» В соседней комнате хор протестующих голосов, он делает шаг в ту сторону, но останавливается, потому что голоса протестуют громче прежнего.

Алек. Так вот где вы все попрятались! Эмори Блейн приехал.

Сесилия *(живо)*. Уведи его вниз.

Алек. А он и есть внизу.

Миссис Коннедж. Так покажи ему, где расположиться. Передай, что я очень жалею, но сейчас не могу к нему выйти.

Алек. Он и так обо всех вас все знает. Вы там поскорее. Папа просвещает его относительно войны, и он уже грызет удила. Он, знаете ли, очень темпераментный.

Последние слова заинтересовали Сесилию, она входит.

Сесилия *(усаживается прямо на кучки белья)*. В каком смысле темпераментный? Ты и в письмах так о нем отзывался.

Алек. Ну, пишет всякие произведения.

Сесилия. А на рояле играет?

Алек. Кажется, нет.

Сесилия *(задумчиво)*. Пьет?

Алек. Да. Он не сумасшедший.

Сесилия. Богат?

Алек. О господи, это ты спроси у него. Семья была богатая, и сейчас какой-то доход у него есть.

Появляется миссис Коннедж.

Миссис Коннедж. Алек, мы, конечно, очень рады принять любого твоего товарища...

Алек. С Эмори-то, во всяком случае, стоит познакомиться.

Миссис Коннедж. Конечно, с удовольствием. Но мне кажется, это чистое ребячество с твоей стороны — когда можно жить с семьей, в хорошо поставленном доме, поселиться с двумя другими молодыми людьми в какой-то немыслимой квартире. Надеюсь, вы придумали это не для того, чтобы пить без всяких ограничений.

Пауза.

Сегодня мне, правда, не до него. Эта неделя посвящена Розалинде. Когда у девушки первый большой бал, ей следует уделять внимание в первую очередь.

Розалинда *(за сценой)*. Ты докажи это. Пойди сюда и застегни мне крючки.

Миссис Коннедж уходит.

Алек. Розалинда ничуть не изменилась.

Сесилия *(понизив голос)*. Она ужасающе избалована.

Алек. Ну, сегодня ей найдется кто-то под пару.

Сесилия. Мистер Эмори Блейн?

Алек кивает.

Пока что Розалинду еще никто не перещеголял. Честное слово, Алек, она просто жутко обращается с мужчинами. Ругает их, подводит, не является на свидания и зевает им прямо в лицо — а они возвращаются и просят добавки.

Алек. Им только того и надо.

Сесилия. Ничего подобного. Она... она, по-моему, вроде вампира, и от девушек она тоже обычно добивается всего, что ей нужно, только девушек она терпеть не может.

Алек. Сильная личность — это у нас семейное.

Сесилия *(смиренно)*. На меня этой силы, наверно, не хватило.

Алек. А ведет она себя прилично?

Сесилия. Да не очень. А в общем — ничего особенного, как все. Курит понемножку, пьет пунш, часто целуется... да, да, это все знают, это, понимаешь, одно из последствий войны.

Входит миссис Коннедж.

Миссис Коннедж. Розалинда почти готова, теперь я могу сойти вниз и познакомиться с твоим товарищем.

Мать и сын уходят.

Розалинда *(за сценой)*. Ах да, мама...
Сесилия. Мама пошла вниз.

И вот входит Розалинда. Розалинда до кончиков ногтей. Это одна из тех девушек, которым не требуется ни малейших усилий для того, чтобы мужчины в них влюблялись. Участи этой обычно избегают два типа мужчин: недалеких мужчин страшит ее живой ум, а мужчин интеллектуального склада страшит ее красота. Все остальные — ее рабы по праву сильнейшего.

Если бы Розалинду можно было избаловать, этот процесс был бы уже завершен; и в самом деле, характер у нее не идеальный; если уж ей чего-нибудь хочется, так вынь да положь, и, когда ее желание оказывается невыполнимым, она умеет отравить существование всем окружающим. Но баловство не вконец ее испортило. Способность радоваться, желание расти и учиться, беспредельная вера в неисчерпаемость романтики, мужество и честность по большому счету — все это осталось при ней.

Бывает, что она подолгу ненавидит все свое семейство. Твердых принципов у нее не имеется, жизненная философия сводится к carpe diem[1] для себя и Laissez-faire[2] для других. Она обожает нецензурные анекдоты: в ней нет-нет да проявляется грубоватость, свойственная широким натурам. Она хочет нравиться, но осуждение ничуть ее не заботит и никак не влияет на нее. Примерной ее по назовешь.

Образование для красивой женщины — это умение разбираться в мужчинах. Один мужчина за другим не оправдывал ее ожиданий, но в мужчин вообще она верила свято. Зато женщин терпеть не могла. Они воплощали те свойства, которые она чувствовала и презирала в себе,— потенциальную подлость, самомнение, трусость и нечестность по мелочам. Однажды она объявила целой группе дам, сидевших в гостях у ее матери, что женщин можно терпеть только потому, что они вносят в среду мужчин необходимый элемент легкого волнения. Танцевала она восхитительно, рисовала мило, но небрежно и обладала редкостной легкостью слога, которую использовала только в любовных письмах.

Но перед красотой Розалинды всякая критика умолкает. Роскошные волосы того особого желтого оттенка, на подражании которому богатеет наша красильная промышленность. Просящий поцелуев рот, небольшой, немного чувственный, бесконечно волнующий. Серые глаза и безупречной белизны кожа, на которой вспыхивает и гаснет нежный румянец. Была она тоненькая, гибкая, но крепкая, с хорошо развитой фигурой, и чистым наслаждением было смотреть, как она движется по комнате, идет по улице, замахивается клюшкой для гольфа, а то и пройдет колесом.

---

[1] Лови мгновение (*лат.*).
[2] Не мешай жить по-своему (*фр.*).

И последняя поправка — ее живость, непосредственность была свободна от того налета лицедейства, который Эмори усмотрел в Изабелле. Монсеньор Дарси сильно затруднился бы, как ее назвать — индивидуумом или личностью. Возможно, она была бесценным, раз в сто лет встречающимся сплавом того и другого.

Сегодня, в день своего первого большого бала, она, несмотря на свою умудренность, всего-навсего счастливая девочка. Горничная матери только что причесала ее, но она тут же решила, что сама сумеет причесаться гораздо лучше. От волнения она не может ни минуты посидеть на месте. Поэтому мы и увидели ее в этой неприбранной комнате. Сейчас она заговорит. Низкие модуляции Изабеллы напоминали скрипку, но доведись вам услышать голос Розалинды, вы бы сказали, что он мелодичен, как водопад.

Розалинда. Честное слово, я только в двух нарядах чувствую себя хорошо — в кринолине и в купальном костюме. В том и другом я выгляжу очаровательно.

Сесилия. Рада, что выплываешь в свет?

Розалинда. Очень, а ты?

Сесилия *(безжалостно)*. Ты рада, потому что сможешь теперь выйти замуж и жить на Лонг-Айленде среди «наших молодых супружеских пар современного типа». Ты хочешь, чтобы жизнь у тебя была цепочкой флиртов — что ни звено, то новый мужчина.

Розалинда. «Хочу»! Ты лучше скажи, что так оно и есть, и я в этом давно убедилась.

Сесилия. Уж будто!

Розалинда. Сесилия, крошка, тебе не понять, до чего это тяжело быть... такой, как я. На улице я должна сохранять каменное лицо, чтобы мужчины мне не подмигивали. В театре, если я рассмеюсь, комик потом весь вечер играет только для меня. Если на танцах я скажу что-то шепотом, или опущу глаза, или уроню платок, мой кавалер потом целую неделю изо дня в день звонит мне по телефону.

Сесилия. Да, это, должно быть, утомительно.

Розалинда. И как назло единственные мужчины, которые меня хоть сколько-нибудь интересуют, абсолютно не годятся для брака. Будь я бедна, я пошла бы на сцену.

Сесилия. Правильно. Ты и так все время играешь, так пусть бы хоть деньги платили.

Розалинда. Иногда, когда я бываю особенно неотразима, мне приходит в голову: к чему растрачивать все это на одного мужчину?

Сесилия. А я, когда ты бываешь особенно не в духе, часто думаю: к чему растрачивать все это на одну семью? *(Встает.)* Пойду, пожалуй, вниз, познакомлюсь с мистером Эмори Блейном. Люблю темпераментных мужчин.

Розалинда. Таких нет в природе. Мужчины не умеют ни сердиться, ни наслаждаться по-настоящему, а те, кто умеет, тех хватает ненадолго.

Сесилия. У меня-то, к счастью, твоих забот нет. Я помолвлена.

Розалинда *(с презрительной улыбкой)*. Помолвлена? Ах ты, глупышка! Если бы мама такое услышала, она бы отправила тебя в закрытую школу, где тебе и место.

Сесилия. Но ты ей не расскажешь, потому что я тоже могла бы кое-что рассказать, а это тебе не понравится, тебе твое спокойствие дороже.

Розалинда *(с легкой досадой)*. Ну, беги, малышка. А с кем это ты помолвлена? С тем молодым человеком, который развозит лед, или с тем, что держит кондитерскую лавочку?

Сесилия. Дешевое остроумие! Счастливо оставаться, дорогая, мы еще увидимся.

Розалинда. Надеюсь, ведь ты моя единственная опора.

Сесилия уходит. Розалинда, закончив прическу, встает, напевая. Потом начинает танцевать перед зеркалом, на мягком ковре. Она смотрит не на свои ноги, а на глаза, смотрит внимательно, даже когда улыбается. Внезапно дверь отворяется рывком и снова захлопывается. Вошел Эмори, как всегда очень спокойный и красивый. Секунда замешательства.

Он. Ох, простите! Я думал...

Она *(с лучезарной улыбкой)*. Вы — Эмори Блейн?

Он *(рассматривая ее)*. А вы — Розалинда?

Она. Я буду называть вас Эмори. Да вы входите, не бойтесь, мама сейчас придет... *(едва слышно)* к сожалению.

Он *(оглядываясь по сторонам)*. Это для меня что-то новое.

Она. Это — «ничья земля».

Он. Это здесь вы...

Пауза.

Она. Да, тут все мое. *(Подходит к туалетному столу.)* Вот видите — мои румяна, мой карандаш для бровей.

Он. Я не думал, что вы такая.

Она. А чего вы ждали?

Он. Я думал, вы... ну, как бы бесполая — играете в гольф, плаваете...

О н а. А я этим и занимаюсь, только не в приемные часы.

О н. Приемные часы?

О н а. От шести вечера до двух ночи. Ни минутой дольше.

О н. Я не прочь войти пайщиком в эту корпорацию.

О н а. А это не корпорация — просто «Розалинда, компания с неограниченной ответственностью». Пятьдесят один процент акций, имя, стоимость фирмы и все прочее оценивается в двадцать пять тысяч годового дохода.

О н *(неодобрительно)*. Холодноватое, я бы сказал, начинание.

О н а. Но вам от этого ни холодно ни жарко, Эмори, верно? Когда я встречу человека, который за две недели не надоест мне до смерти, кое-что, возможно, изменится.

О н. Забавно, вы держитесь такой же точки зрения на мужчин, как я — на женщин.

О н а. Я-то, понимаете, не типичная женщина... по складу ума.

О н *(заинтригован)*. Продолжайте.

О н а. Нет, лучше вы — вы продолжайте. Вы заставили меня заговорить о себе. А это против правил.

О н. Правил?

О н а. Моих правил. Но вы... Ах, Эмори, я слышала, что вы — блестящий человек. Мои родные так много от вас ждут.

О н. Это вдохновляет!

О н а. Алек говорит, что вы научили его думать. Это правда? Мне казалось, что на это никто не способен.

О н. Нет. На самом деле я очень заурядный. *(Явно с расчетом, что это не будет принято всерьез.)*

О н а. Не верю.

О н. Я... я религиозен... я причастен к литературе, я... даже пишу стихи.

О н а. Вольным стихом? Прелестно! *(Декламирует.)*

Деревья зеленые,
На деревьях поют птицы,
Девушка маленькими глотками пьет яд,
Птица улетает, девушка умирает.

О н *(смеется)*. Нет, не такие.

О н а *(неожиданно)*. Вы мне нравитесь.

О н. Не надо.

О н а. И такая скромность...

Он. Я вас боюсь. Я любой девушки боюсь — пока не поцелую ее.

Она *(назидательно)*. Сейчас не военное время.

Он. Значит, я всегда буду вас бояться.

Она *(не без грусти)*. Видимо, так.

Оба минуту колеблются.

Он *(обдумав все «за» и «против»)*. Я понимаю, это чудовищная просьба...

Она *(заранее зная продолжение)*. После пяти минут знакомства.

Он. Но прошу вас, поцелуйте меня. Или боитесь?

Она. Я ничего не боюсь, но ваши доводы как-то не убеждают.

Он. Розалинда, я так хочу вас поцеловать.

Она. Я тоже.

Поцелуй — долгий, на совесть.

Он *(переводя дух)*. Ну как, удовлетворили свое любопытство?

Она. А вы?

Он. Нет, оно только-только проснулось.

Видно, что он не лжет.

Она *(мечтательно)*. Я целовалась с десятками мужчин. Впереди, скорей всего, еще десятки.

Он *(рассеянно)*. Да, это вы могли.

Она. Почти всем нравится со мной целоваться.

Он *(спохватившись)*. Господи, а как же иначе! Поцелуйте меня еще, Розалинда!

Она. Нет, мое любопытство обычно удовлетворяется с первого раза.

Он *(обескуражен)*. Это правило?

Она. Я создаю правила для каждого случая.

Он. У нас с вами есть кое-что общее — только я, конечно, намного старше и опытнее.

Она. Вам сколько лет?

Он. Скоро двадцать три. А вам?

Она. Девятнадцать — только что исполнилось.

Он. Вы, надо полагать, продукт какой-нибудь фешенебельной школы?

Она. Нет, я, можно сказать, сырой материал. Из Спенса меня исключили, за что — не помню.

Он. А вообще вы какая?

Она. Ну — яркая, эгоистка, возбудима, люблю поклонение...

О н *(перебивая).* Я не хочу в вас влюбиться.

О н а *(вздернув брови).* А вас никто и не просил.

О н *(невозмутимо продолжает).* ...но, вероятно, влюблюсь. У вас чудесный рот.

О н а. Тсс! Ради бога, не влюбляйтесь в мой рот. Волосы, плечи, туфли — что угодно, только не рот. Все влюбляются в мой рот.

О н. Неудивительно, он очень красивый.

О н а. Слишком маленький.

О н. Разве? По-моему, нет. *(Снова целует ее, также на совесть.)*

О н а *(слегка взволнованная).* Скажите что-нибудь милое.

О н *(испуганно).* О господи!

О н а *(отодвигаясь).* Ну и не надо — если это так трудно.

О н. Начнем притворяться? Уже?

О н а. У нас для времени не такие мерки, как у других.

О н. Вот видите — уже появились «другие».

О н а. Давайте притворяться.

О н. Нет, не могу — это сантименты.

О н а. А вы не сентиментальны?

О н. Нет. Я — романтик. Человек сентиментальный воображает, что любовь может длиться,— романтик вопреки всему надеется, что конец близко. Сентиментальность — это эмоции.

О н а. А вы не эмоциональны? *(Опустив веки.)* Вам, вероятно, кажется, что вы до этого не снисходите?

О н. Нет, я... Розалинда, Розалинда, не надо спорить. Поцелуйте меня.

О н а *(на этот раз совсем холодно).* Нет — не чувствую такого желания.

О н *(откровенно уязвленный).* Но минуту назад вам хотелось меня целовать.

О н а. А сейчас не хочется.

О н. Мне лучше уйти.

О н а. Пожалуй.

Он направляется к двери.

Ах да!

Он оборачивается.

(Смеясь.) Очко. Счет: сто — ноль в пользу нашей команды.

Он делает шаг назад.

(Быстро.) Дождь, игра отменяется.

Он уходит. Она спокойно идет к шифоньерке, достает портсигар и прячет в боковом ящике письменного столика. Входит ее мать с блокнотом в руке.

Миссис Коннедж. Хорошо, что ты здесь. Я хотела поговорить с тобой, прежде чем мы сойдем вниз.

Розалинда. Боже мой! Ты меня пугаешь.

Миссис Коннедж. Розалинда, ты в последнее время обходишься нам недешево.

Розалинда *(смиренно)*. Да.

Миссис Коннедж. И тебе известно, что состояние твоего отца не то, что было раньше.

Розалинда *(с гримаской)*. Очень тебя прошу, не говори о деньгах.

Миссис Коннедж. А без них шагу ступить нельзя. В этом доме мы доживаем последний год,— и, если так пойдет дальше, у Сесилии не будет тех возможностей, какие были у тебя.

Розалинда *(нетерпеливо)*. Ну, так что ты хотела сказать?

Миссис Коннедж. Будь добра прислушаться к нескольким моим пожеланиям, которые я тут записала в блокноте. Во-первых, не прячься по углам с молодыми людьми. Допускаю, что иногда это удобно, но сегодня я хочу, чтобы ты была в бальной зале, где я в любую минуту могу тебя найти. Я хочу познакомить тебя с несколькими гостями, и мне не улыбается разыскивать тебя за кустами в зимнем саду, когда ты болтаешь глупости — или выслушиваешь их.

Розалинда *(язвительно)*. Да, «выслушиваешь» — это вернее.

Миссис Коннедж. А во-вторых, не трать столько времени попусту со студентами — мальчиками по девятнадцать — двадцать лет. Почему не побывать на университетском балу или на футбольном матче, против этого я не возражаю, но ты, вместо того чтобы ездить в гости в хорошие дома, закусываешь в дешевых кафе с первыми встречными...

Розалинда *(утверждая собственный кодекс, по-своему не менее возвышенный, чем у матери)*. Мама, сейчас все так делают, нельзя же равняться на девяностые годы.

Миссис Коннедж *(не слушая)*. Есть несколько друзей твоего отца, холостых, с которыми я хочу тебя сегодня познакомить, люди еще нестарые.

Розалинда *(умудренно кивает)*. Лет на сорок пять?

Миссис Коннедж *(резко)*. Ну и что ж?

Розалинда. Да нет, ничего, они знают жизнь и напускают на себя такой обворожительно усталый вид. *(Качает головой.)* И притом непременно желают танцевать.

Миссис Коннедж. С мистером Блейном я еще незнакома, но едва ли он тебя заинтересует. Судя по рассказам, он не умеет наживать деньги.

Розалинда. Мама, я никогда не думаю о деньгах.

Миссис Коннедж. Тебе некогда о них думать, ты их только тратишь.

Розалинда *(вздыхает)*. Да, когда-нибудь я, скорее всего, выйду замуж за целый мешок с деньгами — просто от скуки.

Миссис Коннедж *(заглянув в блокнот)*. Я получила телеграмму из Хартфорда. Досон Райдер сегодня будет в Нью-Йорке. Вот это приятный молодой человек, и денег куры не клюют. Мне кажется, что раз Хауорд Гиллеспи тебе надоел, ты могла бы обойтись с мистером Райдером поласковее. Он за месяц уже третий раз сюда приезжает.

Розалинда. Откуда ты знаешь, что Хауорд Гиллеспи мне надоел?

Миссис Коннедж. У бедного мальчика теперь всегда такие грустные глаза.

Розалинда. Это был один из моих романтических флиртов довоенного типа. Они всегда кончаются ничем.

Миссис Коннедж *(она свое сказала)*. Как бы то ни было, сегодня мы хотим тобой гордиться.

Розалинда. Разве я, по-вашему, не красива?

Миссис Коннедж. Это ты и сама знаешь.

Снизу доносится стон настраиваемой скрипки, рокот барабана. Миссис Коннедж быстро поворачивается к двери.

Пошли!

Розалинда. Иди, я сейчас.

Мать уходит. Розалинда, подойдя к зеркалу, с одобрением себя рассматривает. Целует свою руку и прикасается ею к отражению своего рта в зеркале. Потом гасит лампы и выходит из комнаты. Тишина. Аккорды рояля, приглушенный стук барабана, шуршание нового шелка — все эти звуки, слившись воедино на лестнице, проникают сюда через приоткрытую дверь. В освещенном коридоре мелькают фигуры в манто. Внизу кто-то засмеялся, кто-то подхватил, смех стал общим. Потом кто-то входит в комнату, включает свет. Это Сесилия. Подходит к шифоньерке, заглядывает в ящики, подумав, направляется к столику и достает из него портсигар, а оттуда — сигарету. Закуривает и, старательно втягивая и выпуская дым, идет к зеркалу.

Сесилия *(пародируя светскую львицу).* О да, в наше время эти «первые» званые вечера — не более как фарс. Столько успеваешь повеселиться еще до семнадцати лет, что это больше похоже на конец, чем на начало *(Пожимает руку воображаемому титулованному мужчине средних лет.)* Да, ваша светлость, помнится, мне говорила о вас моя сестра. Хотите закурить? Сигареты хорошие. Называются... называются «Корона». Не курите? Какая жалость! Наверно, вам король не разрешает?.. Да, пойдемте танцевать. *(И пускается танцевать по всей комнате под музыку, доносящуюся снизу, протянув руки к невидимому кавалеру, зажав в пальцах сигарету.)*

Спустя несколько часов

Маленькая гостиная на первом этаже, почти полностью занятая очень удобной кожаной тахтой. В потолке две неяркие лампы, а посредине, над тахтой, висит писанный маслом портрет очень старого, очень почтенного джентльмена, одетого по моде 1860-х годов.

За сценой звучит музыка фокстрота.

Розалинда сидит на тахте, слева от нее — Хауорд Гиллеспи, нудный молодой человек лет двадцати четырех. Он явно страдает, а ей очень скучно.

Гиллеспи *(вяло).* В каком смысле я изменился? К вам я отношусь все так же.

Розалинда. А мне вы кажетесь другим.

Гиллеспи. Три недели назад вы говорили, что я вам нравлюсь, потому что я такой пресыщенный, такой равнодушный,— я и сейчас такой.

Розалинда. Только не по отношению ко мне. Раньше вы мне нравились, потому что у вас карие глаза и тонкие ноги.

Гиллеспи *(беспомощно).* Они и сейчас карие и тонкие. А вы просто кокетка, вот и все.

Розалинда. Кокетки меня интересуют только те, что в модных журналах. Мужчин обычно сбивает с толку то, что я вполне естественна. Я-то думала, что вы никогда не ревнуете. А вы теперь глаз с меня не спускаете, куда бы я ни пошла.

Гиллеспи. Я вас люблю.

Розалинда *(холодно).* Знаю.

Гиллеспи. И вы уже две недели не даете себя поцеловать. Мне казалось, что после того, как девушку поцелуешь, она... она завоевана.

Розалинда. Это в прежнее время так было. Меня каждый раз надо завоевывать сызнова.

Гиллеспи. Вы шутите?

Розалинда. Как всегда, не больше и не меньше. Раньше были поцелуи двух сортов: либо девушку целовали и бросали, либо целовали и объявляли о помолвке. А теперь есть новая разновидность — не девушку, а мужчину целуют и бросают. В девяностых годах, если мистер Джонс похвалялся, что поцеловал девушку, всем было ясно, что он с ней покончил. Если тем же похваляется мистер Джонс выпуска тысяча девятьсот двадцатого года, всем понятно, что ему, значит, больше не разрешается ее целовать. В наше время девушка, стоит ей удачно начать, всегда перещеголяет мужчину.

Гиллеспи. Так зачем вы играете мужчинами?

Розалинда *(наклонясь к нему, доверительно)*. Ради первой секунды — пока ему только любопытно. Есть такая секунда — как раз перед первым поцелуем — одно шепотом сказанное слово — что-то неуловимое,— ради чего стоит все это затевать.

Гиллеспи. А потом?

Розалинда. А потом заставляешь его заговорить о себе. Скоро он уже только о том и думает, как бы остаться с тобой наедине,— он дуется, не пробует бороться, не хочет играть — победа!

Входит Досон Райдер — двадцать шесть лет, красив, богат, знает себе цену, скучноват, пожалуй, но надежен и уверен в успехе.

Райдер. По-моему, этот танец за мной, Розалинда.

Розалинда. Как приятно, что вы меня узнали, Досон. Значит, я не слишком накрашена. Познакомьтесь: мистер Райдер — мистер Гиллеспи.

Они пожимают друг другу руки, и Гиллеспи уходит, погрузившись в бездну уныния.

Райдер. Что и говорить, ваш вечер — большая удача.

Розалинда. Да, кажется... Не берусь об этом судить. Я устала... Посидим немного, вы не против?

Райдер. Против? Да я в восторге. Вы же знаете. я ненавижу торопиться и торопить других. Лучше видеться с девушкой вчера, сегодня, завтра.

Розалинда. Досон!

Досон. Что?

Розалинда. Интересно, вы понимаете, что влюблены в меня?

Райдер *(поражен)*. О, вы замечательная девушка.

Розалинда. А то ведь со мной, знаете ли, сладить трудно. Тот, кто на мне женится, не будет знать ни минуты покоя. Я скверная, очень скверная.

Райдер. Ну, этого я бы не сказал.

Розалинда. Правда, правда — особенно по отношению к самым близким людям. *(Встает.)* Пошли. Я передумала, хочу танцевать. Мама там, наверное, уже голову потеряла.

Уходят.

Входят Алек и Сесилия.

Сесилия. Вот уж повезло — в перерыве между танцами оказаться с родным братом.

Алек *(мрачно)*. Пожалуйста, могу уйти.

Сесилия. Ни в коем случае. С кем же мне тогда начинать следующий танец? *(Вздыхает.)* С тех пор как уехали французские офицеры, балы уже стали не те.

Алек *(хмурясь)*. Я не хочу, чтобы Эмори влюбился в Розалинду.

Сесилия. Да? А мне казалось, что ты именно этого хочешь.

Алек. Я и хотел, но как посмотрел на этих девиц, что-то засомневался. Эмори мне очень дорог. Он уязвимая натура, и я вовсе не хочу, чтобы сердце у него оказалось разбитым из-за девушки, которой он безразличен.

Сесилия. Он очень красивый.

Алек *(все еще хмурясь)*. Замуж она за него не выйдет, но разбить человеку сердце можно и без этого.

Сесилия. Чем она их привораживает? Хорошо бы узнать секрет.

Алек. Ах ты, хладнокровный котенок. Счастье еще, что у тебя нос курносый, а то никому бы спасения не было.

Входит миссис Коннедж.

Миссис Коннедж. Господи, да где же Розалинда?

Алек *(в тоне милой шутки)*. Да уж, ты знала, у кого спросить. С кем же ей быть, как не с нами!

Миссис Коннедж. Отец созвал восемь холостых миллионеров, специально чтобы представить ей.

Алек. Ты их построй по ранжиру и шагом марш по всему дому.

Миссис Коннедж. Я не шучу — с нее станется в вечер первого бала удрать с каким-нибудь футболистом в кафе «Кокос». Ты пойди влево, а я...

Алек *(непочтительно)*. А может, тебе лучше послать дворецкого поискать в погребе?

Миссис Коннедж *(на полном серьезе)*. Неужели ты думаешь, что она там?

Сесилия. Да он шутит, мама.

Алек. Мама уже представила себе, как она пьет пиво прямо из бочки с каким-нибудь чемпионом.

Миссис Коннедж. Пойдемте же, пойдемте ее искать.

Уходят.

Входят Розалинда и Гиллеспи.

Гиллеспи. Розалинда, я вас спрашиваю еще раз — неужели я вам совершенно безразличен?

Быстро входит Эмори.

Эмори. Этот танец за мной.

Розалинда. Мистер Гиллеспи, это мистер Блейн, познакомьтесь.

Гиллеспи. Мы с мистером Блейном встречались. Вы ведь из Лейк-Джинева?

Эмори. Да.

Гиллеспи *(хватаясь за соломинку)*. Я там бывал. Это... это на Среднем Западе, так, кажется?

Эмори *(с издевкой)*. Более или менее. Но меня всегда больше прельщало быть провинциальным рагу с перцем, чем пресной похлебкой.

Гиллеспи. Что?!

Эмори. О, прошу не принимать на свой счет.

Гиллеспи, отвесив поклон, удаляется.

Розалинда. Очень уж он примитивен.

Эмори. Я когда-то был влюблен в такой вот примитив.

Розалинда. В самом деле?

Эмори. Да, да, ее звали Изабелла — и ничего в ней не было, кроме того, чем я сам ее наделил.

Розалинда. И что получилось?

Эмори. В конце концов я убедил ее, что мне до нее далеко,— и тогда она дала мне отставку. Заявила, что я все на свете критикую и к тому же непрактичен.

Розалинда. В каком смысле непрактичен?

Эмори. Ну понимаете — вести автомобиль могу, а шину сменить не сумею.

Розалинда. Что вы намерены делать в жизни?

Эмори. Да еще не знаю, избираться в президенты, писать...

Розалинда. Гринич-Вилледж?

Эмори. Боже сохрани, я сказал «писать», а не «пить».

Розалинда. Я люблю деловых людей. Умные мужчины обычно такие невзрачные.

Эмори. Мне кажется, что я вас знал тысячу лет.

Розалинда. Ой, сейчас начнется рассказ про пирамиды!

Эмори. Нет, у меня была в мыслях Франция. Я был Людовиком Четырнадцатым, а вы — одной из моих... моих... *(Совсем другим тоном.)* А что, если нам влюбиться друг в друга?

Розалинда. Я предлагала притвориться влюбленными.

Эмори. Нам бы это легко не прошло.

Розалинда. Почему?

Эмори. Потому что именно эгоисты, как ни странно, способны на большую любовь.

Розалинда *(поднимая к нему лицо)*. Притворитесь.

Долгий, неспешный поцелуй.

Эмори. Милых вещей я говорить не умею. Но вы прекрасны.

Розалинда. Ой, только не это.

Эмори. А что же?

Розалинда *(грустно)*. Да ничего. Просто я жду чувства, настоящего чувства — и никогда его не нахожу.

Эмори. А я только это и нахожу кругом и ненавижу от всей души.

Розалинда. Так трудно найти мужчину, который удовлетворял бы вашим эстетическим запросам.

Где-то отворили дверь, и в комнату ворвались звуки вальса.
Розалинда встает.

Слышите? Там играют «Поцелуй еще раз».

Он смотрит на нее.

Эмори. Так что?

Розалинда. Так что?

Э м о р и *(тихо, признавая свое поражение).* Я вас люблю.

Р о з а л и н д а. И я вас люблю — сейчас.

Поцелуй.

Э м о р и. Боже мой, что я наделал?

Р о з а л и н д а. Ничего. Не надо говорить. Поцелуй меня еще.

Э м о р и. Сам не знаю, почему и как, но я полюбил вас с первого взгляда.

Р о з а л и н д а. И я... я тоже, сегодня такой вечер...

В комнату не спеша входит ее б р а т, вздрагивает, потом громко произносит: «Ох, простите!» — и выходит.

(Едва шевеля губами). Не отпускай меня. Пусть знают, мне все равно.

Э м о р и. Повтори!

Р о з а л и н д а. Люблю — сейчас.

Отходят друг от друга.

О, я еще очень молода, слава богу, и, слава богу, довольно красива, и, слава богу, счастлива... *(После паузы, словно в пророческом озарении, добавляет.)* Бедный Эмори!

Он снова ее целует.

Неотвратимое

Еще две недели — и Эмори с Розалиндой уже любили глубоко и страстно. Критический зуд, в прошлом испортивший и ему и ей немало любовных встреч, утих под окатившей их мощной волною чувства.

— Пусть этот роман безумие,— сказала она однажды встревоженной матери,— но уж, во всяком случае, это не пустое времяпрепровождение.

В начале марта все той же мощной волной Эмори внесло в некое рекламное агентство, где он попеременно показывал образцы незаурядной работы и погружался в сумасбродные мечты о том, как вдруг разбогатеет и увезет Розалинду в путешествие по Италии.

Они виделись постоянно — за завтраком, за обедом и почти каждый вечер — словно бы не дыша, словно опасаясь, что с минуты на минуту чары рассеются и они окажутся изгнаны

из этого пламенеющего розами рая. Но чары с каждым днем обволакивали их все крепче; они уже говорили о том, чтобы пожениться в июле — в июне. Вся жизнь вне их любви потеряла смысл, весь опыт, желания, честолюбивые замыслы свелись к нулю, чувство юмора забилось в уголок и уснуло; прежние флирты и романы казались детской забавой, способной вызвать лишь мимолетную улыбку и легкий вздох.

Второй раз в жизни Эмори совершился полный переворот, и он спешил занять место в рядах своего поколения.

Маленькая интерлюдия

Эмори медленно брел по тротуару, думая о том, что ночь всегда принадлежит ему — весь этот пышный карнавал живого мрака и серых улиц... словно он захлопнул наконец книгу бледных гармоний и ступил на объятые чувственным трепетом дороги жизни. Повсюду кругом огни, огни, сулящие целую ночь улиц и пения, в каком-то полусне он двигался с потоком прохожих, словно ожидая, что из-за каждого угла ему навстречу выбежит Розалинда — и тогда незабываемые лица ночного города сразу сольются в одно ее лицо, несчетные шаги, сотни намеков сольются в ее шагах; и мягкий взгляд ее глаз, глядящих в его глаза, опьянит сильнее вина. Даже в его сновидениях теперь тихо играли скрипки — летние звуки, тающие в летнем воздухе.

В комнате было темно, только светился кончик сигареты, с которой Том сидел без дела у отворенного окна. Эмори закрыл за собой дверь и постоял, прислонившись к ней.

— Привет, Бенвенуто Блейн. Ну, как там дела в рекламной промышленности?

Эмори растянулся на диване.

— Гнусно, как и всегда.— Перед глазами встало агентство с его бестолковой сутолокой и тут же сменилось другим видением.— Бог ты мой, она изумительна.

Том вздохнул.

— Я просто не могу тебе выразить, до чего она изумительна,— повторил Эмори.— Я и не хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы никто не знал.

От окна снова донесся вздох — вздох человека, смирившегося со своей участью.

Глаза у Эмори защекотало от слез.

— Том, Том, ты только подумай!

Сладкая горечь

— Давай посидим, как тогда,— шепнула она.

Он сел в глубокое кресло и протянул руки, чтобы принять ее в объятия.

— Я знала, что ты сегодня придешь,— сказала она тихо.— Как раз когда ты больше всего был мне нужен... милый... милый.

Губы его легко запорхали по ее лицу.

— Ты такая вкусная,— вздохнул он.

— Как это, любимый?

— Ты сладкая, сладкая...— Он крепче прижал ее к себе.

— Эмори,— шепнула она,— когда ты будешь готов на мне жениться, я за тебя выйду.

— Для начала нам придется жить очень скромно.

— Перестань! — воскликнула она.— Мне больно, когда ты себя упрекаешь за то, чего не можешь мне дать. У меня есть ты — большего мне не надо.

— Скажи...

— Ведь ты это знаешь? Ну, конечно, знаешь.

— Да, но я хочу, чтоб ты это сказала.

— Я люблю тебя, Эмори, люблю всем сердцем.

— И всегда будешь?

— Всю жизнь... Ох, Эмори...

— Что?

— Я хочу быть твоей. Хочу, чтоб твои родные были моими родными... Хочу иметь от тебя детей.

— Но родных-то у меня никого нет.

— Не смейся надо мной, Эмори. Поцелуй меня.

— Я сделаю все, как ты хочешь.

— Нет, это я сделаю все, как ты хочешь. Мы — это ты, а не я. Ты настолько часть меня, насколько я вся...

Он закрыл глаза.

— Я так счастлив, что мне страшно. Какой был бы ужас, если б это оказалось высшей точкой.

Она устремила на него задумчивый взгляд.

— Красота и любовь не вечны, я знаю. И от печали не уйти. Наверно, всякое большое счастье немножко печально. Красота — это благоухание роз, а розы увядают.

— Красота — это муки приносящего жертву и конец этой муки.

— А мы прекрасны, Эмори, я это чувствую. Я уверена, что Бог нас любит.

— Он любит тебя. Ты — самое ценное его достояние.

— Я не его, Эмори, я твоя. Первый раз в жизни я жалею о всех прежних поцелуях, теперь-то я знаю, что может значить поцелуй.

Потом они закуривали, и он рассказывал ей, как прошел день на работе и где им можно будет поселиться. Порой, когда ему случалось разговориться не в меру, она засыпала в его объятиях, но он любил и эту Розалинду — любил всех Розалинд, как раньше не любил никого на свете. Быстротечные, неуловимые, навек ускользающие из памяти часы.

Эпизод на воде

Однажды Эмори и Хауорд Гиллеспи встретились случайно в деловой части города. Они вместе зашли в кафе позавтракать, и Эмори выслушал рассказ, очень его позабавивший. У Гиллеспи после нескольких коктейлей развязался язык, и для начала он сообщил Эмори, что Розалинда, по его мнению, девушка со странностями.

Как-то раз они целой компанией ездили купаться в Уэстчестер, и кто-то упомянул, что туда приезжала Аннет Келлерман и прыгала в воду с шаткой тридцатифутовой вышки. Розалинда тут же потребовала, чтобы Хауорд лез туда вместе с ней — посмотреть, как это выглядит сверху.

Через минуту, когда он сидел на краю вышки, болтая ногами, рядом с ним что-то мелькнуло — это Розалинда безупречной «ласточкой» пронеслась вниз, в прозрачную воду.

— После этого мне, сами понимаете, тоже пришлось прыгать, я чуть не убился до смерти. Меня стоило похвалить уже за то, что я вообще решился. Больше никто из компании не пробовал. Так у Розалинды потом хватило нахальства осведомиться, зачем я во время прыжка пригнул голову. Это, видите ли, не облегчает дела, а только портит впечатление. Ну я вас спрашиваю, как быть с такой девушкой? Я считаю, что это уже лишнее.

Гиллеспи было невдомек, почему Эмори до конца завтрака не переставал блаженно улыбаться. Скорее всего, решил он, это признак тупого оптимизма.

Пять недель спустя

Библиотека в доме Коннеджей.
Розалинда одна, сидит на диване, хмуро глядя в пространство. Она заметно изменилась, даже похудела немного. Блеск ее глаз потускнел, можно подумать, что она стала по крайней мере на год старше.
Входит ее мать, кутаясь в манто. Окидывает Розалинду тревожным взглядом.

Миссис Коннедж. Ты сегодня кого ждешь?

Розалинда не слышит, во всяком случае, не отзывается.

Сейчас заедет Алек, он везет меня на эту пьесу Барри «И ты, Брут». *(Спохватывается, что говорит сама с собой.)* Розалинда! Я тебя спросила, кого ты ждешь.

Розалинда *(вздрогнув)*. Я?.. Что... Да Эмори...

Миссис Коннедж *(язвительно)*. У тебя последнее время столько поклонников, что я просто не могла угадать, который на очереди.

Розалинда не отвечает.

Досон Райдер оказался терпеливее, чем я думала. Ты на этой неделе ни одного вечера ему не уделила.

Розалинда *(несвойственным ей раньше, до предела усталым тоном)*. Мама, прошу тебя...

Миссис Коннедж. О, я-то вмешиваться не намерена. Ты уже два месяца потратила на гения без гроша за душой, но, пожалуйста, продолжай, потрать на него хоть всю жизнь. Я вмешиваться не буду.

Розалинда *(словно повторяя скучный урок)*. Тебе известно, что небольшой доход у него есть и что он зарабатывает тридцать долларов в неделю в рекламном...

Миссис Коннедж. И что этого даже на твои туалеты не хватит. *(Делает паузу, но Розалинда молчит.)* Я пекусь только о твоих интересах, когда отговариваю тебя от безрассудного шага, о котором ты до конца дней будешь жалеть. И на папину помощь рассчитывать нечего. Он немолод, и дела у него последнее время идут плохо. Единственной твоей опорой оказался бы мечтатель, очень милый юноша, из хорошей семьи, но мечтатель — умный мальчик, и больше ничего. *(Дает понять, что ум — черта сама по себе отрицательная.)*

Розалинда. Мама, ради бога...

Входит горничная, докладывает о приходе мистера Блейна, и тут же входит он сам. Друзья Эмори уже десять дней твердят ему, что он «выглядит как божий гнев», и они правы. А последние полутора суток он не был в состоянии проглотить ни куска.

Эмори. Добрый вечер, миссис Коннедж.

Миссис Коннедж *(вполне ласково)*. Добрый вечер, Эмори.

Эмори и Розалинда переглядываются.

Входит Алек. Тот все время держался нейтральной позиции. В душе он уверен, что предполагаемый брак будет для Эмори унизительным, а для Розалинды несчастным, но глубоко сочувствует им обоим.

Алек. Здорово, Эмори!

Эмори. Здорово, Алек! Том сказал, что встретится с тобой в театре.

Алек. Да, я его видел. Как дела с рекламой? Сочинил что-нибудь блестящее?

Эмори. Да ничего особенного. Получил прибавку... *(все взгляды с интересом обращаются к нему)*... два доллара в неделю.

Все разочарованно отводят глаза.

Миссис Коннедж. Идем, Алек. Я слышу, автомобиль подали.

Все прощаются — кто более, кто менее сердечно. Миссис Коннедж и Алек уходят, после чего наступает молчание. Розалинда по-прежнему хмуро смотрит в камин. Эмори подходит и обнимает ее.

Эмори. Девочка моя.

Поцелуй.

Снова пауза, потом она, схватив его руку, осыпает ее поцелуями и прижимает к груди.

Розалинда *(печально)*. Я люблю твои руки, больше всего люблю. Я часто вижу их, когда тебя здесь нет,— такие усталые... Я знаю их до мельчайшей черточки — милые руки!

На минуту их взгляды встречаются, а потом она разражается сухими рыданиями.

Эмори. Розалинда!

Розалинда. Ой, мы такие жалкие!

Эмори. Розалинда!

Розалинда. Ой, я хочу умереть!

Эмори. Розалинда, еще один такой вечер — и силы мои кончатся. Ты уже четыре дня такая. Влей в меня хоть немножко бодрости, а то я не могу ни работать, ни есть, ни спать. *(Беспомощно озирается, точно в поисках новых слов взамен старых, сносившихся.)* С чего-то надо начать. Начинать вместе — это даже лучше. *(Отклика нет, и наигранная уверенность покидает его.)* В чем дело? *(Рывком встает и ходит по комнате.)* Это все Досон Райдер, я знаю. Он изматывает тебе нервы. Ты всю эту неделю каждый день с ним виделась. Люди мне говорят, что видели вас вместе, а я должен улыбаться, кивать и делать вид, что для меня это не имеет ни малейшего значения. А ты за все это время не нашла нужным ничего мне рассказать.

Розалинда. Эмори, если ты не сядешь, я закричу.

Эмори *(садясь с ней рядом)*. О господи!

Розалинда *(беря его за руку, мягко)*. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю.

Эмори. Да.

Розалинда. И что буду тебя любить всегда...

Эмори. Не надо так говорить. Ты меня пугаешь. Как будто нам предстоит расстаться.

Она опять заплакала, встала и перешла с дивана на кресло.

Я весь день чувствовал сегодня, как что-то ускользает. На работе я чуть с ума не сошел, не мог написать ни строчки. Расскажи мне все.

Розалинда. Да правда же, нечего рассказывать. Я просто нервничаю.

Эмори. Розалинда, ты прикидываешь, не выйти ли замуж за Досона Райдера.

Розалинда *(после паузы)*. Он сегодня весь день меня об этом просил.

Эмори. У него-то, видно, нервы крепкие.

Розалинда *(снова после паузы)*. Он мне нравится.

Эмори. Не говори так. Мне больно.

Розалинда. Не дури. Ты же знаешь, что, кроме тебя, я никого не любила и не буду любить.

Эмори. Розалинда, давай поженимся — на будущей неделе.

Розалинда. Это невозможно.

Э м о р и. Почему?

Р о з а л и н д а. Невозможно. Это значит, мне стать твоей рабыней — в какой-нибудь гадкой дыре.

Э м о р и. У нас будет двести семьдесят пять долларов в месяц.

Р о з а л и н д а. Дорогой мой, я обычно даже не причесываюсь сама.

Э м о р и. Я буду тебя причесывать.

Р о з а л и н д а *(со смешком, похожим на всхлип)*. Спасибо.

Э м о р и. Розалинда, я не верю, что ты можешь думать о браке с кем-то другим. Ты что-то от меня скрываешь. Скажи мне! Если скажешь, я помогу тебе с этим справиться.

Р о з а л и н д а. Все дело... в нас. Мы жалкие, вот и все. Именно из-за тех качеств, которые я в тебе люблю, ты всегда останешься неудачником.

Э м о р и *(угрюмо)*. Ну, дальше.

Р о з а л и н д а. О, ну хорошо, Да, всему виной Досон Райдер. Он такой надежный. Чувствуется, что он мог бы стать... хорошим фоном.

Э м о р и. Ты его не любишь.

Р о з а л и н д а. Не люблю, но зато уважаю, он хороший человек и сильный.

Э м о р и *(неохотно соглашаясь)*. Да, этого у него не отнимешь.

Р о з а л и н д а. Ну вот, хотя бы такой пример. Во вторник мы встретили в Райе какого-то бедного мальчика, и, знаешь, Досон посадил его к себе на колени, разговаривал с ним и пообещал подарить ему индейский костюм — а на следующий день вспомнил и купил ему костюм и... и так это получилось заботливо, и я невольно подумала, как он хорошо относился бы к... нашим детям, заботился бы о них, и мне не о чем было бы тревожиться.

Э м о р и *(в отчаянии)*. Розалинда, Розалинда!

Р о з а л и н д а *(чуть лукаво)*. Не напускай на себя такой страдальческий вид.

Э м о р и. Какую боль мы способны причинять друг другу!

Р о з а л и н д а *(опять заливается слезами)*. Это было так замечательно — ты и я. Так похоже на то, о чем я мечтала и боялась, что никогда не найду. Первый раз, что я думала не о себе. И я не могу допустить, чтобы это чувство увяло в серой, тусклой атмосфере.

Э м о р и. Не увянет оно, не увянет!

Розалинда. Лучше сохранить его как прекрасное воспоминание, упрятанное глубоко в сердце.

Эмори. Да, женщины это умеют, но мужчины — нет. Я бы всегда помнил не то, как это было прекрасно, пока длилось, а только горечь, неизбывную горечь.

Розалинда. Не надо!

Эмори. Никогда больше не видеть тебя, не целовать — словно ворота захлопнули и задвинули засов,— ты просто боишься стать моей женой.

Розалинда. Нет, нет, я выбираю более трудный путь, более решительный. Наш брак был бы неудачей, а я неудачницей не была и не буду... Если ты не перестанешь ходить взад-вперед, я закричу!

Он снова в изнеможении опускается на диван.

Эмори. Поди сюда и поцелуй меня.

Розалинда. Нет.

Эмори. Ты не хочешь меня поцеловать?

Розалинда. Сегодня я хочу, чтобы ты любил меня спокойно, издали.

Эмори. Начало конца.

Розалинда *(в интуитивном озарении)*. Эмори, ты еще очень молод. И я молода. Сейчас нам прощают наши позы, нашу дерзость, то, что мы никого не уважаем, и это нам сходит с рук. Но тебя ждет в жизни много щелчков...

Эмори. И ты боишься, что заодно они достанутся и тебе.

Розалинда. Нет, не этого я боюсь. Где-то я читала одни стихи... Ты скажешь — Элла Уилер Уилкокс, и посмеешься, но вот послушай:

В этом и мудрость — любить и жить,
Брать, что судьба решит подарить,
Не молиться, вопросов не задавать,
Гладить кудри, уста целовать,
Плыть, куда страсти несет поток,
Обладать — и проститься, чуть минет срок.

Эмори. Но мы-то не обладали!

Розалинда. Эмори, я твоя, ты это знаешь. За последний месяц бывали минуты, когда я стала бы совсем твоей, если б ты захотел. Но я не могу выйти за тебя замуж и загубить и твою жизнь и свою.

Эмори. Надо рискнуть — может, и будет счастье.

Розалинда. Досон говорит, что я научусь его любить.

Эмори, опустив лицо в ладони, сидит неподвижно. Жизнь словно покинула его.

Любимый! Я не могу с тобой и не могу представить себе жизнь без тебя.

Эмори. Розалинда, мы раздражаем друг друга. Просто у нас обоих нервы не в порядке, и эта неделя...

Голос у него словно состарился. Она подходит к нему и, взяв его лицо в ладони, целует.

Розалинда. Не могу, Эмори. Не могу я жить, отгороженная от цветов и деревьев, запертая в маленькой квартирке, и ждать тебя целыми днями. Ты бы меня возненавидел в этом спертом воздухе. И я же была бы виновата.

Снова ее ослепили неудержимые слезы.

Эмори. Розалинда.

Розалинда. Ох, милый, уходи. А то будет еще труднее. Я больше не могу...

Эмори *(лицо его осунулось, голос напряжен)*. Ты думаешь, что говоришь? Значит, это навсегда?

Оба страдают, но по-разному.

Розалинда. Неужели ты не понимаешь?

Эмори. Не понимаю, если ты меня любишь. Тебе страшно вместе со мной на два года смириться с некоторыми трудностями.

Розалинда. Я была бы уже не той Розалиндой, которую ты любишь.

Эмори *(на грани истерики)*. Не могу я от тебя отказаться! Не могу, и все тут. Ты должна быть моей.

Розалинда *(с жесткой ноткой в голосе)*. А теперь ты говоришь, как ребенок.

Эмори *(закусив удила)*. Ну и пусть! Ты нам обоим испортила жизнь.

Розалинда. Я выбрала разумный путь, единственно возможный.

Эмори. И ты выйдешь за Досона Райдера?

Розалинда. Не спрашивай. Ты же знаешь, в некоторых отношениях я уже немолода, но в других... в других я, как маленькая девочка. Люблю солнце, и красивые вещи, и чтоб было

весело, и до смерти боюсь ответственности — не хочу думать про кухню, про кастрюли и веники. Мои заботы — это загорят ли у меня ноги, когда я летом поеду на море.

Эмори. Но ты меня любишь.

Розалинда. Поэтому-то и нужно кончать. Неопределенность — это так больно. Такой сцены, как сегодня, мне больше не выдержать. *(Снимает с пальца кольцо и протягивает ему.)*

Глаза у обоих снова наполняются слезами.

Эмори *(целуя ее в мокрую щеку)*. Не надо! Сохрани его, ну пожалуйста! Не разбивай мне сердце!

Она мягко вдавливает кольцо ему в ладонь.

Розалинда *(безнадежно)*. Уйди, прошу тебя, Эмори. Прощай... *(Бросает на него еще один взгляд, полный бесконечного сожаления, бесконечной тоски.)* Не забудь меня, Эмори...

Эмори. Прощай...

Он идет к двери, как слепой ищет ручку, находит; она видит, как он вскидывает голову, и вот он ушел. Ушел — она приподнимается, потом падает на диван, лицом в подушки.

Розалинда. О господи, лучше умереть!

Через минуту встает и с закрытыми глазами пробирается к двери. Потом еще раз окидывает взглядом комнату. Здесь они сидели и мечтали: в этот подносик она столько раз насыпала ему спичек; этот абажур они в какое-то блаженно долгое воскресенье предусмотрительно опустили. С блестящими от слез глазами она стоит и вспоминает, потом произносит вслух:

Эмори, дорогой мой, что же я с тобой сделала!

И глубже, чем боль и грусть, которые со временем пройдут, в ней живет чувство, что она что-то потеряла — неведомо что, неведомо как.

Глава II

МЕТОДЫ ИЗЛЕЧЕНИЯ

В баре «Никкербокер», на который с широкой улыбкой взирал многоцветный, веселый «Старый дедушка Коль» работы Максфилда Пэрриша, было людно. Эмори, войдя, остановился и посмотрел на часы: ему необходимо было узнать точное

время, присущая ему любовь к перечням и рубрикам требовала отчетливости во всем. Когда-нибудь ему доставит смутное удовлетворение мысль, что «это кончилось ровно в двадцать минут девятого в четверг, десятого июня 1919 года». Было учтено и то, сколько времени он шел сюда от ее дома,— путь, который затем начисто выпал из его памяти.

Он пребывал в каком-то непонятном состоянии. После двух суток непрестанной нервной тревоги, без еды и без сна, завершившихся раздирающей сценой и неожиданно твердым решением Розалинды, его мозг погрузился в спасительное забытье. Он неуклюже рылся в маслинах у стола с бесплатной закуской и, когда к нему подошел и заговорил с ним какой-то человек, выронил маслину из трясущихся пальцев.

— Кого я вижу, Эмори...

Кто-то знакомый по Принстону. Фамилия? Хоть убей, не вспомню.

— Здорово, дружище,— услышал он собственный голос.

— Джим Уилсон. Ты, я вижу, забыл.

— Ну как же, Джим. Конечно, помню.

— На встречу собираешься?

— Еще бы.— И тут же сообразил, что на встречу однокашников он не собирается.

— За морем побывал?

Эмори кивнул, уставясь в пространство. Отступив на шаг, чтобы дать кому-то дорогу, он сшиб на пол тарелку с маслинами, и она звеня разлетелась на куски.

— Жалость какая,— пробормотал он.— Выпьем?

Уилсон, изображая тактичность, похлопал его по спине.

— Ты уже и так набрался, старина.

Эмори в ответ только посмотрел на него, и Уилсону стало не по себе от этого взгляда.

— Набрался, говоришь? — произнес наконец Эмори.— Да у меня сегодня капли во рту не было.

Уилсон явно ему не поверил.

— Так выпьем или нет? — грубо крикнул Эмори.

Они двинулись к стойке.

— Виски.

— Мне — «Бронкс».

Уилсон выпил еще одну, Эмори — еще несколько. Они решили посидеть за столиком. В десять часов Уилсона сменил Карлинг из выпуска 15-го года. У Эмори блаженно кружилась голова, мягкое довольство слой за слоем ложилось на душевные увечья, и он без удержу разглагольствовал о войне.

— П-пустая трата духовных сил,— твердил он с тяжеловесным апломбом.— Д-два года жизни в интеллектуальном вакууме. Был идеалист, мечтатель, стал животное.— Он выразительно погрозил кулаком «Дедушке Колю».— Стал пруссаком, насчет женщин в особенности. Раньше я с женщинами по-честному, теперь плевать на них хотел.— В доказательство своей беспринципности он широким жестом смахнул со стула бутылку сельтерской, уготовив ей громкую гибель на полу, но это не помешало ему продолжать: — Лови момент, завтра умрем. В-вот какая у меня теперь философия.

Карлинг зевнул, но Эмори уже не мог унять свое красноречие.

— Раньше хотел понять, откуда компромиссы, половинчатая позиция в жизни. Теперь не хочу понимать, не хочу...

Он так старался внушить Карлингу, что не хочет ничего понимать, что утерял нить своих рассуждений и еще раз объявил во всеуслышание, что он теперь «животное, и точка».

— Ты какое событие празднуешь, Эмори?

Эмори доверительно склонился над столиком.

— Праздную крах всей своей ж-жизни. Величайшее событие. Рассказать про это не могу...

Он услышал, как Карлинг окликнул бармена:

— Дайте стакан бромо-зельцера.

Эмори возмущенно замотал головой:

— Н-не желаю!

— Но послушай, Эмори, тебе сейчас станет дурно. На тебе лица нет.

Эмори обдумал эти слова. Хотел посмотреть на себя в зеркале за стойкой, но, даже скосив глаза, не увидел ничего дальше ряда бутылок.

— Мне бы чего-нибудь пожевать,— сказал он.— Пойдем поищем чего-нибудь п-пожевать.

Движением плеч он поправил пиджак с потугой на небрежность манер, но, едва отнял руку от стойки, мешком свалился на стул.

— Пошли через дорогу к «Шенли»,— предложил Карлинг, подставляя ему локоть.

С его помощью Эмори заставил свои ноги кое-как пересечь Сорок вторую улицу.

У «Шенли» все было в тумане. Он смутно сознавал, что громко и, как ему казалось, очень четко и убедительно толкует о своем желании раздавить кое-кого каблуком. Уничтожил

три огромных сандвича, жадно и быстро, словно три шоколадные конфеты. Потом в сознание снова стала наведываться Розалинда, а губы беззвучно повторяли и повторяли ее имя. А потом его стало клонить ко сну, и ум лениво, равнодушно отметил, что к их столику стягиваются мужчины во фраках, скорей всего — официанты...

...Он был в какой-то комнате, и Карлинг что-то говорил про узел на шнурках.

— Б-брось,— едва выговорил он сквозь дремоту.— Буду спать так...

Все еще в винных парах

Он проснулся, смеясь, и лениво обвел глазами комнату— очевидно, номер с ванной в хорошем отеле. Голова у него гудела, картина за картиной складывалась, расплывалась и таяла перед глазами, не вызывая, однако, никакого отклика, кроме желания посмеяться. Он потянулся к телефону на тумбочке.

— Алло, это какой отель?.. «Никкербокер»? Отлично. Пришлите в номер два виски.

Он еще полежал, зачем-то гадая, что ему пришлют — бутылку или просто два стакана, уже налитых. Потом с усилием выбрался из постели и зашлепал в ванную.

Когда он вышел оттуда, неспешно растираясь полотенцем, официант уже был в комнате, и Эмори вдруг захотелось его разыграть. Подумав, он решил, что это будет дешево, и жестом отпустил его.

От первых же глотков алкоголя он согрелся, и разрозненные картины стали медленно складываться в киноленту о вчерашнем дне. Снова он увидел Розалинду, как она плакала, зарывшись в подушки, снова почувствовал ее слезы на своей щеке. В ушах зазвучали ее слова: «Не забудь меня, Эмори, не забудь...»

— Черт! — выдохнул он, и поперхнулся, и рухнул на постель, скрученный судорогой горя. Но через минуту открыл глаза и устремил взгляд к потолку.— Идиот несчастный! — воскликнул он гадливо, вздохнул всей грудью, встал и пошел к бутылке. А выпив еще стакан, дал волю облегчающим слезам. Он нарочно вызывал к жизни мельчайшие воспоминания сгинувшей весны, облекал эмоции в слова, чтобы растравить свою боль.

— Мы были так счастливы,— декламировал он,— так безмерно счастливы.— И, захлебнувшись, опустился на колени возле кровати, лицом в подушку.— Родная моя девочка... родная... О...

Он так стиснул зубы, что слезы ручьем хлынули из глаз.

— Девочка моя, самая хорошая, единственная... Вернись ко мне, вернись... Ты так мне нужна... Мы такие жалкие... столько страданий причинили друг другу... Ее спрячут от меня... Я не смогу ее видеть, не могу быть ей другом.... Так суждено... суждено...

И опять сызнова:

— Мы были так счастливы, так безмерно счастливы...

Он встал и бросился на кровать в пароксизме чувства и тут постепенно сообразил, что накануне вечером был сильно пьян и что мозги у него опять завихряются. Он рассмеялся, встал и побрел к бутылке...

В полдень он встретил подходящую компанию в баре отеля «Билтмор», и все началось сначала. Позже ему смутно вспоминалось, что он рассуждал о французской поэзии с английским офицером, которого ему представили так: «Капитан Корн его величества пехоты»; что за завтраком он пытался прочесть вслух «Clair de lune»[1]; потом проспал в глубоком мягком кресле почти до пяти часов, когда его обнаружила и разбудила уже другая компания. Последовала пьяная подготовка несходных темпераментов к тягостному ритуалу обеда. У Тайсона они купили билеты на спектакль с тремя антрактами для выпивки — спектакль всего с двумя монотонными голосами, с мутными, мрачными сценами и световыми эффектами, за которыми было нелегко уследить, когда глаза вели себя так странно. Впоследствии он решил, что это, по-видимому, была «Шутка»...

Потом — «Кокосовая пальма», где Эмори опять поспал на балкончике... Еще позже, у «Шенли», он стал мыслить почти последовательно и, педантично ведя счет выпитым коктейлям, сделался очень прозорлив и разговорчив. Выяснилось, что их компания состоит из пяти мужчин, из которых двое ему слегка знакомы; он заявил, что намерен нести свою долю расходов, как честный человек, и громко твердил, что рассчитаться надо немедленно,— чем вызвал шумное веселье за соседними столиками...

Кто-то упомянул, что в зале сидит известная звезда эстрады, и Эмори, встав с места, подошел к ней и гала́нтно представил-

[1] «Лунный свет» (*фр.*) — стихотворение Верлена.

ся... Тут же он оказался втянут в спор сперва с ее кавалером, а затем с метрдотелем, причем сам он держался чуть надменно и изысканно вежливо... и, поддавшись на неоспоримо логичные доводы, согласился, чтобы его отвели обратно к его столику.

— Решил покончить с собой,— объявил он ни с того ни с сего.

— Когда? В будущем году?

— Теперь же. Завтра утром. Сниму номер в «Коммодоре», залезу в горячую ванну и вскрою вену.

— Ну и разговорчики!

— Вам бы еще стаканчик выпить, старина.

— Обсудим это завтра.

Но Эмори не желал ничего слушать — он желал говорить.

— С вами так бывает? — вопросил он театральным шепотом.

— А как же!

— И часто?

— У меня это хроническое.

Последовала дискуссия. Один из собутыльников сказал, что порой ему бывает до того скверно, что он серьезно об этом подумывает. Другой согласился, что жить, собственно, не для чего, «капитан Корн», каким-то образом снова оказавшийся среди них, высказал мнение, что обычно так чувствуешь себя, когда плохо со здоровьем. Эмори внес предложение — заказать по «Бронксу», намешать туда битого стекла и выпить залпом. К тайной его радости, никто этой идеи не поддержал, и тогда он, допив бокал, подпер подбородок ладонью, а локоть поставил на стол, уверив себя, что так можно поспать, грациозно и почти незаметно, и застыл в оцепенении.

Проснулся он от того, что в него вцепилась женщина — очень хорошенькая, синеглазая, с растрепанными темными волосами.

— Проводи меня домой! — взмолилась она.

— Что такое? — спросил Эмори, моргая.

— Ты мне нравишься,— сообщила она нежно.

— Ты мне тоже.

Он заметил, что на заднем плане маячит какой-то горластый мужчина, а ему самому толкует что-то один из его компании.

— Этот, с которым я пришла,— болван,— пояснила синеглазая.— Ну его. Отвези меня домой.

— Напилась? — осведомился Эмори, воплощенное благоразумие.

Она застенчиво кивнула.

— Поезжай домой с ним,— посоветовал он веско.— С кем пришла, с тем и поезжай.

Тут горластый мужчина на заднем плане вырвался из удерживавших его рук и приблизился.

— Эй! — произнес он злобно.— Эта девушка со мной, чего встреваешь?

Эмори окинул его холодным взглядом, а девушка вцепилась в него крепче прежнего.

— Отпусти девушку! — крикнул горластый.

Эмори постарался сделать грозные глаза.

— Подите вы к черту,— постановил он наконец и перенес свое внимание на девушку.

— Любовь с первого взгляда? — предположил он.

— Я тебя люблю,— шепнула она, прижимаясь к нему.

А глаза у нее и правда были красивые.

Кто-то, наклонившись, сказал ему на ухо:

— Это же Маргарет Даймонд. Она напилась, а пришла сюда с этим типом. Оставьте ее в покое.

— Так пусть он о ней и заботится! — яростно выкрикнул Эмори.— Я не нанимался следить за ее нравственностью!

— Оставьте ее в покое!

— Она сама, черт возьми, на мне повисла. Ну и пусть висит!

Все больше людей теснилось вокруг столика. Драка уже казалась неизбежной, но тут проворный официант разогнул пальцы Маргарет Даймонд, и та, выпустив Эмори, залепила официанту пощечину, а потом бросилась на шею своему взбешенному кавалеру.

— О господи! — воскликнул Эмори.

— Пошли!

— Живо, а то и такси не достанешь!

— Официант, счет!

— Пошли, Эмори. Кончился твой романчик.

Эмори расхохотался.

— Знали бы вы, до чего вы правы! Да откуда вам знать. В этом-то все и горе.

Эмори о производственных отношениях

Через два дня, явившись с утра в рекламное агентство «Баском и Барлоу», он постучал в кабинет директора.

— Войдите.

Эмори вошел нетвердой походкой.

— Доброе утро, мистер Барлоу.

— А-а, мистер Блейн. Мы вас уже несколько дней не видели.

— Да,— сказал Эмори.— Я увольняюсь.

— В самом деле? Это, знаете ли...

— Мне здесь не нравится.

— Очень сожалею. Мне казалось, наши отношения как раз... э-э... налаживаются. Вы производили впечатление старательного работника, немного, может быть, увлекающегося...

— А мне надоело,— грубо перебил его Эмори.— Мне в высокой степени наплевать, чья детская мука самая питательная, Хэрбелла или кого другого. Я ее и не пробовал. И расписывать ее другим мне надоело... Да, у меня был запой, знаю.

Лицо у мистера Барлоу посуровело на несколько делений.

— Вы просили работы...

Эмори не дал ему говорить:

— И платили мне безобразно мало. Тридцать пять долларов в неделю, меньше, чем хорошему плотнику.

— Вы только начинали. А раньше вообще еще не работали,— хладнокровно возразил мистер Барлоу.

— Но на мое образование потратили десять тысяч долларов, чтобы я мог писать для вас эту белиберду. А если говорить о стаже, так у вас некоторые стенографистки уже пять лет получают пятнадцать монет в неделю.

— Я не намерен вступать с вами в споры, сэр,— сказал мистер Барлоу, вставая.

— Я тоже. Просто хотел вам сообщить, что увольняюсь.

С минуту они постояли, невозмутимо глядя друг на друга, потом Эмори повернулся и вышел.

Передышка

Спустя еще четыре дня он наконец вернулся в свою квартиру. Том сочинял рецензию для «Новой демократии», где он теперь был штатным сотрудником. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Ну?

— Ну?

— Боже мой, Эмори, где ты заработал синяк под глазом? И скула...

Эмори расхохотался.

— Это еще что, пустяки! — Он стянул пиджак и обнажил плечи.— Гляди!

Том присвистнул.

— Что на тебя свалилось?

Эмори опять расхохотался.

— Да много всяких людей. Меня избили. Факт.— Он привел в порядок сорочку.— Рано или поздно это должно было случиться, а переживание ценнейшее.

— Кто они были?

— Ну, скорей всего, официанты, и парочка матросов, и несколько случайных прохожих. Удивительное ощущение. Стоит попробовать, хотя бы для обогащения опыта. В какой-то момент валишься с ног, и, пока ты не упал, каждый норовит ударить еще раз, а когда упал — пинают.

Том закурил.

— Я целый день гонялся за тобой по городу, но ты все время от меня ускользал. Воображаю, в какой компании.

Эмори плюхнулся на стул и попросил сигарету.

— Сейчас ты трезвый? — язвительно спросил Том.

— Более или менее. А что?

— Так вот слушай. Алек съехал. Родные уже сколько времени его допекали, чтобы жил дома, вот он и...

У Эмори больно сдавило горло.

— Жалость какая.

— Да, жаль. Если мы останемся здесь, надо подыскивать кого-нибудь другого. Плата за квартиру растет.

— Правильно. Подыщи-ка кого-нибудь, Том. Я заранее согласен.

Эмори прошел в свою комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был снимок Розалинды, который он собирался окантовать, а пока поставил на комод, прислонив к зеркалу. При виде его Эмори ничего не почувствовал. После тех живых портретов, что рисовала ему память, снимок казался нереальным, мертвым. Он вернулся в общую комнату.

— У тебя нет какой-нибудь картонки?

— Нет,— ответил Том удивленно.— Откуда у меня картонки? Впрочем, погоди, может быть, у Алека осталась.

Эмори нашел-таки, что искал, и, вернувшись к комоду, выдвинул ящик, где лежали письма, записки, обрывок цепочки, два крошечных носовых платка и несколько любительских

снимков. Пока он аккуратно перекладывал все это в картонку, ему вспомнилось место из какой-то книги, когда герой, после того как целый год хранил кусок мыла, некогда принадлежавший его неверной возлюбленной, моет им руки. Он засмеялся, стал было напевать «Когда ты уедешь»... Умолк на полуслове.

Бечевка два раза рвалась, но он с ней справился, бросил коробку на дно чемодана, щелкнул замком и вернулся к Тому.

— Уходишь? — В голосе Тома скрывалась тревога.

— Угу.

— Куда?

— Сам не знаю, старик.

— Давай пообедаем вместе.

— Я бы с удовольствием, да уже сговорился пообедать со Сьюки Бреттом.

— Понятно.

— Пока.

В кафе напротив он пропустил коктейль, потом дошел до Вашингтон-сквер и залез на империал автобуса. Сошел он у Сорок третьей улицы и ввалился в бар отеля «Билтмор».

— Ого! Эмори!

— Что будешь пить?

— Официант, сюда!

Температура нормальная

«Сухой закон» разом положил конец попыткам Эмори утопить горе в вине, и когда он, проснувшись однажды утром, обнаружил, что дни хождений из бара в бар миновали, он не почувствовал ни раскаяния за эти безумные три недели, ни сожаления о том, что повторить их невозможно. Он понимал, что выбрал самый жестокий, хоть и самый пассивный, путь, чтобы защититься от кинжала памяти, и, хотя другим он не порекомендовал бы такой способ самозащиты, своей цели он в конце концов достиг — первый приступ боли остался позади.

Поймите его правильно. Эмори любил Розалинду, как ему не суждено было полюбить никого другого. Она забрала себе первое цветение его молодости, извлекла из немереных глубин его существа нежность, поразившую его самого, мягкость и самоотречение, которыми он еще никого не дарил. У него и потом бывали романы, но иного рода — когда он вновь занимал более, вероятно, типичную для него позицию, видя в женщине только зеркало собственного настроения. Розалинда

пробудила в нем нечто большее, чем страстное восхищение. К Розалинде он сохранил глубокое, неумирающее чувство.

Но к концу их отношения обрели такой трагический накал, вылившийся в причудливый кошмар его трехнедельного загула, что эмоционально он был опустошен. Убежище, казалось, сулили люди и отношения, которые запомнились ему как тихие либо утонченно искусственные. Он написал рассказ, в котором в циничных тонах изобразил похороны своего отца, и, отослав его в журнал, получил в ответ чек на шестьдесят долларов и просьбу присылать еще материал в таком же духе. Это польстило его тщеславию, но на дальнейшие усилия не подвигло.

Он запоем читал. Был озадачен и угнетен «Портретом художника в молодости»; с огромным интересом проглотил «Неугасимый огонь» и «Джоун и Питер»; не без удивления открыл, с помощью критика по фамилии Менкен, несколько превосходных американских романов: «Вандовер и Зверь», «Проклятие Терона Уэра», «Дженни Герхардт». Маккензи, Честертона, Голсуорси, Беннета он воспринимал уже не как прозорливых, вскормленных жизнью гениев, а всего лишь как занятных современников. Только отрешенная ясность и блестящая логика Шоу и неистовое стремление Уэллса подобрать ключ романтического единства к вечно меняющемуся замку правды не переставали пленять его.

Ему хотелось повидать монсеньора Дарси, которому он написал, вернувшись из Франции, но не получил ответа. К тому же он знал, что свидеться с монсеньором означало бы рассказать о Розалинде, а одна эта мысль приводила его в содрогание.

В поисках тихих людей он вспомнил про миссис Лоренс, очень неглупую, очень достойную леди, принявшую католичество и глубоко преданную монсеньору.

Однажды он позвонил ей по телефону. Да, она прекрасно его помнит, нет, монсеньор сейчас в отъезде, кажется — в Бостоне; обещал, когда вернется, у нее пообедать. А может быть, Эмори навестит ее как-нибудь на этих днях?

— Я решил не терять времени,— не очень ловко начал он, входя в ее гостиную.

— Монсеньор был здесь на прошлой неделе,— с сожалением сказала миссис Лоренс.— Он тоже мечтал с вами встретиться, но забыл дома ваш адрес.

— Он уж не опасается ли, что я ударился в большевизм? — с интересом спросил Эмори.

— Ох, ему сейчас очень трудно.

— Почему?

— Из-за Ирландской республики. Он считает, что ей недостает собственного достоинства.

— В самом деле?

— Когда приезжал ирландский президент, он тоже поехал в Бостон и был чрезвычайно расстроен, потому что члены приемного комитета, когда ехали с президентом в автомобиле, все время тянулись его обнимать.

— Бедный монсеньор, я его понимаю.

— Расскажите, какие у вас остались самые сильные впечатления от пребывания в армии? Внешне вы сильно изменились.

— Это следы другой, более опустошительной битвы,— отвечал он с невольной улыбкой.— А что касается армии — что ж, я установил, что физическая храбрость во многом зависит от того, насколько физически тренирован человек. Убедился, что сам я не более и не менее храбр, чем другие,— раньше я боялся, что окажусь трусом.

— Что еще?

— Еще — вывод, что человек может выдержать что угодно, если привыкнет, и что я хорошо сдал экзамен по психологии.

Миссис Лоренс посмеялась. Эмори испытывал огромное облегчение от того, что находится в этом тихом доме на Риверсайд-Драйв, вдали от более скученных кварталов Нью-Йорка, где людям словно бы некуда выдыхать отработанный легкими воздух. Миссис Лоренс чем-то напоминала ему Беатрису — не темпераментом, но безупречной грацией и уверенностью манер. Дом, обстановка, ритуал обеда — все являло разительный контраст с тем, что он видел в поместьях богачей на Лонг-Айленде, где слуги были так назойливы, что их приходилось буквально отталкивать, или даже в более традиционных семействах, примыкавших к почтенному старому «Юнион-клубу». Он задумывался над тем, откуда взялась эта благопристойная сдержанность, это изящество, в котором ему чудилось что-то неамериканское,— было ли все это унаследовано миссис Лоренс от предков, поколениями живших в Новой Англии, или приобретено во время длительного пребывания в Италии и Испании?

После двух бокалов сотерна язык у него развязался, и, чувствуя, что к нему возвращается былое обаяние, он свободно за-

говорил о религии, литературе, опасных социальных тенденциях. Миссис Лоренс как будто осталась им довольна, и особенно ее заинтересовал его склад ума, а ему как раз и хотелось, чтобы людей снова привлек его ум — через какое-то время это могло стать уютным прибежищем.

— Монсеньор Дарси до сих пор считает, что вы — его новое воплощение, что в конце концов ваша вера оформится.

— Возможно,— отозвался он.— Сейчас-то я в некотором роде язычник. В моем возрасте всем, вероятно, кажется, что религия не имеет ни малейшего отношения к жизни.

Простившись с ней, он шел по Риверсайд-Драйв душевно удовлетворенный. Забавно было опять побеседовать на такие темы, как интересный молодой поэт Стивен Винсент Боне или Ирландская республика. В последние месяцы, из-за пошлых взаимных обвинений Карсона и судьи Кохалона, весь ирландский вопрос изрядно ему опротивел, а ведь было время, когда он строил свою жизненную философию именно на кельтских чертах собственного характера.

Он вдруг почувствовал, что в жизни еще много чего осталось, если только пробуждение прежних интересов не означало, что он движется вспять — вспять от самой жизни.

Метания

— Я trés[1] стар, и мне trés скучно, Том,— сказал однажды Эмори, с удобством растянувшись на кушетке у окна. В лежачем положении он всегда чувствовал себя лучше.— Ты был занятным собеседником, пока не начал писать,— продолжал он.— А теперь держишь при себе любую мысль, если есть шансы ее напечатать.

Существование снова устоялось на нормальном безвзлетном уровне. Они решили, что при известной экономии им хватит денег платить за эту квартиру, к которой Том, домоседливый, как кошка, успел привязался. Старые английские гравюры — сцены охоты — принадлежали Тому, так же как и большой гобелен — реликвия декадентских увлечений студенческих лет, и множество опустевших подсвечников, и резного дерева стульчик в стиле Людовика XV, с которого все через минуту вскакивали от невыносимой боли в спине,— Том объяснял это тем, что сидеть приходилось на коленях у призра-

[1] Очень (*фр.*).

ка мадам де Монтеспан*,— так или иначе, именно имущество Тома обусловило их решение остаться на этой квартире.

Выходили они очень мало: изредка в театр или пообедать в «Рице» либо в Принстонском клубе. «Сухой закон» нанес смертельные раны обычным местам веселых сборищ; уже нельзя было заглянуть в бар отеля «Билтмор» хоть в пять, хоть в двенадцать часов, с уверенностью, что найдешь там родственные души, а танцевать с юными девицами из Нью-Джерси или со Среднего Запада в Розовом зале отеля «Плаза» ни Тома, ни Эмори не тянуло — они уже вышли из этого возраста, да к тому же и тут требовалось несколько коктейлей, «чтобы спуститься до интеллектуального уровня этих женщин», как выразился однажды Эмори, чем привел в ужас некую почтенную матрону.

От мистера Бартона Эмори получил несколько весьма неутешительных писем,— сдать дом в Лейк-Джинева оказалось нелегко, уж очень он велик; максимальной арендной платы, какую можно получить в этом году, хватит только на уплату налогов и самый необходимый ремонт; мнение поверенного сводилось к тому, что вся эта недвижимость обременительна и не нужна. Однако Эмори, даже готовый к тому, что в ближайшие три года не получит с нее ни цента, все же из каких-то сентиментальных соображений решил пока что дом не продавать.

Тот день, когда он объявил Тому, что ему скучно, мало чем отличался от других. Он встал в полдень, завтракал у миссис Лоренс и домой добрался своим любимым способом — на империале автобуса.

— А почему тебе не должно быть скучно? — зевнул Том.— Разве это не приличествует молодому человеку твоего возраста и положения?

— Так-то так,— задумчиво протянул Эмори,— но мне не только скучно. Мне неспокойно.

— Любовь и война тебя доконали.

— Ну, не знаю,— возразил Эмори.— Думается, война, как таковая, не оказала особенно сильного влияния ни на тебя, ни на меня, но прежние устои она, безусловно, разрушила, вроде как вытравила из нашего поколения всякий индивидуализм.

Том удивленно поднял голову.

— Да, да,— убежденно продолжал Эмори.— Может, она изо всех на свете его вытравила. О господи, как чудесно было когда-то мечтать, что я стану великим диктатором, или писателем, или религиозным или политическим вождем — а теперь даже какой-нибудь Леонардо да Винчи или Лоренцо ди Медичи

не мог бы по старинке прославиться на весь мир. Жизнь стала слишком огромной и сложной. Мир так разросся, что уже не в состоянии шевельнуть собственным пальцем, а я мечтал стать таким важным пальцем...

— Я с тобой не согласен,— перебил его Том.— Люди не оказывались в таком исключительном положении уже со времен... ну, скажем, со времен французской революции.

Эмори стал горячо возражать:

— Ты неправильно расцениваешь наше время. Сейчас каждый чудак — индивидуалист на период своего индивидуализма. Вильсон был силой, только пока он кого-то представлял; а сколько раз ему пришлось идти на компромисс. Даже Фош вполовину не такая значительная фигура, как Джексон Каменная Стена. Война когда-то была самым индивидуальным занятием, а между тем популярные военные герои не пользовались авторитетом и не знали ответственности. Гайнемер и сержант Йорк. Какому школьнику придет в голову выбрать в герои Першинга? У великого человека нет времени ни на что, кроме как быть великим.

— Так, по-твоему, героев в мировом масштабе вообще больше не будет?

— Будут — в истории, но не в жизни. Карлайлу было бы сейчас нелегко найти материал для новой главы в разделе «Герой как великий человек».

— Давай дальше. Я сегодня в настроении слушать.

— Люди сейчас так стараются верить в вождей, просто до умиления. Но стоит выдвинуться и завоевать популярность какому-нибудь борцу за реформы, или государственному деятелю, или писателю, или философу — будь то Рузвельт, или Толстой, или Вуд, или Шоу, или Ницше,— как его смывает прочь встречным течением уничтожающей критики. В наши дни никто не способен выдержать громкой славы. Это самый верный путь к забвению. Людям надоедает без конца слышать одно и то же имя.

— Выходит, во всем виновата пресса?

— Безусловно. Возьми хоть себя. Ты работаешь в «Новой демократии», она считается самым блестящим американским еженедельником, ее читают наши виднейшие деятели и проч. и проч. В чем же твоя задача? Да в том, чтобы как можно умнее, интереснее и язвительнее высказываться о любом человеке, учении, книге или политической теории, какие тебе поручают преподнести публике. Чем больше энергии и сарказма ты в это

вкладываешь, тем больше тебе платят, тем лучше расходится данный номер. Ты, Том Д'Инвильерс, несостоявшийся Шелли, изменчивый, верткий, умный, беспринципный, воплощаешь в себе критическую мысль нации... нет, не возражай, я знаю, о чем говорю. Я сам в университете писал рецензии на книги. И до чего же это было весело — человек честно, добросовестно пытается обосновать какую-то теорию или предложить лекарство, а ты клеймишь это как «легкое чтение для летнего времяпрепровождения». Попробуй скажи, что это не так.

Том рассмеялся, а Эмори с торжеством продолжал:

— Мы очень хотим верить. Молодые ученые стараются верить в своих предшественников, избиратели стараются верить в своих конгрессменов, страны стараются верить в своих государственных деятелей,— но они не могут верить. Слишком велика разноголосица, слишком велик разнобой нелогичной, непродуманной критики. А с газетами и вовсе дело дрянь. Богатый ретроград с тем особым хищным, стяжательским складом ума, который зовется финансовым гением, может стать владельцем газеты, а эта газета — единственная духовная пища для тысяч усталых, издерганных людей, неспособных в условиях современной жизни заглатывать ничего, кроме жвачки. За два цента избиратель покупает себе политические взгляды, предрассудки и мировоззрение. Через год политическая верхушка сменяется или газета переходит в другие руки — и что же? Снова путаница, снова противоречия, внезапный натиск новых идей, их смягчают, разбавляют водичкой, потом против них начинается реакция...

Он перевел дух.

— Вот поэтому я и зарекся писать что бы то ни было до тех пор, пока мои идеи либо устоятся, либо уж вовсе сгинут. У меня на душе и так достаточно грехов, не хватает еще, чтобы я забивал людям мозги пустышками в форме изящных афоризмов. Того и гляди, я бы толкнул какого-нибудь скромного, безобидного капиталиста на пошлую связь с бомбой или впутал юного невинного большевика в серьезный флирт с пулеметной лентой...

Том уже поеживался от этого пасквиля на его сотрудничество в «Новой демократии».

— Но какое это имеет отношение к тому, что тебе скучно?

Эмори считал, что самое непосредственное.

— Я-то при чем остаюсь? — вопросил он.— На что я годен? Множить потомство? Американские романы внушают нам, что «здоровый молодой американец» в возрасте от де-

вятнадцати до двадцати пяти лет — существо абсолютно бесполое. А на самом деле чем он здоровее, тем это большая ложь. Единственное спасение от этого — найти какой-нибудь всепоглощающий интерес в жизни. Ну, так вот: война кончилась; писать я не могу — слишком верю в ответственность, которую берет на себя писатель; а деловая жизнь — что о ней говорить. Она не связана ни с чем, что меня когда-либо интересовало, если не считать очень приблизительной, чисто утилитарной связи с экономикой. Но случись мне на ближайшие, лучшие десять лет моей жизни погрязнуть в конторской работе, интеллектуально это обогатило бы меня не больше, чем кинолента на индустриальную тему.

— А беллетристика? — предложил Том.

— Безнадежно. Когда я начинаю писать рассказ, меня угнетает, что я пишу, вместо того чтобы жить,— все время думаю, что жизнь-то, может быть, ждет меня в японском саду «Рица», или в Атлантик-Сити, или в трущобах Ист-Сайда. Да и вообще нет у меня к этому настоящей тяги. Я хотел быть просто нормальным человеком, но моя избранница не смогла стать на мою точку зрения.

— Найдешь другую.

— О черт! Забудь об этом думать. Ты еще скажешь, что, если бы девушка была стоящая, она бы меня дождалась? Нет, мой милый, девушка, которой действительно стоит добиваться, никого ждать не станет. Если б я думал, что найдется другая, я бы растерял последние остатки веры в человеческую природу. Развлекаться я, может быть, буду, но Розалинда — единственная на свете женщина, которая могла меня удержать.

— Ну ладно,— зевнул Том.— Я уже битый час выслушиваю твои признания. А все-таки я рад, что у тебя опять появились хоть какие-то резкие суждения.

— Да,— нехотя согласился Эмори.— И, однако, я не могу видеть счастливых семей — с души воротит.

— А счастливые семьи нарочно стараются произвести такое впечатление,— утешил его циник Том.

Том в роли цензора

Бывало и так, что слушал Эмори. Это случалось, когда Том, окутанный клубами дыма, принимался со смаком изничтожать американскую литературу. Ему не хватало слов, он захлебывался.

— Пятьдесят тысяч долларов в год! — восклицал он.— Боже мой, да кто они, кто они? Эдна Фербер, Говернор Моррис, Фанни Хербст, Мэри Робертс Рейнхарт — кто из них создал хотя бы один рассказ или роман, который еще будут помнить через десять лет? А этот Кобб — я не считаю его ни способным, ни занимательным, да и не думаю, чтобы многие его высоко ценили, разве что его издатели. Ему реклама ударила в голову. А уж эти... ах, Гарольд Белл Райт, ах, Зейн Грей...

— Они стараются по мере сил.

— Неправда, они даже не стараются. Некоторые из них умеют писать, но не дают себе труда сесть и создать хотя бы один честный роман. А по большей части они просто не умеют писать, тут я с тобой согласен. Я верю, что Руперт Хьюз старается нарисовать правдивую, широкую картину американской жизни, но стиль и угол зрения у него варварские. Эрнест Пул старается, и Дороти Кэнфильд тоже, но им мешает полное отсутствие чувства юмора; эти двое хоть пишут компактно, не рассусоливают. Каждый писатель должен бы писать каждую свою книгу так, будто в тот день, когда он ее закончит, ему отрубят голову.

— Это как понимать, фигурально?

— Не сбивай меня! Так вот, у некоторых как будто и культура есть, и ум, и литературная хватка, но они просто не желают писать честно, а оправдываются тем, что на хорошую литературу, мол, нет спроса. Тогда почему же, скажи на милость, у Уэллса, Конрада*, Голсуорси, Шоу, Беннета больше половины тиражей расходятся в Америке?

— А поэтов маленький Томми тоже не любит?

Том в отчаянии воздел руки, потом дал им бессильно повиснуть и тихо застонал.

— Я сейчас пишу на них сатиру, называется «Бостонские барды и херстовские обозреватели».

— А ну почитай,— с интересом попросил Эмори.

— Пока у меня написан только конец.

— Что ж, это очень современно. Прочти конец, если он смешной.

Том извлек из кармана сложенный лист бумаги и стал читать, делая паузы, чтобы было ясно, что это свободный стих.

Итак,
Уолтер Аренсберг,
Альфред Креймборг,

Карл Сэндберг,
Луис Унтермайер,
Юнис Тийенс,
Клара Шанафельт,
Джеймс Оппенгейм,
Максуэлл Боденгейм,
Ричард Глензер,
Шармел Айрис,
Конрад Эйкен,
Я включаю сюда ваши имена,
Чтобы вы жили,
Пусть только как имена,
    В разделе «Ювенилии»
    Моего полного собрания сочинений.

Эмори покатился со смеху.

— Здорово! За беспримерную наглость двух последних строк приглашаю тебя пообедать.

Эмори не мог бы подписаться под огульным разносом, который Том учинял американским писателям и поэтам. Он любил и Вэчела Линдзи*, и Бута Таркингтона, восхищался изощренным, хоть и неглубоким, артистизмом Эдгара Ли Мастерса*.

— Что я ненавижу, так это их идиотские бредни насчет «Я бог — я человек — я оседлал бурю — я видел сквозь дым — я сила жизни».

— Ужас!

— И хорошо бы американские прозаики отказались от попыток романтизировать бизнес. Никому не интересно про это читать, если только бизнес не мошеннический. Будь это интересная тема, люди читали бы биографию Джеймса Дж. Хилла*, а не эти длиннющие конторские трагедии, где все толкуют о вреде дыма...

— А мрачность! — подхватил Том.— Вот еще один из любимых мотивов, хотя тут, надо признать, пальма первенства у русских. Наша специальность — это истории про маленьких девочек, которые ломают позвоночник, после чего их усыновляют брюзгливые старики, потому что они все время улыбаются. Можно подумать, что мы — нация неунывающих калек, а у русских крестьян одна общая цель — самоубийство.

— Шесть часов,— сказал Эмори, взглянув на часы.— Пошли, угощу тебя роскошным обедом за ювенилии твоего полного собрания сочинений.

Взгляд в прошлое

Июль изнемог от последней особенно жаркой недели, и Эмори, снова не находя себе места, подсчитал, что прошло ровно пять месяцев с того дня, когда он впервые увидел Розалинду. Впрочем, ему уже трудно было почувствовать себя тем молодым человеком, который сошел с военного транспорта, свободный, сам себе хозяин, жаждущий окунуться в гущу жизни. Однажды вечером, когда в окна его комнаты дышал изнурительный, расслабляющий зной, он несколько часов бился над стихами, пытаясь увековечить щемящую радость тех дней.

В ночи ветра февральские летели и шлепали по стенам все сильней, пустые мостовые заблестели. Притихла жизнь. Под светом фонарей, как масло золотое, снег лоснился в час звезд и слякоти.

Как много взглядов снежные заплаты скрывали между слякотных прорех! Я молод был. Со мною шла тогда ты, прекраснее и завершенней всех. Полузабытые мечты впивал я из губ твоих.

Был некий привкус в воздухе полночном; звук не вставал, мертвела тишина — и жизнь вдруг прозвенела льдом непрочным... Мы были вместе... Началась весна. (На крышах быстро таяли сосульки, и город падал в обморок.)

Все наши мысли — иней средь карнизов; мы, тени, целовались в проводах — не жуткий полусмех бросает вызов, а вздох о прежних огненных годах. Все, что она любила,— в сожаленье превращено.

Еще что-то кончилось

В середине августа пришло письмо от монсеньора Дарси,— видимо, ему только что попался на глаза адрес Эмори:

«Дорогой мой мальчик!

Твое последнее письмо меня встревожило. Словно и не ты его писал. Читая между строк, я догадываюсь, что помолвка с этой девушкой не принесла тебе безоблачного счастья, и ты, я вижу, утратил романтический взгляд на жизнь, который был у тебя до войны. Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что можно быть романтиком без религии. Иногда мне кажется, что для

нас с тобой секрет успеха, какого ни на есть, заключен в мистическом элементе нашего существа: что-то вливается в нас такое, что расширяет нашу сущность, а с отливом его наша сущность съеживается; два твоих последних письма я бы назвал прямо-таки ссохшимися. Бойся потерять себя в сущности другого человека, будь то мужчины или женщины.

В настоящее время у меня гостят его высокопреосвященство кардинал О'Нийл и епископ Бостонский, поэтому мне трудно выбрать время для письма, но потом я очень хочу, чтобы ты ко мне приехал, хотя бы только на субботу и воскресенье. На этой неделе я должен съездить в Вашингтон.

Чем я буду занят дальше, еще неясно. Строго между нами, не исключено, что в ближайшие восемь месяцев на мою недостойную голову опустится алая кардинальская шляпа. Так или иначе, мне бы хотелось иметь свой дом в Нью-Йорке или в Вашингтоне, куда ты мог бы приезжать на свободные дни.

Эмори, я очень рад, что оба мы живы; эта война вполне могла прикончить наш славный род. Но что касается брака — ты сейчас переживаешь самый опасный период своей жизни. Ты рискуешь жениться "на скорую руку, да на долгую муку", но думаю, что этого не случится. Судя по тому, что ты пишешь о плачевном состоянии твоих финансов, теперешняя твоя мечта, разумеется, неосуществима. Однако, меряя тебя моей обычной меркой, я бы сказал, что еще в ближайшие годы тебя ждет серьезное эмоциональное потрясение.

Непременно пиши мне. Куда это годится, что я так плохо о тебе осведомлен.

Искренне к тебе расположенный *Тэйер Дарси*».

А через неделю после получения этого письма их маленькое хозяйство развалилось, как карточный домик. Непосредственной причиной послужила тяжелая, видимо неизлечимая болезнь матери Тома. И вот они свезли мебель на склад, распорядились сдать квартиру от их имени и пожали друг другу руки на Пенсильванском вокзале. Том и Эмори словно только и делали, что прощались.

Оставшись в тоскливом одиночестве, Эмори махнул на юг, надеясь поймать монсеньора в Вашингтоне. Они разминулись на два часа, и тогда, решив провести несколько дней у полузабытого престарелого дядюшки, Эмори покатил по тучным полям Мэриленда в округ Рамильи. Но вместо нескольких дней он пробыл там с середины августа почти до конца сентября, потому что в Мэриленде он встретил Элинор.

Глава III

ИРОНИЯ ЮНОСТИ

Еще много лет, когда Эмори вспоминал Элинор, ему снова слышалось, как плачет ветер, пронизывая сквознячками сердце. В ту ночь, когда они верхом поднимались в гору и холодная луна плыла сквозь тучи, он потерял еще какую-то невосполнимую часть себя, а потеряв ее, потерял и способность жалеть о ней. Можно сказать, что с Элинор к Эмори в последний раз подкралось Зло под маской красоты, в последний раз жуткая тайна заворожила его и растерзала в клочки его душу.

С ней его воображение не знало удержу, вот почему они и поднялись на самую высокую точку в округе и смотрели, как плывет высоко в небе злая луна,— они знали, что видят друг в друге дьявола. Но сама Элинор — или она приснилась ему? Позже затевали игру их призраки, но оба они от души надеялись, что больше не встретятся. Бесконечная ли печаль ее глаз околдовала его или собственное отражение, которое он увидел, как в зеркале, в великолепной ясности ее ума? Другого такого переживания, как Эмори, у нее не будет, и если она прочтет эти строки, то скажет: «А у Эмори не будет другого такого переживания, как я».

И не вздохнет, как не вздохнул бы и он.

Однажды Элинор попыталась написать об этом:

Все, дорогое нам с тобой,
Мы позабудем...
Смех и грусть
Растают, словно снег весной...
Мечты избудем —
Ну и пусть!

Рассвет, что пробуждал экстаз,
Гнетет свечением пустым,
И чувств, что опьяняли нас,
Не ощутим.
Нет, милый, полно, не тоскуй...
Чувств угасанью
Не перечь...

Увял последний поцелуй,
　　Да и молчанье
　　　　В пору встреч
Не даст по вспененным волнам
　　Метаться призракам былым:
Их, если и предстанут нам,
　　Не разглядим.

Они чуть не рассорились, потому что Эмори утверждал, что непозволительно рифмовать «угасанью» и «молчанье». И еще был у Элинор кусок другого стихотворения, для которого она никак не могла подобрать начало:

Проходит мудрость... Хоть дано
　　　　Годам учить нас день за днем,
Но их уроки все равно
　　　　Мы не поймем.

Элинор всем сердцем ненавидела Мэриленд. Она принадлежала к старейшему из старых семейств округа Рамильи и жила с дедом в большом мрачном доме. Родилась и росла она во Франции... Но не с этого надо было начинать. Попробую начать по-другому.

Эмори скучал, как с ним всегда бывало в деревне. Он уходил один на далекие прогулки, читал кукурузным полям «Улялюм» и одобрял Эдгара По, спившегося до смерти в этой атмосфере улыбчивого благодушия. Как-то раз он отшагал несколько миль по незнакомой дороге, потом, на беду послушав совета какой-то негритянки, свернул в лес и окончательно заблудился. Пролетная гроза решила разразиться именно здесь, и, к великой его досаде, небо почернело и дождь закапал сквозь листву деревьев, сразу ставших неуютными и призрачными. Гром угрожающе заворчал вдалеке, глухими залпами стал прокатываться по лесу. Он шел напролом, надеясь выйти из лесу, и наконец сквозь сетку перепутанных веток увидел просвет между деревьями и дальше — открытое место, то и дело озаряемое молниями. Добежав до опушки, он остановился, не решаясь пуститься через поле к домику — светящейся точке вдали. Было всего половина шестого, но за десять шагов впереди ничего не было видно, только при вспышках молнии все вокруг выступало четкими пугающими очертаниями.

Внезапно слуха его коснулись странные звуки — звуки песни, и пел ее низкий, хрипловатый голос — женский голос —

где-то совсем близко. Год назад он, вероятно, рассмеялся бы или задрожал, но сейчас, снедаемый беспокойством, он только стоял и слушал, давая словам проникнуть в сознание.

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Новая молния расколола небо, но пение продолжалось, даже не дрогнув. Певица явно была на лугу, и голос ее как будто исходил из стога сена шагах в двадцати впереди.

Потом голос умолк: умолк и зазвучал снова,— точно скорбный хорал взлетал ввысь, повисал в воздухе и падал, сливаясь с дождем.

Tout suffocant
Et blême quand
Sonne l'heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure...[1]

— Вздумалось же кому-то в округе Рамильи,— проговорил Эмори вслух,— петь Верлена на мотив собственного сочинения, когда услышать его может только мокрый стог сена!

— Кто-то идет! — крикнул голос, ничуть не встревоженный.— Кто вы? Манфред, святой Христофор или королева Виктория?

---

[1] Издалека
Льется тоска
Скрипки осенней —
И не дыша
Стынет душа
В оцепененье.
Час прозвенит —
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну
В сердце весну —
Катятся слезы.

(Перевод с фр. А. Гелескула.)

— Я Дон Жуан! — экспромтом отозвался Эмори, стараясь перекричать шум дождя и ветра.

Из стога раздался громкий радостный смех.

— Я знаю, кто вы, вы — тот юный блондин, что любит «Улялюм», я вас по голосу узнала.

— Как мне к вам подняться? — крикнул он, подбегая к стогу, уже промокший до нитки. Из-за края стога появилась голова — было так темно, что он разглядел только черные влажные волосы и два глаза, светящихся, как у кошки.

— Надо разбежаться и прыгнуть,— отвечал голос,— а я подам вам руку... Нет, не здесь, с другой стороны.

Он послушался, и, когда стал карабкаться на стог, по колено увязая в сене, маленькая белая рука протянулась ему навстречу, ухватила его руку и помогла добраться доверху.

— Вот и вы, Жуан! — громко приветствовала его обладательница влажных волос.— Без «Дона» мы обойдемся, ладно?

— У вас большой палец в точности как мой! — воскликнул он.

— А вы все держите меня за руку, это рискованно, ведь вы еще не видели моего лица.

Он поспешно выпустил ее руку.

Словно в ответ на его молитву сверкнула молния, и он жадно глянул на ту, что стояла рядом с ним на мокром сене, в десяти футах над землей. Но она закрыла лицо, и он увидел только стройную фигурку, темные, влажные стриженые волосы и маленькие белые руки с большими пальцами, которые отгибались назад, как у него.

— Присаживайтесь,— вежливо предложила она, и их снова окутал мрак.— Если сядете напротив меня в эту ямку, уступлю вам половину моего плаща. Он мне служил палаткой, пока вы так грубо не нарушили мое уединение.

— Вы сами меня позвали,— с готовностью парировал Эмори,— сами позвали и прекрасно это знаете.

— Дон Жуан всегда вот так поворачивает дело,— отвечала она, смеясь,— но я больше не буду называть вас Дон Жуаном, потому что вы блондин, даже рыжеватый. Лучше прочтите мне «Улялюм», а я буду Психеей, вашей душой.

Эмори вспыхнул и порадовался, что его не видно за пеленой ветра и дождя. Они сидели друг против друга в небольшой выемке в сене, частично защищенные плащом. Эмори изо всех сил старался разглядеть Психею, но молний как назло не было, и оставалось только ждать. Боже мой! А что, если она со-

всем не красивая, что, если она — сорокалетняя ученая женщина, о господи, что, если она сумасшедшая? Но он тут же отбросил эту мысль как недостойную. Провидение ниспослало ему девушку, чтобы было кому его позабавить, как ниспосылало Бенвенуто Челлини мужчин, чтобы было кого убить, а он гадает, не сумасшедшая ли она, только потому, что она так пришлась к его настроению.

— Нет,— сказала она.

— Что нет?

— Не сумасшедшая. Я же не решила, что вы сумасшедший, когда в первый раз вас увидела, значит, и с вашей стороны нечестно так обо мне думать.

— Но как вы могли...

С начала до конца своего знакомства Эмори и Элинор могли поговорить о чем-то, потом замолчать, продолжая об этом думать, а через десять минут заговорить снова, и оказывалось, что мысль у обоих за это время работала одинаково и достигла одинаковой точки, в которой другие не усмотрели бы никакой связи с предыдущей.

— Скажите мне,— попросил он, взволнованно подавшись вперед,— откуда вы знаете про «Улялюм» и какого цвета у меня волосы? Как вас зовут? Что вы тут делали? Отвечайте сразу про все.

Молния вдруг сверкнула неимоверно ярко, и он увидел Элинор, впервые глянул в эти ее глаза. Она была прекрасна — бледная кожа цвета мрамора при свете звезд, тонкие брови и глаза, блеснувшие двумя изумрудами в ослепительной вспышке. Колдунья, лет девятнадцати, быстрая и томная, и над верхней губой — узкая выбеленная полоска, очаровательное свидетельство женской слабости. Он тихо ахнул и откинулся на сено.

— Теперь вы меня видели,— сказала она спокойно,— и сейчас, вероятно, скажете, что мои зеленые глаза горят у вас в мозгу.

— Какого цвета у вас волосы? — спросил он тревожно.— Они ведь стриженые?

— Да, стриженые. А какого цвета — не знаю,— продолжала она задумчиво.— Меня столько мужчин об этом спрашивали. Наверно, какого-нибудь среднего цвета. На мои волосы никто не заглядывался, а вот глаза у меня красивые. Можете сказать что угодно, а я все равно знаю, глаза у меня красивые.

— Ответь мне на вопросы, Маделина.

— Я уж их все не помню... и зовут меня, между прочим, не Маделина, а Элинор.

— Как я сразу не догадался! Вы и на вид Элинор, у вас элиноровская внешность... ну, вы меня понимаете.

В наступившем молчании они слушали дождь...

— За шиворот затекает, собрат помешанный,— сообщила она наконец.

— Ответьте на мои вопросы.

— Хорошо. Итак: фамилия — Сэведж, имя — Элинор; живу в большом старом доме, отсюда миля по дороге; ближайший родственник, которого в случае чего известить,— дед, Рамильи Сэведж; рост — пять футов четыре дюйма; номер на крышке часов — триста семь тысяч семьсот тринадцать; нос с изящной горбинкой; нрав — бесовский...

— А меня,— перебил ее Эмори,— где вы меня видели?

— Ах, вы, значит, один из тех мужчин,— отвечала она надменно,— для которых единственная интересная тема разговора,— они сами. Извольте, милейший, я как-то на прошлой неделе загорала за изгородью и слышу — по дороге идет человек и говорит таким приятно-самодовольным тоном:

Ночь зачахла, рассвет неизбежный
Предвещало движенье светил,
(говорит)
Вдоль аллеи к нам призрачный, нежный
Возникающий свет доходил.
(говорит)

Ну, я, конечно, высунулась из-за изгороди посмотреть, но вы, неизвестно почему, пустились бежать, так что я увидела только ваш прелестный затылок. Ага, говорю, вот мужчина, по которому многие девушки вздыхают, и так далее в лучшем ирландском...

— Понятно,— перебил Эмори,— теперь давайте дальше о себе.

— Хорошо. Я иду по жизни, доставляя людям сильные ощущения, сама же таковых почти не испытываю, разве что выдумаю себе кого-нибудь в такой вечер, как сегодня. Смелости, чтобы пойти на сцену, у меня бы хватило, но нет энергии. Чтобы писать книги, нужно терпение, его у меня тоже нет. И я ни разу не встретила мужчину, за которого могла бы выйти замуж. Впрочем, мне еще только восемнадцать лет.

Гроза понемногу стихала, лишь ветер дул с прежним нездешним упорством, и стог степенно раскачивался из стороны в сторону. Эмори был словно в трансе. Он чувствовал, что каждое мгновение бесценно. Никогда еще он не встречал такой девушки, никогда уже она не покажется ему в точности такой же. Он совсем не ощущал себя актером на сцене, что было бы естественно в столь необычной ситуации,— нет, скорее он чувствовал, что вернулся домой.

— Я только что пришла к важному решению,— сказала Элинор, опять помолчав,— потому я и здесь, и это, кстати, ответ на еще один ваш вопрос. Я решила, что не верю в бессмертие.

— Только-то? Как банально!

— Очень,— согласилась она,— и, однако же, огорчительно до противности. Я пришла сюда, чтобы промокнуть — стать как мокрая курица. Мокрые куры всегда отличаются ясностью мышления,— заключила она.

— Продолжайте,— вежливо сказал Эмори.

— Ну, темноты я не боюсь, так что надела плащ и резиновые сапоги и вышла из дому. Понимаете, раньше я всегда боялась сказать, что не верю в Бога,— вдруг меня за это поразит молния,— но вот она я, здесь, и молния меня, конечно, не поразила, но главное то, что сегодня мне было не страшнее, чем в прошлом году, когда я верила в «христианскую науку»*. Так что теперь я поняла, что я — материалистка и такая же вещь, как вот это сено, а тут из леса появились вы, стали на опушке и трясетесь от страха.

— Это уже нахальство! — возмущенно вскричал Эмори.— Чего же мне было пугаться?

— Самого себя! — крикнула она так громко, что он подскочил. Она смеясь захлопала в ладоши. — Друзья, друзья! Убейте совесть, как я! Элинор Сэведж, материолог, не бойся, не дрожи, не опаздывай...

— Но без души мне никак нельзя,— возразил он.— Не могу я быть только рациональным, а скопищем молекул быть не хочу.

Она наклонилась к нему, впиваясь в его глаза своим горящим взглядом, и прошептала с какой-то романтической одержимостью:

— Так я и думала, Жуан, этого и опасалась,— вы сентиментальны, не то что я. Я — романтичная материалисточка.

— Я не сентиментален. Я романтик не хуже вас. Ведь сентиментальные люди, как известно, воображают, что мгновение

можно продлить, а романтики тешат себя уверенностью, что нельзя. (Это различие Эмори проводил не впервые.)

— Парадоксы? Я пошла домой,— сказала она с грустью.— Давайте слезать, до развилки дойдем вместе.

Они стали осторожно спускаться со своего нашеста. Она не приняла его помощи: сделав ему знак отойти, грациозно плюхнулась в мягкую грязь и посидела так, смеясь над собой. Потом вскочила, взяла его за руку, и они пустились по мокрому лугу, перепрыгивая с кочки на кочку. Каждая лужица словно искрилась небывалой радостью — взошла луна, и гроза умчалась на запад Мэриленда. Всякий раз, когда Элинор касалась его, он холодел от страха, как бы не выронить волшебную кисть, которой воображение расцвечивало ее в сказочные краски. Он поглядывал на нее краем глаза, как и позже, на их прогулках,— она была прелесть и безумие, и он жалел, что ему не суждено до скончания дней сидеть на стоге сена, глядя на жизнь ее зелеными глазами. В тот вечер он был вдохновенным язычником, и, когда она серым призраком растворилась вдали на дороге, тихое пение поднялось от земли и сопровождало его до самого дома. Всю ночь в окно его комнаты залетали и кружились летние бабочки: всю ночь огромные звуки-призраки плыли в таинственном хороводе сквозь серебряную пыль, а он слушал, лежа без сна в светящейся тьме.

Сентябрь

Эмори выбрал травинку и стал сосредоточенно ее жевать.

— Я никогда не влюбляюсь в августе и в сентябре,— объявил он.

— А когда?

— На Рождество или на Пасху. Я чту церковные праздники.

— Пасха! — Она сморщила нос.— Фу! Весна в корсете.

— По-вашему, весне от Пасхи скучно? Пасха заплетает волосы в косы, носит строгий костюм.

Стяни стопы ремнями сандалий,
Чтоб ярче при беге они сияли,—

негромко процитировала Элинор, а потом добавила: — Для осени День всех святых, наверно, лучше, чем День благодарения.

— Гораздо лучше. А для зимы неплох сочельник, но лето...

— У лета нет своего праздника,— сказала она.— Летняя любовь не для нас. Люди столько раз пробовали, что самые эти слова вошли в поговорку. Лето — это всего лишь невыполненное обещание весны, подделка вместо тех теплых блаженных ночей, о которых мечтаешь в апреле. Печальное время жизни без роста... Время без праздников.

— А Четвертое июля? — шутливо напомнил Эмори.

— Не острите! — сказала она, уничтожая его взглядом.

— Так кто же мог бы выполнить обещание весны?

Она минуту подумала.

— Ну, например, Провидение, если бы оно существовало, этакое языческое Провидение... Вам бы следовало быть материалистом,— добавила она ни к селу ни к городу.

— Почему?

— Потому что вы похожи на портреты Руперта Брука.

В какой-то мере Эмори пытался играть Руперта Брука все время, что длилось их знакомство. Его слова, его отношение к жизни, к Элинор, к самому себе — все это были отзвуки литературных настроений недавно умершего англичанина. Часто Элинор сидела на траве, и ветер лениво играл ее короткими волосами, а хрипловатый ее голос пробегал по всей шкале от Грантчестера до Ваикики. В чтение стихов она вкладывала подлинную страсть. Они острее ощущали свою близость, не только духовную, но и физическую, когда читали, чем когда она лежала в его объятиях, а это тоже бывало часто, потому что они почти с самого начала были словно бы влюблены. Но был ли Эмори еще способен на любовь? Он мог, как всегда, за полчаса проиграть всю гамму эмоций, но даже в минуты, когда оба давали волю воображению, он знал, что ни он, ни она не могут любить так, как он любил однажды,— поэтому, вероятно, они и обратились к Бруку, Суинберну, Шелли. Спасение их было в том, чтобы придать всему красоту, законченность, образное богатство, протянуть крошечные золотые щупальца от его воображения к ее и тем заменить большую, глубокую любовь, которая была где-то совсем близко, но оставалась неуловимой, как сон.

Одно стихотворение — «Торжество времени» Суинберна — они читали снова и снова, и одно четверостишие из него звучало потом в его памяти всякий раз, когда теплыми летними ночами он видел светляков среди темных деревьев и слышал заунывный хор лягушек. Потом из мрака словно появлялась Элинор и стояла с ним рядом, и он слышал ее хрипловатый голос, напоминающий по тембру заглушенные барабаны:

Стоит ли часа или слезы
Думать про смытое бегом времен:
Про стебель, сломанный гневом грозы,
Несвершенный подвиг, несбывшийся сон?

Через два дня после первой встречи состоялось их официальное знакомство, и тетка рассказала ему историю Элинор. Жили они сейчас вдвоем: дед и внучка. Элинор провела юность во Франции с матерью, беспокойной особой, которую Эмори представил себе в чем-то очень похожей на Беатрису, а после смерти матери приехала в Америку. Сперва она поселилась у дяди-холостяка в Балтиморе и там, семнадцати лет, пожелала приобщиться к светской жизни. Всю зиму она веселилась напропалую, а в марте прибыла в деревню, бурно рассорившись с благопристойными балтиморскими родичами, в ярости восставшими против ее поведения. Была обнаружена легкомысленная компания — члены ее распивали коктейли в лимузинах и держались до неприличия снисходительно и покровительственно по отношению к старшим,— и Элинор, как выяснилось, с дерзостью, сильно отдающей парижскими бульварами, завлекла многих невинных юношей, только что со школьной скамьи, на пути беспардонной богемы. Когда сведения об этом дошли до ее дядюшки, успевшего забыть, что и сам он был повесой, только в более ханжескую эпоху,— разразился семейный скандал, после чего Элинор, укрощенная, но негодующая и не смирившаяся, нашла пристанище у деда, пребывавшего в деревне на грани старческого слабоумия. Вот все, что было сообщено Эмори; остальное Элинор рассказала ему сама, но уже много позже.

Они вместе ходили купаться, и Эмори, лениво покачиваясь на воде, выключал из сознания все мысли, оставляя только грезу о туманной стране, где солнце вечно струится сквозь пьяную от ветра листву. Зачем думать, терзаться, что-нибудь делать? Нет, только плавать, плескаться, нырять здесь, на краю времени, когда летние дни становятся все короче. Пусть дни бегут: печаль, воспоминания, боль — все это там, и, прежде чем опять к ним приобщиться, так хочется побыть здесь, безвольным и молодым.

Порой Эмори бывало обидно, что его жизнь из ровного продвижения по дороге, уходящей вдаль среди единого стройного ландшафта, превратилась в ряд быстро сменяющихся, не связанных между собой сцен — два года пота и крови; внезапная, нелепая мечта об отцовстве, которую разбудила в нем

Розалинда; получувственная, полуневрастеническая окраска этой осени с Элинор. Он думал о том, сколько времени — а где его взять? — потребуется на то, чтобы наклеить эти бесформенные картинки на место в альбоме его жизни. Точно он на полчаса своей молодости уселся за банкетный стол и пытается насладиться сменой роскошных, усладительных блюд.

Он давал себе туманные обещания когда-нибудь спаять все это воедино. Ему долго казалось, что его то несет вперед потоком любви или увлечения, то прибивает в заводь, и в заводи не хочется думать, хочется только, чтобы со временем новая волна подхватила и понесла дальше.

— Изверившееся, умирающее лето и наша любовь, как они слитны,— печально сказала Элинор, когда они однажды, накупавшись, лежали на берегу.

— «Прощальный отблеск наших сердец...» — Он осекся.

— Скажи мне,— попросила она,— у нее волосы были светлые или темные?

— Светлые.

— Она была красивее меня?

— Не знаю,— отрезал он.

Как-то поздно вечером они гуляли в саду, и взошла луна, разливая вокруг густое великолепие, так что сад превратился в сказочную страну, где Эмори и Элинор, воплощение вечной красоты, были как смутные тени в причудливой любовной игре. Из лунного света они шагнули в тьму беседки, увитой диким виноградом, где запахи были так жалобны, что казались звуками музыки.

— Зажги спичку,— шепнула она,— я хочу тебя видеть.

Чирк! Вспых!

Ночь и корявые стволы напоминали декорацию, и в том, что он здесь с Элинор, ускользающей, нереальной, Эмори почудилось что-то знакомое. Почему это, подумал он, только прошлое кажется странным и невероятным? Спичка погасла.

— Темно, как в колодце.

— Теперь мы — только голоса,— тихо проговорила Элинор.— Слабые, одинокие голоса. Зажги еще спичку.

— Та была последняя, больше нет.

И вдруг он схватил ее в объятия.

— Ты моя, ты же знаешь, что моя! — воскликнул он страстно...

Лунный свет прокрался сквозь лозы и слушал... Светляки ловили их шепот, словно просили его оторваться взглядом от ее глаз.

Лето кончилось

— «Все тишиной обволокло, а под луною ветерок почил. В озерах потаенных спит вода, как льдистое стекло, что золотой подарок погребло»,— декламировала Элинор деревьям, тонкими штрихами расчертившим ночь.— Жутко здесь, правда? Поедем прямо лесом, искать потаенные озера, только смотри, чтобы лошадь не споткнулась.

— Второй час ночи,— возразил он,— тебе нагорит. Да и в лошадях я мало что смыслю, не сумею потом расседлать в полной темноте.

— Замолчи, старый дурак,— прошептала она, неожиданно вспылив, и тут же, перегнувшись в седле, лениво похлопала его по руке стеком.— Своего одра можешь оставить у нас в конюшне, я его завтра пришлю.

— Но на этом одре дядя в семь часов утра должен отвезти меня на станцию.

— Да перестань ты брюзжать. И помни: тебе свойственна нерешительность, это мешает тебе стать украшением моей жизни.

Эмори подъехал к ней вплотную и схватил ее за руку.

— Скажи, что я — украшение твоей жизни, сейчас же скажи, а не то перетащу тебя к себе и будешь сидеть сзади.

Она с улыбкой взглянула на него и замотала головой.

— Давай! То есть нет, не надо. И почему это все самое интересное связано с неудобствами? Война, путешествия, лыжи в Канаде. Кстати, мы скоро поднимемся на Харперов обрыв. Кажется, в нашей программе это назначено на пять часов.

— Вот бесенок,— проворчал Эмори.— Ты мне всю ночь не дашь отдохнуть, придется отсыпаться в поезде, как иммигранту.

— Тс! Кто-то идет по дороге. Исчезаем. Урра!

С этим воплем, от которого запоздалого путника наверняка пробрала дрожь, она направила лошадь в чащу, и Эмори осторожно свернул за ней следом, как следовал за ней изо дня в день вот уже три недели.

Лето кончилось, но все эти последние недели он наблюдал, как Элинор, легкий грациозный Манфред, воздвигает себе интеллектуальные и психологические пирамиды, упивается своими фантазиями, как малый ребенок, и за обеденным столом вместе с ним сочиняет стихи.

Когда ликующий порыв преобразил их бытие, он, зачарованный, решив, что должен помнить мир ее, любовь, и смерть зарифмовал с ее глазами... «Времена над ней не властны!» — он вскричал, но все же умерла она с его дыханьем. Красота ушла, как на заре туман...

Живет искусство — не уста, живут стихи — не стройный стан...

«Будь мудр, начав слагать сонет, не торопи слова певца». Пусть лжи в моих признаньях нет, пусть был правдив я до конца при восхваленье красоты, но беспощаден лёт годин, и не поверит мир, что ты была прекрасна день один.

Он написал это однажды, размышляя о том, как холодно мы относимся к «Смуглой леди сонетов» и как помним ее совсем не такой, какой великий поэт хотел ее обессмертить. Ибо ясно, что если Шекспир мог писать с таким божественным отчаянием, значит, он хотел, чтобы эта женщина осталась жить в веках... а теперь она нам, в сущности, неинтересна... И какая ирония! Если бы не женщина, а поэзия стояла для него на первом месте, сонет был бы не более чем откровенной подражательной риторикой и через двадцать лет никто его уже не читал бы...

Это было последнее в его жизни свидание с Элинор. Наутро он уезжал в Нью-Йорк, и они уговорились совершить небольшую прощальную прогулку верхом при холодном лунном свете. Она сказала, что ей хочется поговорить, может быть, в последний раз в жизни показать себя разумным существом (она имела в виду — всласть попозировать). И вот они свернули в лес и полчаса ехали молча, только время от времени она шепотом произносила «черт!», зацепившись за докучливую ветку,— произносила с чувством, недоступным никакой другой девушке. Потом стали подниматься к Харперову обрыву, пустив усталых лошадей шагом.

— Господи, как тут тихо! — шепнула Элинор.— Гораздо пустыннее, чем в лесу.

— Ненавижу лес! — сказал Эмори, передернувшись.— И вообще всякую листву и кусты ночью. Здесь так просторно и дышится легче.

— Долгий подъем по долгому склону.

— И холодная луна катит навстречу свое сияние.

— И самое главное — ты и я.

Было очень тихо. По прямой дороге, ведущей к краю обрыва, и вообще-то мало кто ездил. Лишь кое-где негритянская хижина, серебристая в дробящемся о камни лунном свете, нарушала однообразие голого плоскогорья; позади чернела опушка — темная глазурь на белом торте, впереди — высокое, ясное небо. Стало еще холоднее, так холодно, что все теплые ночи словно выветрились из памяти.

— Кончилось лето,— тихо сказала Элинор.— Слышишь, как наши лошади стучат копытами: тук-тук-туки-тук. С тобой так бывало, что когда поднимается температура, все звуки сливаются в такое вот «тук-тук-тук», кажется, оно может звучать до скончания века. Вот так я себя и сейчас чувствую — старые лошади копытами: тук-тук. Наверно, только это и отличает нас от лошадей и часов. Человек, если будет жить под «тук-тук-тук», непременно свихнется.

Ветер усилился. Элинор плотно запахнулась в накидку и поежилась.

— Очень озябла? — спросил Эмори.

— Нет. Я думаю о себе, о своей черной сути, самой подлинной, с изначальной честностью, которая только и не дает мне стать безнадежной грешницей, потому что заставляет признавать собственные грехи.

Они ехали по краю обрыва, и Эмори глянул вниз. Там, на глубине ста футов, чернела речка, четкая линия, прерываемая бликами на быстрой воде.

— Гадостный мир! — внезапно взорвалась Элинор.— И самое скверное в нем — это я. Господи, почему я не мужчина? Почему я не дура? Вот ты — ты глупее меня, не намного, но все-таки, и волен резвиться, пока не наскучит, а потом переменить обстановку и снова резвиться, волен развлекаться с девушками, не запутываясь в сети эмоций, волен думать что угодно, и никто тебя не осудит. А я — ума у меня хоть отбавляй, но я прикована к тонущему кораблю неотвратимого замужества. Мне бы надо родиться на сто лет позже, а сейчас — что меня ждет? Придется выходить замуж, ничего не поделаешь. А за кого? Для большинства мужчин я слишком умна, а между тем, чтобы привлечь их внимание, вынуждена спускаться до их уровня, тогда они хоть получают удовольствие, могут отнестись ко мне покровительственно. С каждым годом у меня остается все меньше шансов встретить мужчину без изъянов. И выбирать я могу от силы в двух-трех городах, ну, и, конечно, только в своем кругу.

— Понимаешь,— она опять перегнулась к нему,— я люблю умных мужчин, и красивых, и, конечно, незаурядных. А что такое секс — это дай бог один человек из пятидесяти хотя бы смутно понимает. Фрейд и прочее — это мне все известно, но все-таки свинство, что всякая настоящая любовь — на девяносто пять процентов страсть плюс щепотка ревности.— Она умолкла так же неожиданно, как начала.

— Ты, конечно, права,— согласился Эмори.— Это какая-то неприятная, неодолимая сила, и она — подоплека всего остального. Словно актер, который демонстрирует тебе свою технику... погоди, дай додумать...

Он помолчал, подыскивая метафору. Они повернули и ехали теперь по дороге футах в пятидесяти от обрыва.

— Понимаешь, каждому нужно набрасывать на это какое-то покрывало. Мелкие умишки — второе сословие, по Платону,— те пускают в ход остатки рыцарской романтики, разбавленной викторианской чувствительностью; а мы, претендующие на высокую интеллектуальность, притворяемся, будто видим в этом другую сторону своей сущности, ничего общего не имеющую с нашим замечательным разумом. Мы притворяемся, будто самый факт, что мы это понимаем, гарантирует от опасности попасть к нему в рабство. Но на самом-то деле секс таится в самой сердцевине наших чистейших абстракций, так близко, что загораживает вид... Вот сейчас я могу поцеловать тебя и поцелую.

Он потянулся к ней, но она отстранилась.

— Не могу. Не могу я сейчас с тобой целоваться. У меня организация тоньше.

— Не тоньше, а глупее,— заявил он раздраженно.— Ум — не защита от секса, так же как и чувство приличия.

— А что защита? — вспылила она.— Католическая церковь? Максимы Конфуция?

Эмори от удивления не нашелся что ответить.

— В этом, что ли, твоя панацея? — крикнула она.— Сам ты старый ханжа, и больше ничего. Тысячи злющих священников треплются насчет шестой и девятой заповеди, призывая к покаянию кретинов итальянцев и неграмотных ирландцев. Все это покрывала, маски, сантименты, духовные румяна, панацеи. Говорю тебе, Бога нет, нет даже абстрактного доброго начала: каждый должен сам для себя до всего додумываться, правда — вот она, за высоким белым лбом, таким, как у меня, а ты по своей ограниченности не желаешь это признать.— Она

выпустила поводья и кулачком погрозила звездам.— Если Бог есть, пусть убьет меня!

— Типичные рассуждения атеистов о Боге,— резко сказал Эмори.

От кощунственных слов Элинор его материализм, и всегда-то непрочная оболочка, затрещал по всем швам. Она это знала, и то, что она знает, бесило его.

— И подобно большинству интеллигентов, которым при жизни религия только мешает,— продолжал он холодно,— подобно Наполеону и Оскару Уайльду и прочим людям твоего склада, на смертном одре ты будешь со слезами призывать священника.

Элинор резко осадила лошадь, и Эмори, догнав ее, тоже остановился.

— Ты так думаешь? — Голос ее прозвучал до того странно, что он испугался.— Ну так гляди! Сейчас я прыгну с обрыва.— И не успел он опомниться, как она рывком повернула лошадь и во весь опор понеслась к краю плато.

Он бросился вслед — тело как лед, нервы гудят набатным звоном. Остановить ее нечего и думать. Луну скрыло облако, лошадь не заметит опасности. Но не доезжая футов десяти до края, Элинор с пронзительным воплем бросила тело вбок, грохнулась наземь и, два раза перевернувшись, застыла в кустарнике в пяти шагах от обрыва. Лошадь с отчаянным ржанием исчезла из глаз. Он подбежал к Элинор и увидел, что глаза у нее открыты.

— Элинор! — крикнул он.

Она не ответила, но губы шевельнулись и глаза вдруг наполнились слезами.

— Элинор, ты расшиблась?

— Кажется, нет,— сказала она едва слышно и заплакала.— Лошадь... насмерть?

— О господи, конечно.

— Ой,— простонала она,— я ведь тоже хотела... я думала...

Он бережно помог ей подняться, посадил на свою лошадь. Так они пустились домой — Эмори вел лошадь, а Элинор, склонившись на луку, горько рыдала.

— Я ведь не совсем нормальная,— выговорила она с усилием.— Я уже два раза такие вещи проделывала. Когда мне было одиннадцать лет, мама помешалась, по-настоящему, была буйно помешанная. Мы тогда жили в Вене...

Всю дорогу она, запинаясь, рассказывала о себе, и любовь в сердце Эмори медленно убывала вместе с луной. У дверей ее дома они по привычке чуть не поцеловались, но она не кинулась ему на шею, да и он не раскрыл ей объятия, как было бы неделю назад. Минуту они постояли, ненавидя друг друга с лютой печалью. Но Эмори и раньше любил в Элинор самого себя и теперь ненавидел лишь зеркало. В бледном рассвете их фантазии усыпали землю, как битое стекло. Звезды давно погасли, только ветер еще вздыхал, негромко, с перерывами.... но обнаженные души — кому они нужны? — и вскоре Эмори зашагал к своему дому, готовый с восходом солнца встретить новый день.

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЭЛИНОР ПРИСЛАЛА ЭМОРИ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ

Здесь, земнородные, мы над журчанием водным,
Тем, чья беспечная музыка света полна,
День обнимали со смехом лучисто-свободным...
Здесь нам удобно шептаться и ночь не страшна.
Здесь мы вдвоем... Красотой ли с величьем мы были
Вместе увенчаны вольною летней порой?
Рваные тени листвы на тропе мы любили
И гобелены прозрачные дали немой.
Это был день... А о ночи преданье иное —
Бледной, как сон, в карандашной штриховке ветвей:
Призраки звезд нам шептали о дивном покое,
Славы велели не ждать и не думать о ней.
Звезды твердили о вере, что гибнет с рассветом...
Юность — медяк, ею куплены чары луны.
Смысл и порыв ощущали с тобой мы лишь в этом,
Эти проценты мы были июню должны.
Здесь мы, у струй, что о прошлом расскажут едва ли
То, что не следует знать, и, мечты углубя,
Молвят, что свет — только солнце... Но воды молчали...
Кажется, вместе мы... Как я любила тебя!
Что было прошлою ночью, в час гибели лета?
К дому чтó нас потянуло в вечерних тенях?
Кто там из мрака, оскалясь, уставился где-то?
Ах, как ты, спящий, метался! Объял тебя страх.
Что ж... Мы прошли... Мы теперь обратились в преданье —
Метеоритов чудной искривленный металл —

И подменило навеки меня мирозданье,
    Ты же, усталости чуждый, смертельно устал.
Страх.— это зов... Безопасность нужна земнородным...
    Мы — голоса лишь и лица, навеки бледны...
Шепчется полулюбовъ над журчанием водным...
    Юность — медяк, ею куплены чары луны.

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЭМОРИ ПОСЛАЛ ЭЛИНОР,
ОЗАГЛАВЛЕННЫЕ «ЛЕТНЯЯ ГРОЗА»

Звук песни, дуновенье ветерков,
И чей-то легкий смех в дали немой,
И дождь, и над полями чей-то зов...
На солнце туча бурая нашла
И, трепеща, скликает за собой
Сестер. В деревьях — крыльям нет числа.
Тень промелькнула — это голубок...
И сквозь долину, по ее стволам
Скользит на темную грозу намек —
То дух, присущий высохшим морям,
Чуть слышный гром...
                                        О ливень и туман,
Вам снова бы чадру судьбы сорвать!
Власы ей взвихри, бурный ураган!
Я ожидаю Вас!
И вот опять
Меня захлестывает все страшней
Нагромождение грозы и мглы.
Когда-то были все дожди нежней,
Когда-то были все ветра теплы...
И ты идешь в тумане... Меж кудрей
Сверкающие капли, на губах —
Что старше делает тебя и злей —
Надрыв иронии, веселый страх.
Ты, словно призрак, обгоняешь дождь,
Идешь в лугах, где мертвые мечты,
Где мертвая любовь, и листья рощ
Мертвы, как сон, и дымкой залиты...
(Ползет чуть слышный шепот в темноте,
Деревья молкнут.)

А ночная мгла
Прочь сорвала хитон промокший дня...
Скользнула по холмам и размела
По долу кудри... Сумрак воцарен...
Деревья стихли... все молчит... покой...
О тьма... сиянье будущих времен...
И чей-то легкий смех в дали немой...

Глава IV

ВЫСОКОМЕРНОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Атлантик-Сити. К концу дня Эмори шел по пешеходной эстакаде над набережной, убаюканный однообразным шумом вечно сменяющихся волн, вдыхая чуть похоронный запах соленого ветра. Море, думал он, хранит память о прошлом крепче, чем изменчивая земля. Оно все еще шепчет о ладьях викингов, что бороздили океан под черными крыльями-флагами, об английских дредноутах — серых оплотах цивилизации, что в черном июльском тумане сумели выйти в Северное море.

— Да это Эмори Блейн!

Эмори глянул вниз, на мостовую, где только что остановился низкий гоночный автомобиль и за ветровым стеклом расплылась в улыбке знакомая физиономия.

— Спускайся к нам, бродяга! — крикнул Алек.

Эмори ответил и, спустившись по деревянной лестнице, подошел к машине. Все это время они с Алеком изредка виделись, но между ними преградой стояла Розалинда. Эмори это огорчало, ему очень не хотелось терять Алека.

— Мистер Блейн, знакомьтесь: мисс Уотерсон, мисс Уэйн, мистер Талли.

— Очень приятно.

— Эмори,— радостно возгласил Алек,— полезай в машину, мы тебя свезем в одно укромное местечко и дадим кое-чего глотнуть.

Эмори обдумал предложение.

— Что ж, это идея.

— Джилл, подвинься немножко, получишь от Эмори обворожительную улыбку.

Эмори втиснулся на заднее сиденье, рядом с разряженной пунцовогубой блондинкой.

— Привет, Дуглас Фербенкс,— сказала она развязно.— Для моциона гуляете или ищете компанию?

— Я считал волны,— невозмутимо ответил Эмори.— Моя специальность — статистика.

— Хватит заливать, Дуг.

Доехав до какого-то безлюдного переулка, Алек затормозил в черной тени домов.

— Ты что тут делаешь в такой холод, Эмори? — спросил он, доставая из-под меховой полости кварту виски.

Эмори не ответил — он и сам не мог бы сказать, почему его потянуло на взморье. Вместо ответа он спросил:

— А помнишь, как мы на втором курсе ездили к морю?

— Еще бы! И ночевали в павильоне в Эсбери-парк...

— О господи, Алек, просто не верится, что ни Джесси, ни Дика, ни Керри уже нет в живых.

Алек поежился.

— Не говори ты мне об этом. Осень, холод, и без того тошно.

— И правда,— подхватила Джилл,— этот твой Дуг не очень-то веселый. Ты ему скажи, пусть хлебнет как следует. Когда еще такой случай представится.

— Меня вот что интересует, Эмори, ты где обретаешься?

— Да более или менее в Нью-Йорке.

— Нет, я имею в виду сегодня. Если ты еще нигде не устроился, ты мог бы здорово меня выручить.

— С удовольствием.

— Понимаешь, мы с Талли взяли номер у Ранье — две комнаты с ванной посередине, а ему нужно вернуться в Нью-Йорк. Мне переезжать не хочется. Вопрос: хочешь занять вторую комнату?

Эмори согласился с условием, что водворится сейчас же.

— Ключ возьмешь у портье, номер на мое имя.

И Эмори, поблагодарив за приятную прогулку и угощение, решительно вылез из машины и не спеша зашагал обратно по эстакаде к отелю.

Опять его прибило в заводь, глубокую и неподвижную, не хотелось ни писать, ни работать, ни любить, ни развратничать. Впервые в жизни он почти мечтал о том, чтобы смерть поглотила его поколение, уничтожив без следа их мелкие страсти, усилия, взлеты. Никогда еще молодость не казалась так безвозвратно ушедшей, как теперь, когда по контрасту с предельным одиночеством этой поездки к морю вспоминалась

та бесшабашно веселая эскапада четырехлетней давности. То, что в тогдашней жизни было повседневностью — крепкий сон, ощущение окружающей красоты, сила желаний,— улетело, испарилось, а оставшиеся пустоты заполняла лишь бескрайняя апатия.

«Чтобы привязать к себе мужчину, женщина должна будить в нем худшие инстинкты». Вокруг этого изречения почти всегда строилась его бессонница, а бессонница, он чувствовал, ожидала его и сегодня. Мысль его уже начала разыгрывать вариации на знакомую тему. Неуемная страсть, яростная ревность, жажда овладеть и раздавить — вот все, что осталось от его любви к Розалинде, все, что было уплачено ему за утрату молодости,— горькая пилюля под тонкой сахарной оболочкой любовных восторгов.

У себя в комнате он разделся и, закутавшись в одеяло от холодного октябрьского воздуха, задремал в кресле у открытого окна.

Вспомнились прочитанные когда-то стихи:

О сердце, честен был всегда твой труд.
В морских скитаньях годы зря идут...

Но не было сознания, что годы прожиты зря, и не было связанной с ним надежды. Жизнь просто отвергла его.

«Розалинда, Розалинда!» Он нежно выдохнул эти слова в полумрак, и теперь комната полнилась ею; соленый ветер с моря увлажнил его волосы, краешек луны обжег небо, и занавески стали мутные, призрачные. Он уснул.

Проснулся он не скоро. Стояла глубокая тишина. Одеяло сползло у него с плеч, кожа была влажная и холодная на ощупь.

Потом шагах в десяти от себя он уловил напряженный шепот.

Он застыл в кресле.

— И чтобы ни звука! — говорил Алек — Джилл, поняла?

— Да.— Чуть слышное, испуганное. Они были и ванной.

Потом слуха его достигли другие звуки, погромче, из коридора. Неясные голоса нескольких мужчин и негромкий стук в дверь. Эмори сбросил одеяло и подошел к двери в ванную.

— Боже мой! — расслышал он голос девушки.— Придется тебе впустить их!

— Тсс.

Тут начался упорный настойчивый стук в дверь, ведущую к Эмори из коридора, и одновременно из ванной появился Алек, а за ним — пунцовогубая девица. Оба были в пижамах.

— Эмори! — тревожным шепотом.

— Что там случилось?

— Гостиничные детективы. Господи, Эмори, это проверка.

— Так их, наверно, надо впустить?

— Ты не понимаешь. Они могут подвести меня под закон Манна.

Девушка едва передвигала ноги — сейчас она казалась худой и жалкой.

Эмори стал быстро соображать.

— Ты пошуми и впусти их к себе,— предложил он неуверенно,— а я выпущу ее в эту дверь.

— У твоей двери они тоже сторожат.

— Назовись другим именем.

— Не выйдет. Я зарегистрировался под своей фамилией, да и по номеру машины узнают.

— Скажи, что она твоя жена.

— Джилл говорит, один из здешних детективов ее знает.

Девушка тем временем повалилась на кровать и, глотая слезы, прислушивалась. В дверь уже не стучали, а дубасили, потом раздался мужской голос, сердитый и повелительный:

— Откройте, не то взломаем дверь!

В молчании, последовавшем за этим возгласом, Эмори почувствовал, что в комнате, кроме людей, есть и другое... над скорчившейся на кровати фигурой нависла пелена, прозрачная, как лунный луч, отдающая выдохшимся слабым вином, но страшная, грозящая опутать их всех троих... а у окна, полускрытое колышущимися занавесками, стояло еще что-то, безликое и неразличимое, но странно знакомое... Две проблемы, одинаково важные, одновременно встали перед Эмори; все, что произошло затем в его сознании, заняло по часам не больше десяти секунд.

Первым озарением была мысль о том, что всякое самопожертвование — чистая абстракция, он понял, что ходячие понятия: любовь и ненависть, награда и наказание, имеют к нему не больше касательства, чем, скажем, день и час. В памяти молниеносно пронеслась одна история, которую он слышал в университете: некий студент смошенничал на экзамене; его товарищ в приступе самопожертвования взял вину на себя; за публичным позором потянулась цепь сожалений и неудач, не-

благодарность истинного виновника переполнила чашу. Он покончил с собой, а много лет спустя правда всплыла наружу. В то время история эта озадачила Эмори, долго не давала ему покоя. Теперь он понял, в чем дело: никакими жертвами свободы не купишь. Самопожертвование, как высокая выборная должность, как унаследованная власть, для каких-то людей, в какие-то моменты — роскошь, но влечет оно за собой не гарантию, а ответственность, не спокойствие, а отчаянный риск. Собственной инерцией оно может толкнуть к гибели,— спадет эмоциональная волна, породившая его, и человек навсегда останется один на голой скале безнадежности.

...Эмори уже знал, что Алек будет втайне ненавидеть его за ту огромную услугу, что он ему окажет...

...Все это Эмори словно прочел на внезапно развернувшемся свитке, а вне его существа, размышляя о нем, слушали, затаив дыхание, эти две силы: прозрачная пелена, нависшая над девушкой, и то знакомое Нечто у окна.

Самопожертвование по самой своей сути высокомерно и безлично; жертвовать собой следует с горделивым презрением.

«Не обо мне плачь, но о детях своих». Вот в таком духе, подумал Эмори, мог бы говорить с ним Господь.

К сердцу его вдруг прихлынула радость, и тут же пелена над кроватью растаяла, как лицо на киноэкране; подвижная тень у окна — иначе он не сумел бы ее назвать — задержалась еще на мгновение, а потом ее словно выдуло ветром из комнаты. Он стиснул кулаки, он ликовал... десять секунд истекли...

— Делай все, как я скажу, Алек. Не спорь, понял?

Алек молча смотрел на него — воплощенный страх и отчаяние.

— У тебя есть семья,— медленно продолжал Эмори.— У тебя есть семья, и тебе необходимо выпутаться из этой истории. Слышишь, что я говорю? — Он повторил еще раз, четко и раздельно: — Ты меня слышишь?

— Слышу.— Голос звучал напряженно, глаза не отрывались от глаз Эмори.

— Алек, ты сейчас ляжешь в постель, здесь у меня. Если кто войдет, притворись пьяным. Слушайся меня, а то я, скорей всего, тебя убью.

Еще мгновение они смотрели друг на друга. Потом Эмори быстро подошел к комоду, взял свой бумажник и сделал девушке знак следовать за ним. Алек что-то сказал, Эмори как будто

уловил слово «тюрьма», а потом вместе с Джилл юркнул в ванную и запер дверь на задвижку.

— Ты здесь со мной,— предупредил он строго.— Провела со мной весь вечер.

Она всхлипнула и кивнула.

Тогда он отпер дверь второй комнаты, и из коридора вошло трое. Комнату сразу залил электрический свет, он заморгал и зажмурился.

— Опасную игру затеяли, молодой человек!

Эмори засмеялся.

— А дальше?

Тот, что вошел первым, сделал знак ражему детине в клетчатом костюме.

— Действуйте, Олсон.

— Понятно, мистер О'Мэй,— сказал Олсон, кивая.

Двое других с любопытством глянули на свою добычу и удалились, сердито стукнув дверью.

Ражий презрительно воззрился на Эмори.

— Вы что, про закон Манна не слышали? Это надо же — явиться сюда с ней,— он ткнул большим пальцем в сторону Джилл,— с нью-йоркским номером на машине, и в такую гостиницу! — Он покачал головой, давая понять, что долго боролся за Эмори, но теперь ставит на нем крест.

— Так чего вы от нас хотите? — спросил Эмори раздраженно.

— Одевайтесь, живо, да скажите вашей приятельнице, пусть заткнет глотку.

Джилл громко рыдала на постели, но при этих словах утихла и, хмуро собрав одежду, ушла в ванную.

Эмори, натягивая брюки Алека, с удовольствием обнаружил, что ситуация представляется ему комичной. Этот ражий детина печется о добродетели, смех, да и только!

— Кто-нибудь еще здесь есть? — спросил Олсон, напустив на себя вид многоопытного сыщика.

— Тот парень, что снял номер,— небрежно ответил Эмори.— Он пьян как стелька. С шести часов дрыхнет.

— Ладно, заглянем и к нему.

— Как вы узнали? — полюбопытствовал Эмори.

— Ночной дежурный видел, как вы поднимались по лестнице с этой женщиной.

Эмори кивнул; из ванной вышла Джилл, полностью, хоть и не слишком аккуратно одетая.

— Так,— начал Олсон, доставая блокнот,— запишем, кто вы такие. Только давайте по-честному, никаких там «Джон Смит» и «Мэри Браун».

— Минутку,— спокойно перебил Эмори.— Советую вам сбавить тон. Ну, мы попались, так что же из этого?

Олсон сердито выпучил глаза.

— Фамилия! — рявкнул он.

Эмори назвал свою фамилию и нью-йоркский адрес.

— А дамочка?

— Мисс Джилл...

— Эй,— возмутился Олсон,— вы меня детскими стишками не кормите. Как вас звать? Сара Мэрфи? Минни Джексон?

— Ой господи! — воскликнула девушка, закрыв руками заплаканное лицо.— Только бы моя мама не узнала! Не хочу, чтобы моя мама узнала!

— Ну, долго мне ждать?

— Полегче! — прикрикнул Эмори.

Минута молчания.

— Стелла Роббинс,— пролепетала она наконец.— До востребования, Рагуэй, Нью-Гэмпшир.

Олсон захлопнул блокнот и поглядел на них с глубокомысленным выражением.

— По правилам гостиница могла бы передать эти сведения в полицию, и вы бы как пить дать угодили в тюрьму за то, что привезли женщину из одного штата в другой с безнравственной целью.— Он помолчал, чтобы дать им прочувствовать все значение этих слов.— Но — гостиница проявит к вам снисхождение.

— Не хотят в газеты попадать! — яростно выкрикнула Джилл.— Снисхождение, скажет тоже!

Эмори почувствовал себя легким, как пушинка. Он понял, что спасен, и только сейчас до его сознания дошло, какой гнусной процедуре его могли подвергнуть.

— Однако,— продолжал Олсон,— гостиницы решили сообща защищать свои интересы. За последнее время эти безобразия участились, и у нас есть договоренность с газетами, чтобы они бесплатно создавали вам кое-какую рекламу. Название отеля не упоминается, а так, несколько строк, что, мол, у вас в Атлантик-Сити вышли неприятности. Ясно?

— Ясно.

— Вы легко отделались, черт возьми, очень легко, но...

— Ладно,— оборвал его Эмори.— Пошли отсюда. Напутственных речей нам не требуется.

Олсон, пройдя через ванную, для порядка взглянул на неподвижное тело Алека. Потом погасил свет и первым вышел в коридор. Войдя в лифт, Эмори ощутил соблазн побравировать — и поддался ему. Он легонько похлопал Олсона по плечу.

— Будьте добры, снимите шляпу. В лифте дама.

Олсон помедлил, но шляпу снял. Последовали две малоприятные минуты под лампами вестибюля, когда ночной дежурный и несколько запоздалых гостей с любопытством глазели на них — безвкусно разодетая девица с опущенной головой, красивый молодой человек с вызывающе задранным подбородком: вывод напрашивался сам собой. Потом холодная улица, где соленый воздух стал еще свежее и резче с приближением утра.

— Вот такси, выбирайте любое и катитесь отсюда,— сказал Олсон, указывая на смутные очертания двух машин, в которых угадывались фигуры спящих шоферов.

Он красноречиво потянулся к карману, но Эмори фыркнул, взял девушку под руку и пошел прочь.

— Вы куда велели ехать? — спросила Джилл, когда они уже мчались по тускло освещенной улице.

— На вокзал.

— Если этот тип напишет моей матери...

— Не напишет. Никто ничего не узнает... кроме наших друзей и наших врагов.

Над морем занимался рассвет.

— Голубеет,— сказала она.

— Несомненно,— подтвердил он одобрительно, а потом спохватился: — Скоро время завтракать, вам поесть не хочется?

— Еда...— Она вдруг рассмеялась.— Из-за еды все и вышло. Мы часа в два ночи заказали в номер шикарный ужин. Алек не дал официанту на чай, так он, гаденыш, наверно, и донес.

Уныние Джилл рассеялось едва ли не быстрее, чем ночная тьма.

— Я вам вот что скажу,— заявила она,— ежели хотите покутить в веселой компании, держитесь подальше от спиртного, а ежели хотите напиться, держитесь подальше от спален.

— Запомню.

Он постучал в стекло, и машина остановилась у подъезда ночного ресторана.

— Алек вам очень близкий друг? — спросила Джилл, когда они взобрались на высокие табуреты и облокотились о грязную стойку.

— Был когда-то. Теперь, вероятно, больше не захочет и сам не будет понимать почему.

— Сумасшедшим надо быть, чтобы этакое взять на себя. Он что, очень важный человек? Важнее вас?

Эмори рассмеялся.

— Это покажет будущее,— отвечал он.— В этом и есть самый главный вопрос.

Рушатся несколько опор

Через два дня, уже снова в Нью-Йорке, Эмори нашел в газете то, что искал,— коротенькую заметку о том, что мистеру Эмори Блейну, заявившему, будто он проживает там-то, предложили покинуть отель в Атлантик-Сити, поскольку он принимал у себя в номере женщину, не являющуюся его женой.

А дочитав, он вздрогнул, и пальцы у него задрожали, потому что чуть выше в том же столбце он увидел другую заметку, подлиннее, которая начиналась словами:

«Мистер и миссис Леланд Р. Коннедж объявляют о помолвке своей дочери Розалинды с Дж. Досоном Райдером из Хартфорда, штат Коннектикут...»

Он выронил газету и лег на кровать, изнемогая от дурнотного ужаса. Она ушла из его жизни — теперь уже окончательно, безвозвратно. До сих пор где-то в глубине его души еще теплилась надежда, что когда-нибудь он ей понадобится, и она пошлет за ним, и скажет, что это было ошибкой, что сердце ее ноет от боли, которую она ему причинила. Не тешить ему себя больше даже темным желанием — не была желанна ни сегодняшняя Розалинда, что стала старше, черствее, ни та угасшая, сломленная женщина, которую воображение нет-нет да приводило на порог к нему сорокалетнему. Эмори нужна была ее молодость — сияющее цветение ее души и тела, все, что теперь будет ею продано. С этого дня для Эмори юная Розалинда умерла.

Через день он получил письмо от мистера Бартона из Чикаго — в сухих и четких выражениях тот извещал его, что, поскольку еще три трамвайные компании обанкротились, ни на какие денежные переводы Эмори в ближайшее время рассчитывать не должен. А в довершение всего пустым воскресным вечером пришла телеграмма, из которой он узнал, что пять дней назад монсеньор Дарси скоропостижно скончался в Филадельфии.

И тогда он понял, что привиделось ему за занавесками гостиничного номера в Атлантик-Сити.

Глава V

ЭГОИСТ СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ

На сажень в сон я погружен.
Влеченья, что смирял, теперь
Из заточенъя рвутся вон,
Как сумрак ломится сквозь дверь.
Хочу, чтобы помог сыскать
Мне веру новую рассвет...
Увы! Уныло все опять!
Конца завесам ливня нет.

О, встать бы вновь! Когда бы мог
Стряхнуть я хмеля давний пыл
И в небе сказочный чертог
Рассвет, как встарь, нагромоздил!
Когда б мираж воздушный стать
Мог символом, что даст ответ!
Увы! Уныло все опять:
Конца завесам ливня нет.

Стоя под стеклянным навесом какого-то театра, Эмори увидел, как первые крупные капли дождя шлепнулись на тротуар и расплылись темными пятнами. Воздух стал серым и матовым; в доме напротив вдруг возникло освещенное окно; потом еще огонек; потом целая сотня их замерцала, заплясала вокруг. Под ногами у него обозначилось желтым подвальное окно с железными шляпками гвоздей; фары нескольких такси прочертили полосы света по сразу почерневшей мостовой. Незваный ноябрьский дождь подло украл у дня последний час и снес его в заклад к старой процентщице — ночи.

Тишина в театре у него за спиной взорвалась каким-то странным щелчком, за которым последовал глухой гул разом задвигавшихся людей и оживленный многоголосый говор. Дневной спектакль кончился.

Он отступил немного в сторону, под дождь, чтобы дать дорогу толпе. Из подъезда выбежал мальчик, потянул носом свежий, влажный воздух и поднял воротник пальто; появились три-четыре спешащие пары; появилась небольшая кучка зрителей, и все, как один, взглядывали сперва на мокрую улицу, по-

том на повисший в воздухе дождь и, наконец, на хмурое небо; но вот из дверей густо повалила публика, и он задохнулся от тяжкого запаха, в котором мешался табачный дух мужчин и чувственность разогревшейся на женщинах пудры. После густой толпы опять выходили редкие группки; потом еще человек пять; мужчина на костылях; и наконец стук откидных сидений внутри здания возвестил, что за работу взялись капельдинеры.

Нью-Йорк, казалось, не то чтобы проснулся, а заворочался в постели. Мимо пробегали бледные мужчины, придерживая под подбородком поднятые воротники; в резких взрывах смеха из универсального магазина высыпал говорливый рой усталых девушек — по три под одним зонтом; промаршировал отряд полицейских, чудом успевших уже облачиться в клеенчатые накидки.

Дождь словно обострил внутреннее зрение Эмори, и перед ним грозной вереницей прошли все невзгоды, уготованные в большом городе человеку без денег. Гнусная, зловонная давка в метро — рекламы лезут в глаза, назойливые, как те невыносимо скучные люди, которые держат тебя за рукав, норовя рассказать еще один анекдот; брезгливое ощущение, что вот-вот кто-то на тебя навалится; мужчина, твердо решивший не уступать место женщине и ненавидящий ее за это, а женщина ненавидит его за то, что он не встает; в худшем случае — жалкая мешанина из чужого дыхания, поношенной одежды и запахов еды; в лучшем случае — просто люди, изнывающие от жары или дрожащие от холода, усталые, озабоченные.

Он представил себе комнаты, где живут эти люди,— где на вспученных обоях бесконечно повторяются крупные подсолнухи по желто-зеленому фону, где цинковые ванны и темные коридоры, а за домами — голые, без единой травинки дворы; где даже любовь сведена к совращению — прозаическое убийство за углом, незаконный младенец этажом выше. И неизменно — зимы в четырех стенах из соображений экономии и долгие летние месяцы с кошмарами в духоте липких, тесных квартирок... грязные кафе, где усталые, равнодушные люди кладут в кофе сахар своими уже облизанными ложками, оставляя в сахарнице твердые коричневые комки.

Если где-то собираются одни мужчины или одни женщины, это еще куда ни шло; особенно противно, когда они оказываются вместе; тут и стыд женщин, которых мужчины поневоле видят усталыми и нищими, и отвращение, которое уста-

лые, нищие женщины внушают мужчинам. Тут больше грязи, чем на любом поле сражения, видеть это тягостнее, чем реальные ужасы,— пот, и размокшая глина, и смертельная опасность; это атмосфера, в которой рождение, брак и смерть равно омерзительны и таятся от глаз.

Он вспомнил, как однажды в метро, когда вошел рассыльный с большим погребальным венком из живых цветов, от их аромата воздух сразу стал легче и все лица в вагоне на мгновение засветились.

«Терпеть не могу бедных,— вдруг подумал он.— Ненавижу их за то, что они бедные. Когда-то бедность, возможно, была красива, сейчас она отвратительна. Самое безобразное, что есть на свете. Насколько же чище быть испорченным и богатым, чем невинным и бедным». Перед глазами у него четко возникла картина, в свое время показавшаяся ему полной значения. Хорошо одетый молодой человек, глядя из окна клуба на Пятой авеню, сказал что-то другому, и лицо его выразило предельную гадливость. Вероятно, подумал Эмори, он тогда сказал: «О господи, до чего же люди противны!»

Никогда раньше Эмори не интересовался бедняками. Теперь он холодно установил, что абсолютно не способен кому-либо сочувствовать. О. Генри обнаружил в этих людях романтику, высокие порывы, любовь, ненависть, Эмори же видел только грубое убожество, грязь и тупость. Он в этом не раскаивался: никогда с тех пор он уже не корил себя за чувства естественные и искренние. Все свои реакции он принимал как часть себя, неизменную и вненравственную. Когда-нибудь эта проблема бедности, в ином, более широком аспекте, подчиненная какой-нибудь более возвышенной, более благородной позиции, возможно, даже станет его личной проблемой, теперь же она вызывала только сильнейшую брезгливость.

Он вышел на Пятую авеню, увертываясь от черной слепой угрозы зонтов, и, остановившись перед «Дельмонико», сделал знак автобусу. Застегнув пальто на все пуговицы, поднялся на империал и ехал под упорным моросящим дождем, снова и снова ощущая на щеках прохладную влагу. Где-то в его сознании начался разговор, вернее — не начался, а опять заставил к себе прислушиваться. Вели его не два голоса, а один, который и спрашивал и сам же отвечал на вопросы.

Вопрос. — Ну, как ты расцениваешь положение?

Ответ. — А так, что у меня осталось двадцать четыре доллара или около того.

В. — У тебя еще есть поместье в Лейк-Джинева.

О. — Его я намерен сохранить.

В. — Прожить сумеешь?

О. — Не представляю, чтобы не сумел. В книгах люди всегда наживают богатства, а я убедился, что могу делать все, что делают герои книг. Собственно, я только это и умею делать.

В. — Нельзя ли поточнее?

О. — Я еще не знаю, что буду делать,— и не так уж стремлюсь узнать. Завтра я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Нехороший город, если только не оседлать его.

В. — Тебе нужно очень много денег?

О. — Нет, я просто боюсь бедности.

В. — Очень боишься?

О. — Боюсь, но чисто пассивно.

В. — Куда тебя несет течением?

О. — А я почем знаю?

В. — И тебе все равно?

О. — В общем, да. Я не хочу совершать морального самоубийства.

В. — Хоть какие-то интересы у тебя остались?

О. — Никаких. И не осталось добродетели, которую можно бы потерять. Как остывающий чайник отдает тепло, так мы на протяжении всего отрочества и юности отдаем калории добродетели. Это и называется непосредственностью.

В. — Любопытная мысль.

О. — Вот почему свихнувшийся «хороший человек» всегда привлекает людей. Они становятся в круг и буквально греются о калории добродетели, которые он отдает. Сара в простоте душевной сказала что-то смешное, и на всех лицах появляется приторная улыбка: «Как она невинна, бедняжка!» Но Сара уловила приторность и никогда не повторит то же словечко. Однако после этого ей станет похолоднее.

В. — И твои калории ты все растерял?

О. — Все до единой. Я сам уже начинаю греться около чужой добродетели.

В. — Ты порочен?

О. — Вероятно. Не уверен. Я уже не могу с уверенностью отличить добро от зла.

В. — Это само по себе плохой признак?

О. — Не обязательно.

В. — В чем же ты усмотрел бы доказательство порочности?

О. — В том, что стал бы окончательно неискренним — называл бы себя «не таким уж плохим человеком», воображал, что жалею об утраченной молодости, когда на самом деле жалею только о том, как приятно было ее утрачивать. Молодость — как тарелка, горой полная сластей. Люди сентиментальные уверяют, что хотели бы вернуться в то простое, чистое состояние, в котором пребывали до того, как съели сласти. Это неверно. Они хотели бы снова испытать приятные вкусовые ощущения. Замужней женщине не хочется снова стать девушкой — ей хочется снова пережить медовый месяц. Я не хочу вернуть свою невинность. Я хочу снова ощутить, как приятно было ее терять.

В. — Куда тебя сносит течением?

Этот диалог несуразно вмешался в его обычное состояние духа — несуразную смесь из желаний, забот, впечатлений извне и физических ощущений.

Сто двадцать седьмая улица... Или Сто тридцать седьмая? Двойка и тройка похожи — впрочем, не очень. Сиденье отсырело... Это одежда впитывает влагу из сиденья или сиденье впитывает сухость из одежды?.. Не сиди на мокрой земле, схватишь аппендицит, так говорила мать Фрогги Паркера. Ну, это мне уже не грозит... Я предъявлю иск пароходной компании, сказала Беатриса, а четвертой частью их акций владеет мой дядя — интересно, попала Беатриса в рай?.. Едва ли. Он сам — вот бессмертие Беатрисы и еще увлечения многих умерших мужчин, которые ни разу о нем и не подумали... Ну, если не аппендицит, так, может быть, инфлюэнца... Что? Сто двадцатая улица? Значит, тогда была Сто вторая — один, ноль, два, а не один, два, семь. Розалинда не похожа на Беатрису, Элинор похожа, только она отчаяннее и умнее. Квартиры здесь дорогие — наверно, полтораста долларов в месяц, а то и двести. В Миннеаполисе дядя за весь огромный дом платил только сто в месяц. Вопрос: лестница на второй этаж была, как войдешь, слева или справа? В «Униви, 12» она, во всяком случае, была прямо вперед и налево. Какая грязная река — подойти поближе, посмотреть, правда ли грязная,— во Франции все реки бурые или черные, так и у нас на Юге. Двадцать четыре доллара — это четыреста восемьдесят пончиков. Можно прожить на них три месяца, а спать на скамейке в парке. Где-то сейчас Джилл — Джилл Бейн, Фейн, Сейн — о черт, шея затекла, ужасно неудобно сидеть. Ни малейшего желания переспать с Джилл, и что хорошего нашел в ней Алек? У Алека грубые вкусы по части женщин.

Мой вкус куда лучше. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинор — истые американки. Элинор — подающий, скорее всего левша. Розалинда — отбивающий, удар у нее замечательный. Клара, пожалуй, первая база. Как-то сейчас выглядит труп Хамберда... Не будь я инструктором по штыковому бою, я попал бы на позиции на три месяца раньше, вероятно, был бы убит. Где тут этот чертов звонок...

На Риверсайд-Драйв номера улиц едва проглядывали сквозь сетку дождя и мокрые деревья, но один он наконец разглядел — Сто двадцать седьмая. Он сошел с автобуса и, сам не зная зачем, свернул под гору по извилистой дороге, которая вывела его к реке, там, где за длинным молом приютилась стоянка мелких судов — моторок, каноэ, гребных шлюпок, парусников. Он пошел вдоль берега на север, перескочил через низкую проволочную ограду и очутился на большом дворе, примыкающем к пристани. Вокруг было множество лодок, ждущих ремонта; пахло опилками, краской и, едва уловимо и пресно,— Гудзоном. Сквозь густую мглу к нему приблизился какой-то человек.

— Пропуск есть?

— Нет. А это частное владение?

— Это яхт-клуб «Гудзон».

— Вот как, я не знал. Я просто хотел отдохнуть.

— Ну...— начал тот с сомнением в голосе.

— Если скажете, я уйду.

Сторож проворчал что-то, не означавшее ни «да» ни «нет», и прошел мимо. Эмори сел на перевернутую лодку и, наклонившись вперед, подпер щеку ладонью.

— Все эти напасти, того и гляди, сделают из меня совсем никудышного человека,— проговорил он медленно.

В часы упадка

Под непрестанно моросящим дождем Эмори вяло оглянулся на реку своей жизни, на все ее сверкающие излучины и грязные отмели. Страх все еще владел им — не физический страх, но страх перед людьми, перед предрассудками, нуждой, однообразием. Однако в глубине своей усталой души он спрашивал себя, в самом ли деле он настолько хуже других. Он знал, что с помощью двух-трех софизмов сумеет прийти к выводу, что его слабость обусловлена просто средой и обстоятельствами,что еще не раз, когда он начнет яростно обличать свой

эгоизм, какой-то голос вкрадчиво шепнет: «Нет, гений!» Это было одним из проявлений страха — этот голос, нашептывающий, что нельзя быть одновременно великим и добрым, что гениальность — единственно возможное сочетание необъяснимых изломов и бороздок в его сознании, что всякая дисциплина сведет ее к нулю. Сильнее любого отдельно взятого порока или недостатка он презирал самого себя, с отвращением сознавая, что и завтра, и через тысячу дней он будет пыжиться в ответ на комплимент и обижаться на неодобрительное слово, как третьестепенный музыкант или первоклассный актер. Он стыдился того, что очень простые и честные люди обычно относились к нему с недоверием; что он часто проявлял жестокость к тем, кто готов был в нем раствориться,— к нескольким девушкам и кое-кому из мужчин в студенческие годы; что он оказал дурное влияние на людей, время от времени пускавшихся следом за ним в теоретические похождения, из которых он один выходил невредимым.

Обычно в такие вечера — а за последнее время их было много — ему помогали избавиться от этого изнурительного самокопания мысли о детях и о безграничных возможностях, в них заложенных. Он весь обращался в слух, когда в доме напротив просыпался в испуге младенец и ночная тишина звенела тоненьким плачем. Он содрогался от ужаса — неужели это его мрачное отчаяние легло тенью на крошечную душу? Дрожь пробирала его. Что, если настанет день, когда равновесие нарушится и он превратится в чудовище, которое пугает детей, во мраке пробирается в комнаты, общается с призраками, что поверяют жуткие тайны безумцам, обитающим на темных просторах луны...

Улыбка тронула его губы.

«Слишком ты поглощен самим собой»,— сказал кто-то.

И еще:

«Ступай, займись настоящим делом».

«Перестань терзаться...»

Когда-нибудь он, возможно, и ответит:

«Да, в молодости я, пожалуй, был эгоистом, но скоро понял, что слишком много думать о себе не полезно».

Внезапно его захлестнуло желание послать все к черту и исчезнуть — не покончить с собой, как подобает джентльмену, а спокойно и сладостно скрыться от людских глаз. Он вообразил себя в глинобитном доме в Мексике — полулежит на

тахте, покрытой коврами, в тонких изящных пальцах зажата папироса, рядом гитары наигрывают печальную мелодию, рожденную в Кастилии в незапамятные времена, и девушка с оливковой кожей и карминовыми губами гладит его по волосам. Здесь он мог бы жить день за днем, избавленный от добра и зла, от мук совести и от любого бога (кроме экзотического мексиканского бога, который и сам не без греха и не в меру привержен восточным благовониям), избавленный от успеха, и надежды, и бедности, блаженно скользя вниз по наклонной дороге, что спускается, в конце концов, всего лишь к искусственному озеру смерти.

Сколько есть на свете мест, где можно с приятностью идти ко дну,— Порт-Саид, Шанхай, некоторые уголки Туркестана, Константинополь, Южные моря — всё края печальной, завораживающей музыки и многих ароматов, где наслаждение может стать укладом и смыслом жизни, где тени ночного неба и закаты отражают только состояния страсти — краски маков и губ.

Мысли, мысли

Когда-то он безошибочно чуял зло, как лошадь ночью чует впереди сломанный мост. Но остроногий дьявол в комнате Фебы обернулся всего лишь светящейся пеленой над Джилл. Инстинктом он улавливал зловоние бедности, но уже не мог добраться глубже — до зла гордыни и похоти.

Не осталось мудрецов, не осталось героев; Бэрн Холидей исчез, словно никогда и не жил; монсеньор умер; Эмори одолел сотни книг, сотни лживых вымыслов; он долго и жадно прислушивался к людям, которые притворялись, что знают, а не знали ничего. Мистические откровения святых, некогда наполнявшие его благоговением, теперь слегка ему претили. Байроны и Бруки, бросавшие жизни вызов с горных вершин, оказались на поверку позерами и фланерами, в лучшем случае принимавшими видимость мужества за реальную мудрость. Скопившееся в нем разочарование было словно пышное, старое как мир шествие пророков, философов, мучеников, святых, ученых, Дон Жуанов, иезуитов, пуритан, Фаустов, поэтов, пацифистов; подобно питомцам колледжа, явившимся в парадных мантиях на встречу однокашников, они проходили перед ним: так некогда их мечты, их личности и идеи по очереди от-

брасывали яркие отблески на его душу; каждый из них в свое время пытался прославить жизнь и утвердить первостепенную значимость человека; каждый похвалялся, что сумел связать прошлое с собственными шаткими построениями; каждый в конечном счете исходил из готовой мизансцены и из театральной условности, состоящей в том, что человек, алчущий веры, питает свой ум той пищей, что ближе и доступней.

Женщины, от которых он так многого ждал, чью красоту он надеялся выразить в формах искусства, чьи непостижимые инстинкты, божественно противоречивые и невнятные, мечтал увековечить на основе опыта, стали всего лишь истоками собственного потомства. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинор — самая их красота, на которую слетались мужчины, лишила их возможности обогатить его чем-либо, кроме сердечной тоски да странички, растерянно исписанной словами.

Утрату веры в помощь извне Эмори обосновывал несколькими смелыми силлогизмами. Допустим, что его поколение, хоть и поредевшее после этой викторианской войны и травмированное ею, призвано наследовать прогресс. Но даже если отбросить мелкие расхождения в выводах, временами приводящие к смерти нескольких миллионов молодых мужчин, однако же поддающиеся объяснению, если признать, что в конечном счете Бернард Шоу и Бернгарди*, Бонар Лоу* и Бетман-Хольвег* равноправные наследники прогресса хотя бы потому, что все они выступали против мракобесия,— если отбросить антитезы и взять этих людей, этих властителей дум по отдельности,— с отвращением замечаешь, до чего непоследователен и противоречив каждый из них.

Вот, к примеру, Торнтон Хэнкок — его уважает половина образованных людей во всем мире, он авторитет в вопросах жизни, человек, следующий собственному кодексу и верящий в него, наставник наставников, советчик президентов,— а ведь Эмори знал, что в глубине души этот человек равнялся на священника другой церкви.

А у монсеньора, на которого полагался сам кардинал, бывали минуты странных и страшных колебаний, необъяснимых в религии, которая даже безверие объясняет формулами собственной веры: если ты усомнился в существовании дьявола, это дьявол внушил тебе сомнение в том, что он существует. Эмори сам видел, как монсеньор, чтобы спастись от этого наваждения, ходил в гости к тупым филистерам, запоем читал дешевые романы, глушил себя повседневными делами.

И монсеньор, это Эмори тоже знал, был пусть поумнее, почище, но ненамного старше его самого.

Эмори остался один — из маленького загона он вырвался в большой лабиринт. Он был там, где был Гете, когда начинал «Фауста», где был Конрад, когда писал «Каприз Олмейера».

Эмори подумал, что есть две категории людей, которые, в силу природной ясности мышления или в силу разочарования, покидают загон и стремятся в лабиринт. Во-первых, это люди, подобные Платону и Уэллсу, отмеченные своеобразной полуосознанной ортодоксальностью, приемлющие для себя только то, что считают приемлемым для всех, неисправимые романтики: им, как они ни стараются, никогда не войти в лабиринт в числе отважных душ. А во-вторых, это бесстрашные бунтари, первооткрыватели — Сэмюел Батлер*, Ренан, Вольтер,— которые продвигаются намного медленнее, но заходят намного дальше — не по пути пессимистической умозрительной философии, но в неустанных попытках утвердить реальную ценность жизни...

Эмори прервал себя. Впервые в жизни он четко ощутил недоверие к каким бы то ни было обобщениям и афоризмам. Слишком они опасны, слишком легко воспринимаются общественным сознанием. А между тем именно в таком виде серьезные идеи обычно лет через тридцать доходят до публики. Бенсон и Честертон популяризировали Гюисманса и Ньюмена; Шоу завернул в глянцевую обложку Ницше, Ибсена и Шопенгауэра. Рядовой человек знакомится с выводами умерших гениев по ловким парадоксам и назидательным афоризмам, созданным кем-то другим.

Жизнь — чертова неразбериха... футбол, в котором все игроки вне игры, а судьи нет, и каждый кричит, что судья был бы на его стороне...

Прогресс — лабиринт... Человек врывается в него как слепой, а потом выбегает обратно как безумный, вопя, что нашел его, вот он, незримый король,— élan vital[1],— принцип эволюции... и пишет книгу, развязывает войну, основывает школу...

Эмори, даже не будь он эгоистом, начал бы поиски истины с себя самого. Для себя он — самый наглядный пример, вот он сидит под дождем — человеческая особь, наделенная полом и гордостью, волею случая и собственным темпераментом отторгнутая от блага любви и отцовства, сохраненная, чтобы участвовать в формировании сознания всего человечества...

---

[1] Сила жизни (*фр.*).

С чувством вины, одиночества, утраты всех иллюзий подошел он ко входу в лабиринт.

Новый рассвет повис над рекой; запоздалое такси промчалось по набережной, его непогашенные фары горели, как глаза на лице, побелевшем после ночного кутежа. Вдали печально прогудел пароход.

Монсеньор

Эмори все думал о том, как доволен остался бы монсеньор своими похоронами. То был апофеоз католичества и обрядности. Торжественную мессу служил епископ О'Нийл, последнее отпущение грехов прочел над покойным сам кардинал. Все были здесь — Торнтон Хэнкок, миссис Лоренс, послы, итальянский и английский, без счета друзей и духовенства,— но неумолимые ножницы перерезали все эти нити, которые монсеньор собрал в своей руке. Эмори в безутешном горе смотрел, как он лежит в гробу, с руками, сложенными поверх алого облачения. Лицо его не изменилось и не выражало ни боли, ни страха,— ведь он ни минуты не знал, что умирает. Для Эмори это был все тот же милый старый друг, и не для него одного — в церкви было полно людей с растерянными, подавленными лицами, и больше всех, казалось, были удручены самые высокопоставленные.

Кардинал, подобный архангелу в ризах и в митре, покропил святой водой, загудел орган, и певчие запели «Requiem Eternam»[1].

Все эти люди горевали потому, что при жизни монсеньора в той или иной мере полагались на него. Горе их было больше, чем грусть о его «чуть надтреснутом голосе или чуть припадающей походке», как выразил это Уэллс. Эти люди опирались на веру монсеньора, на его дар не падать духом, видеть в религии и свет и тени, видеть всякий свет и всякие тени лишь как грани бога. Когда он был близко, люди переставали бояться.

Из попытки Эмори принести себя в жертву родилось только твердое понимание того, что никаких иллюзий у него не осталось, а из похорон монсеньора родился романтический эльф, готовый вместе с Эмори вступить в лабиринт. Он обрел нечто такое, в чем всегда ощущал, всегда будет ощущать потребность,— не вызывать восхищение, чего прежде опасался,

[1] «Вечный покой» (*лат.*).

не вызывать любовь, в чем сумел себя убедить, но стать нужным другим, стать необходимым; он вспомнил, какая спокойная сила исходила от Бэрна.

Жизнь раскрывалась в одном из своих поразительных озарений, и Эмори разом и бесповоротно отбросил старый афоризм, которым не прочь бывал лениво себя потешить: «Очень мало что имеет значение, а большого значения не имеет ничто».

Сейчас, напротив, он ощущал сильнейшее желание вливать в людей уверенность и силы.

Толстяк в «консервах»

В тот день, когда Эмори пустился пешком в Принстон, небо было как бесцветный свод, прохладное, высокое, не таящее угрозы дождя. Пасмурный день, самая бесплотная погода, день для мечтаний, далеких надежд, ясных видений. День, словно созданный для тех чистых построений и абстрактных истин, что испаряются на солнце либо тонут в издевательском смехе при свете луны. Деревья и облака были прорисованы с классической четкостью, деревенские звуки сливались в единый гул, металлический, как труба, беззвучный, как греческая урна у Китса.

Погода привела Эмори в столь созерцательное настроение, что он причинил немалую досаду нескольким автомобилистам,— чтобы не наехать на него, им пришлось значительно сбавить скорость. Так глубоко он ушел в свои мысли, что не очень удивился, когда какая-то машина затормозила рядом с ним и чей-то голос окликнул его — проявление человечности, почти небывалое в радиусе пятидесяти миль от Манхэттена. Подняв голову, он увидел роскошный автомобиль, в котором сидело двое немолодых мужчин: один — маленький человечек с озабоченным лицом, по всей видимости, паразитирующий на втором — крупном, внушительном, в очках-«консервах».

— Хотите, подвезем? — спросил паразитирующий, уголком глаза взглянув на внушительного, словно по привычке испрашивая у него молчаливого подтверждения.

— Еще бы не хотеть. Спасибо.

Шофер распахнул дверцу, и Эмори, усевшись посередине заднего сиденья, с интересом пригляделся к своим спутникам. Он решил, что отличительная черта толстяка — безграничная уверенность в себе, притом что все окружающее вызывает у

него смертельную скуку. Его лицо, в той части, что не была скрыта очками, принадлежало к разряду «сильных»; подбородок утопал в респектабельных валиках жира; выше имелись длинные тонкие губы и черновой набросок римского носа, ниже плечи без борьбы давали себя поглотить мощной массе груди и живота. Одет он был превосходно и строго. Эмори заметил, что он почти все время смотрит в затылок шоферу, словно упорно, но тщетно стараясь решить какую-то сложную шевелюрную проблему.

Второй, маленький, был примечателен лишь тем, что без остатка растворялся в первом. Человечек секретарского типа, из тех, что к сорока годам заводят себе визитные карточки со словами «Помощник президента» и без вздоха обрекают себя до конца дней на второстепенные роли.

— Далеко путь держите? — спросил человечек безразлично-любезным тоном.

— Да неблизко.

— Решили пройтись для моциона?

— Нет,— деловито ответил Эмори.— Я иду пешком, потому что на проезд у меня нет денег.

— Вот как.— И после паузы: — Ищете работы? А работы, между прочим, сколько угодно,— продолжал он неодобрительно.— Уши вянут слушать эти толки о безработице. Особенно не хватает рабочих рук на Западе.— Слово «Запад» он подчеркнул, широко поведя рукой справа налево.

Эмори вежливо кивнул.

— Специальность у вас есть?

Нет, специальности нет.

— Служили клерком?

Нет, клерком Эмори не служил.

— Чем бы вы ни занимались,— сказал человечек, словно согласившись с доводами Эмори,— сейчас время великих возможностей, блестящих деловых перспектив.— Он опять взглянул на толстяка,— так адвокат, когда тянет жилы из свидетеля, невольно взглядывает на присяжных.

Эмори решил, что нужно что-то ответить, но хоть убей не мог придумать ничего, кроме фразы:

— Я, конечно, хочу нажить много денег.

Человечек посмеялся невесело, но старательно.

— Этого сейчас хотят все, а вот поработать ради этого никто не хочет.

— Ну что ж, вполне естественная, здравая точка зрения. Почти всякий нормальный человек хочет разбогатеть без особых усилий, это только в проблемных пьесах финансисты «идут на все ради миллиона». А вас разве не прельщают незаработанные деньги?

— Разумеется, нет! — возмутился человечек.

— Однако,— продолжал Эмори, пропустив его слова мимо ушей,— поскольку в настоящее время я очень беден, я в некотором роде склоняюсь к социализму.

Оба спутника с любопытством на него поглядели.

— Эти террористы с бомбами...

Человечек умолк, потому что из чрева толстяка прозвучало гулко и внушительно:

— Если б я думал, что вы бросаете бомбы, я бы вас доставил прямо в тюрьму в Ньюарке. Вот мое мнение о социалистах.

Эмори рассмеялся.

— Вы кто? — вопросил толстяк.— Салонный большевик? Идеалист? Большой разницы я, кстати сказать, между ними не вижу. Идеалисты — бездельники, только и могут, что писать чепуху, которая вводит в соблазн неимущих иммигрантов.

— Что ж,— сказал Эмори,— если быть идеалистом и безопасно и прибыльно, почему не попробовать.

— С вами-то что стряслось? Потеряли работу?

— Не совсем, а впрочем, можно сказать и так.

— Какая была работа?

— Писал тексты для рекламного агентства.

— Реклама — дело денежное.

Эмори скромно улыбнулся.

— Да, я согласен, в конце концов оно может стать денежным. Таланты у нас теперь не умирают с голоду. Даже искусство ест досыта. Художники рисуют вам обложки для журналов, пишут вам тексты реклам, сочиняют регтаймы для ваших театров. Переведя печать на коммерческие рельсы, вы обеспечили безвредное, приличное занятие каждому гению, который мог бы заговорить собственным голосом. Но берегитесь художника, который в то же время интеллигент. Художника, которого не подстричь под общую гребенку,— такого, как Руссо, или Толстой, или Сэмюел Батлер, или Эмори Блейн.

— Это еще кто? — подозрительно спросил человечек.

— Это,— сказал Эмори,— это один интеллигент, еще не очень широко известный.

Человечек посмеялся своим старательным смехом и разом умолк под пылающим взглядом Эмори.

— Чему вы смеетесь?

— Ох уж эти интеллигенты...

— А вам понятно, что означает это слово?

Человечек беспокойно заморгал.

— Обычно оно означает...

— Оно *всегда* означает: умный и широкообразованный,— перебил его Эмори.— Активно осведомленный в истории человечества.— Он намеренно говорил очень грубо. Он обратился к толстяку: — Этот молодой человек,— он указал на секретаря большим пальцем и назвал его «молодым человеком», как слугу называют «бой» безотносительно возраста,— весьма смутно представляет себе истинное значение многих заезженных слов — явление довольно обычное.

— Вы против контроля капитала над прессой? — спросил толстяк, уставившись на него очками.

— Да, я против того, чтобы проделывать за других всю умственную работу. У меня сложилось впечатление, что цель бизнеса состоит в том, чтобы выжимать максимум работы, безобразно низко оплачиваемой, из дураков, которые на это идут.

— Ну, знаете ли,— возразил толстяк,— рабочим-то платят немало, с этим вы не можете не согласиться,— и рабочий день шесть часов, а то и пять, просто смешно. А если он член профсоюза, его вообще не заставишь работать как следует.

— Вы сами в этом виноваты,— стоял на своем Эмори.— Вы никогда не идете на уступки, пока их не вырвут у вас силой.

— Кто это мы?

— Ваш класс, тот класс, к которому и я принадлежал до недавнего времени. Те, кого отцовское наследство, или собственное упорство, или смекалка, или нечестность привели в ряды имущего класса.

— Вы что же, воображаете, что вон тот рабочий, что ремонтирует дорогу, охотнее расстался бы со своими деньгами, если бы они у него были?

— Нет, но при чем это здесь?

Собеседник его помолчал, подумал.

— Пожалуй, что ни при чем. А какая-то связь все-таки есть.

— Мало того,— продолжал Эмори,— он повел бы себя хуже. У низших классов более узкий кругозор, они менее гибки, и, как индивидуумы, более эгоистичны, и, уж конечно, более

тупы. Но все это не имеет ни малейшего отношения к интересующему нас вопросу.

— А в чем же именно состоит вопрос, который нас интересует?

Здесь Эмори пришлось призадуматься, прежде чем решить, в чем состоит этот вопрос.

Эмори придумал новый оборот речи

— Когда умный и неплохо образованный человек попадает в лапы к жизни,— начал Эмори медленно,— другими словами, когда он женится, он в девяти случаях из десяти становится консерватором во всем, что касается существующих социальных условий. Пусть он отзывчивый, добрый, даже по-своему справедливый, все равно главная его забота — добывать деньги и держаться за свое место под солнцем. Жена подстегивает его — от десяти тысяч в год к двадцати тысячам в год, а потом еще и еще, без конца крутить педали в помещении без окон. Он погиб! Жизнь заглотнула его! Он уже ничего не видит вокруг! У него душа женатого человека.

Эмори умолк и подумал, что последняя фраза прозвучала неплохо.

— Есть, правда, люди,— продолжал он,— которым удается избежать этого рабства. Либо их жены не заражены честолюбием; либо они вычитали в какой-нибудь «опасной книге» особенно полюбившуюся им мысль; либо они, как я, например, уже начали было крутить педали, но получили по шапке. Так или иначе, это те конгрессмены, что не берут взяток, те президенты, что не занимаются политиканством, те писатели, ораторы, ученые, государственные деятели, что не пожелали стать всего лишь источником земных благ для нескольких женщин и детей.

— Это и есть радикалы?

— Да,— сказал Эмори.— Есть разновидности — вплоть до такого трезвого критика, как старый Торнтон Хэнкок. Так вот, у этого человека с душой неженатого нет прямой власти, так как, к несчастью, человек с душой женатого в ходе своей погони за деньгами прибрал к рукам серьезную газету, популярный журнал, влиятельный еженедельник — все для того, чтобы миссис Газета, миссис Журнал, миссис Еженедельник могла обзавестись более шикарным лимузином, чем тот, каким вла-

деет нефтяное семейство в доме напротив или цементное семейство в доме за углом.

— А чем это плохо?

— Тем, что богачи становятся охранителями общественного сознания, а человек, владеющий деньгами при одной социальной системе, конечно же, не станет рисковать благополучием своей семьи и не допустит, чтобы в его газете появились требования изменить эту систему.

— Однако же они появляются.

— Где? В дешевых изданиях, которых никто не читает. В паршивых журнальчиках на скверной бумаге.

— Ладно, давайте дальше.

— Так вот, я утверждаю, что в результате ряда условий, из которых главное — семья, есть умные люди двух видов. Одни принимают человеческую природу такой, как она есть, используя в своих целях и ее робость, и слабость, и силу. А противостоит им человек с душой неженатого — тот непрерывно ищет новые системы, способные контролировать или обуздывать человеческую природу. Ему приходится труднее. Сложна не жизнь, а задача направлять и контролировать ее. В этом и состоит его цель. Он — элемент прогресса, а человек с душой женатого — нет.

Толстяк извлек на свет три толстые сигары и, как на блюде, предложил их спутникам на своей огромной ладони. Человечек сигару взял. Эмори покачал головой и потянулся за сигаретой.

— Поговорите еще,— сказал толстяк.— Мне давно хотелось послушать вашего брата.

На первую скорость

— Современная жизнь,— снова заговорил Эмори,— меняется уже не от века к веку, а от года к году, в десять раз быстрее, чем когда-либо раньше. Население в некоторых странах удвоилось, цивилизации все больше сближаются, экономическая взаимозависимость, расовый вопрос, а мы — мы топчемся на месте. Я считаю, что нам нужно двигаться гораздо быстрее.

Последние слова он слегка подчеркнул, и шофер бессознательно прибавил скорость. Эмори и толстяк рассмеялись; человечек, чуть отстав, рассмеялся тоже.

— У всех детей,— сказал Эмори,— должны быть для начала равные шансы. Если отец на первых ступенях воспитания может дать ребенку физическую закалку, а мать — привить ему

начатки здравого смысла, это и должно стать его наследством. Если отец не в силах дать ему физическую закалку, если мать в те годы, когда она должна была готовиться к воспитанию детей, только гонялась за мужчинами,— тем хуже для ребенка. Не надо дарить ему искусственные подпорки в виде денег, обучать в этих отвратных частных школах, протаскивать через университет... у всех детей должны быть равные шансы.

— Понятно,— сказал толстяк, и очки его не выразили ни одобрения, ни протеста.

— А еще я попробовал бы передать всю промышленность в собственность государства.

— Пробовали. Не получается.

— Вернее — пока не получилось. Будь у нас государственная собственность, лучшие аналитические умы в государственном аппарате работали бы не только для себя. Вместо Бэрлсонов у нас были бы Маккеи. В казначействе у нас были бы Морганы; торговлей между штатами ведали бы Хиллы. В сенате заседали бы лучшие юристы.

— Они не стали бы работать в полную силу задаром. Макаду...

— Нет,— Эмори покачал головой,— деньги не единственный стимул, который выявляет лучшее в человеке, даже в Америке.

— А сами только что говорили, что единственный.

— Сейчас — да. Но если бы частная собственность была ограничена законом, лучшие люди устремились бы в погоню за единственной другой наградой, способной привлечь человечество,— за почетом.

Толстяк насмешливо фыркнул.

— Глупее этого вы еще ничего не сказали.

— Это не глупо. Это вполне вероятно. Если б вы учились в колледже, вы бы не могли не заметить, что некоторые богатые студенты учились ради всяких мелких почестей вдвое прилежнее, чем те, которым приходилось еще и зарабатывать.

— Ребячество, детская игра,— издевался его противник.

— Ничего подобного — или тогда мы все, значит, дети. Вы когда-нибудь видели взрослого человека, который стремится стать членом тайного общества? Или недавно разбогатевшую семью, которая мечтает быть принятой в широко известный клуб? У них при одном упоминании этих мест глаза разгораются. Что человека можно заставить работать, только если держать у него перед глазами золото,— это не аксиома, а наслоение. Мы так давно это делаем, что уже забыли, что есть и иные

пути. В мире, который мы создали, это стало необходимостью. Уверяю вас,— Эмори все больше воодушевлялся,— если взять десять человек, застрахованных и от богатства и от голода, и предложить им на выбор — работать по пять часов в день за зеленый бант или по десять часов в день за синий, девять из них стали бы состязаться за синий. Инстинкту соперничества не хватает только эмблемы. Если эмблема — большой дом, они будут трудиться не покладая рук ради самого большого дома. Если это всего лишь синий бант, я, черт возьми, уверен, что они будут стараться не меньше.

— Не согласен.

— Я знаю.— Эмори грустно покивал головой.— Но сейчас это уже не так важно. Думаю, что недалеко то время, когда эти люди сами возьмут у вас то, что им нужно.

Человечек злобно прошипел:

— Пулеметы?

— Вы же и научили их пускать в ход пулеметы.

Толстяк покачал головой.

— У нас в стране достаточно собственников, они этого не допустят.

Эмори пожалел, что не знает процентного отношения американцев, владеющих и не владеющих собственностью, и решил переменить тему.

Но толстяк был задет за живое.

— Когда вы говорите «взять», вы касаетесь опасной темы.

— А как иначе им получить свое? Сколько лет народ кормили обещаниями. Социализм — это, может быть, и не шаг вперед, но угроза красного флага безусловно есть движущая сила всякой реформы. Чтобы к вам прислушались, нужно пустить пыль в глаза.

— Примером благотворного насилия, надо думать, служит для вас Россия?

— Пожалуй,— признал Эмори.— Разумеется, там хватают через край, как было и во время французской революции, но я не сомневаюсь, что это интереснейший эксперимент и проделать его стоило.

— А умеренность вы не цените?

— Умеренных вы не желаете слушать, да и время их прошло. Дело в том, что с народом произошло нечто поразительное, какое бывает раз в сто лет: он ухватился за идею.

— Какую именно?

— Что ум и способности у людей бывают разные, а вот желудки у всех в основном одинаковые.

Человечку тоже достается

— Если бы взять все деньги, существующие в мире...— глубокомысленно произнес человечек,— и разделить их на рав...

— А, бросьте! — отмахнулся Эмори и, даже не взглянув на его возмущенную физиономию, продолжал свое: — Человеческий желудок...

Но тут толстяк раздраженно перебил его:

— Я слушал вас внимательно, но очень прошу, не касайтесь желудков. Мой мне сегодня с утра не дает покоя. В общем, с половиной того, что вы тут наговорили, я не согласен. В основе всех ваших рассуждений — государственная собственность, а государственный аппарат — рассадник коррупции. Не станут люди работать ради синих бантов. Чепуха это.

Когда он умолк, человечек уверенно кивнул и заговорил снова, словно решив на этот раз не дать себя сбить с толку.

— Есть вещи, заложенные в самой природе человека,— изрек он с умным видом.— Так было всегда и всегда будет, и изменить это невозможно.

Эмори беспомощно перевел взгляд с него на толстяка.

— Вот, слышали? Ну как тут не отчаяться в прогрессе? Нет, вы только послушайте! Да я могу с ходу назвать вам десятки природных явлений, которые человеческая воля изменила, десятки инстинктов, которые цивилизация убила или обезвредила. То, что сказал сейчас этот человек, тысячелетиями служило последним прибежищем для болванов всего мира. Ведь этим сводятся на нет усилия всех ученых, государственных деятелей, моралистов, реформаторов, врачей и философов, которые когда-либо посвящали свою жизнь служению человечеству. Это отрицание всего, что есть в человеческой природе достойного. Каждого гражданина, достигшего двадцатипятилетнего возраста, который всерьез это утверждает, надо лишать права голоса.

Человечек, побагровев от ярости, откинулся на спинку сиденья. Эмори продолжал, обращаясь к толстяку.

— Полуграмотные, косные люди, такие, как этот ваш приятель, только воображают, что способны думать, а на самом деле какой вопрос ни возьми, в голове у них полнейшая путаница из готовых штампов... То это «бесчеловечная жестокость пруссаков», то «немцев надо истребить всех до единого». Вечно они толкуют, что «дела сейчас плохи», но притом «нет у

них веры в этих идеалистов». Сегодня Вильсон у них «мечтатель, оторванный от практической жизни»,— а через год они осыпают его бранью за то, что он пытается претворить свои мечты в жизнь. Мыслить четко, логически они не умеют, умеют только тупо противиться любой перемене. Они считают, что необразованным людям не следует много платить за работу, но не понимают, что если не платить прилично необразованным людям, их дети тоже останутся без образования, и так мы и будем ходить по кругу. Вот он — великий класс, средняя буржуазия!

Толстяк, расплывшись в улыбке, пригнулся к своему секретарю:

— Здорово он вас честит, Гарвин. Ну и как оно?

Человечек попытался улыбнуться и сделать вид, будто все эти нелепости и слушать не стоит. Но Эмори еще не кончил:

— Теория, согласно которой народ способен сам собой управлять, упирается в этого человека. Если возможно научить его мыслить четко, сжато и логично, освободить его от привычки прятаться за трюизмы, предрассудки и сентиментальный вздор, тогда я — воинствующий социалист. Если это невозможно, тогда, думается мне, не так уж важно, что станется с человеком и с обществом сейчас или когда бы то ни было.

— Слушать вас интересно и забавно,— сказал толстяк.— Вы очень молоды.

— Это может означать только одно — что современный опыт еще не успел ни развратить меня, ни запугать. Я владею самым ценным опытом, опытом истории, потому что, хоть и учился в колледже, сумел получить хорошее образование.

— Язык у вас неплохо подвешен.

— Не все это чепуха! — страстно воскликнул Эмори.— Сегодня я в первый раз в жизни ратовал за социализм. Другой панацеи я не знаю. Я неспокоен. Все мое поколение неспокойно. Мне осточертела система, при которой кто богаче, тому достается самая прекрасная девушка, при которой художник без постоянного дохода вынужден продавать свой талант пуговичному фабриканту. Даже не будь у меня таланта, я бы не захотел трудиться десять лет, обреченный либо на безбрачие, либо на тайные связи, ради того, чтобы сынок богача мог кататься в автомобиле.

— Но если вы не уверены...

— Все равно! — вскричал Эмори.— Хуже моего положения ничего не придумаешь. Революция могла бы вынести меня на

поверхность. Да, я, конечно, эгоист. Я чувствую, что при всех этих обветшалых системах был как рыба, вынутая из воды. Из всего моего выпуска в колледже только я и еще каких-нибудь два десятка человек получили приличное образование. А они там принимали в футбольную команду любого идиота-зубрилу, а меня считали недостойным этой чести, потому, видите ли, что какой-то выживший из ума старикашка считал, что мы все должны усвоить коническое сечение. Армия мне глубоко противна. Деловая жизнь тоже. Я влюблен во всякую перемену и убил в себе совесть.

— И будете кричать на всех перекрестках, что нам следует двигаться быстрее.

— Это хотя бы бесспорно,— не сдавался Эмори.— Реформы не будут поспевать за требованиями цивилизации, если их не подгонять. Политика невмешательства — это все равно как баловать ребенка, уверяя, что в конце концов он станет порядочным человеком. Да, станет — если его принудить.

— Но вы же сами не верите во все эти социалистические бредни.

— Не знаю. До разговора с вами я об этом серьезно не задумывался. Во многом из того, что я сказал, я не уверен.

— Вы меня удивляете,— сказал толстяк.— А впрочем, все вы такие. Говорят, Бернард Шоу, несмотря на все свои доктрины, самый прижимистый из драматургов, когда дело касается гонорара. Не уступит ни фартинга.

— Что ж,— сказал Эмори,— я просто констатирую, что во мне говорит пытливый ум беспокойного поколения, и я имею все основания поставить свой ум и перо на службу радикалам. Даже если бы в глубине души я считал, что все мы — слепые атомы в мире, который теснее, чем размах маятника, я и мне подобные стали бы бороться против отжившего, пытаться на худой конец заменить старые прописи новыми. В разное время мне начинало казаться, что я правильно смотрю на жизнь, но верить очень трудно. Одно я знаю. Если не посвятить жизнь поискам святого Грааля, можно провести ее не без приятности.

Минуту оба молчали, потом толстяк спросил:

— Вы в каком университете учились?

— В Принстоне.

Толстяк как-то сразу оживился. Выражение его очков слегка изменилось.

— У меня сын был в Принстоне.

— В самом деле?

— Может быть, вы его знали. Его звали Джесси Ферренби. Он убит во Франции, в прошлом году.

— Я очень хорошо его знал. Могу даже сказать, что он был одним из моих ближайших друзей.

— Он был... хороший мальчик. Мы с ним были очень дружны.

Теперь Эмори заметил сходство между отцом и погибшим сыном, и ему уже казалось, что он с самого начала уловил в лице толстяка что-то знакомое. Джесси Ферренби, тот, что завоевал корону, которой он сам домогался. Как давно это было! Какими они были детьми, лезли из кожи вон ради синих бантов...

Автомобиль замедлил ход у въезда в обширное владение, обсаженное густой изгородью и обнесенное высокой железной оградой.

— Может, заедете ко мне позавтракать?

— Большое спасибо, мистер Ферренби, но я спешу.

Толстяк протянул ему руку. Эмори было ясно, что тот факт, что он знал Джесси, намного перевесил неодобрение, которое он заслужил своими еретическими взглядами. Как могущественны призраки! Даже человечек пожелал пожать ему руку.

— До свиданья! — крикнул толстяк, когда машина стала сворачивать в ворота.— Желаю удачи вам и неудачи вашим теориям.

— И вам того же, сэр! — отозвался Эмори, улыбаясь, и помахал ему вслед.

«От камелька, из комнаты уютной...»

До Принстона оставалось еще восемь часов ходьбы, когда Эмори сел отдохнуть у дороги и окинул взглядом тронутую морозцем окрестность. Природа, думалось ему, если понимать ее как нечто в общем-то грубое, состоящее по преимуществу из полевых цветов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются поблекшими, и муравьев, вечно снующих по травинкам, таит в себе одни разочарования; куда предпочтительнее природа в виде неба, водного простора и далеких горизонтов. Сейчас мороз, предвестник зимы, будоражил его, вызвал в памяти отчаянную схватку между командами Сент-Реджиса и Гротона, с которой прошла целая вечность — семь лет, и осенний день во Франции год назад, когда он залег со своим взводом в высокой траве и выжидал, прежде чем тронуть за плечо пулеметчика. Он видел обе картины разом, и обе воскрешали

в душе наивный восторг — две игры, в которых ему довелось участвовать, по-разному азартные, но равно далекие от Розалинды и от темы лабиринтов, к чему в конечном счете свелась его жизнь.

«Я эгоист»,— подумал он.

«Это свойство не изменится от того, что я буду “видеть чужие страдания”, или “потеряю родителей”, или стану “помогать людям”».

«Эгоизм — не просто часть моего существа. Это его самая живучая часть.

Внести в мою жизнь какую-то устойчивость и равновесие я могу, не освободившись от эгоизма, а скорее шагнув за его пределы.

Нет тех достоинств неэгоистичной натуры, которые я не мог бы использовать. Я могу принести жертву, проявить сострадание, сделать другу подарок, претерпеть за друга, отдать жизнь за друга — все потому, что для меня это может оказаться лучшим способом самовыражения; но простой человеческой доброты во мне нет ни капли».

Проблема зла для Эмори претворилась в проблему пола. Он уже начал отождествлять зло с фаллическим культом у Брука и раннего Уэллса. Неразрывно связанной со злом оказалась красота — красота, как непрестанное волнение крови, мягкая, в голосе Элинор, в старой песне ночною порой, безоглядно бушующая, как цепь водопадов, полуритм, полутьма. Эмори помнил, что всякий раз, как он с вожделением тянулся к ней, она поворачивалась к нему лицом, перекошенным безобразной гримасой зла. Красота большого искусства, красота радости, в первую очередь — красота женщины.

Слишком много в ней общего с развратом и пороком. Слабость часто бывает красива, но добра в ней нет никогда. И в том новом одиночестве, на которое он обрек себя во имя еще неясной великой цели, красота не должна главенствовать; иначе, оставаясь сама по себе гармоничной, она прозвучит диссонансом.

В каком-то смысле это постепенное отречение от красоты было следующим шагом после окончательной потери иллюзий. Он чувствовал, что оставляет позади всякую надежду стать определенного типа художником. Казалось настолько важнее стать определенного склада человеком.

Мысль его сделала крутой поворот, и он поймал себя на том, что думает о католической церкви. У него сложилось убеж-

дение, что тем, кому нужна ортодоксальная религия, недостает чего-то важного, а религия для Эмори означала католичество. Вполне возможно, что это не более чем пустой ритуал, но, видимо, это единственная неизменно действенная защита от падения нравственности. Пока у широких масс не удастся воспитать нравственные критерии, кто-то должен кричать им «нельзя!». И однако, принять это для себя он считал пока невозможным. Для этого требовалось время и отсутствие нажима со стороны. Требовалось сохранить идею в чистом виде без внешних украшений, до конца осознать направление и силу этого нового разбега.

После трех часов целительную прелесть осеннего дня сменило золотое великолепие. Еще позднее он прошел сквозь ноющую боль заката, когда даже облака словно исходили кровью, и в сумерки оказался возле кладбища. Там темно и тихо пахло цветами, в небе чуть наметился лунный серп, шевелились тени. Внезапно у него возникло желание отомкнуть ржавую железную дверь склепа, встроенного в склон холма,— склепа, чисто вымытого дождем, поросшего поздними немощными водянисто-голубыми цветами, может быть, выросшими из чьих-то мертвых глаз, липкими на ощупь, издающими запах гнили.

Эмори захотелось *почувствовать*, что значит «Уильям Дэйфилд, 1864».

Он подумал, почему это могилы наводят людей на мысль о тщете жизни. Сам он не видел ничего безнадежного в том, что какое-то время прожил на свете. Все эти поверженные колонны, сцепленные руки, голубки и ангелы дышали романтикой прошлого. Он подумал, что было бы приятно, если бы через сто лет кто-то молодой стал гадать, какие у него были глаза, карие или синие, и от души понадеялся, что его могила будет производить впечатление очень, очень давнишней. Странным показалось, почему из длинного ряда надгробий солдатам Гражданской войны только два или три вызвали у него мысль об умершей любви и умерших любовниках, хотя они были точь-в-точь такие же, как и остальные, во всем, вплоть до облепившего их желтоватого мха.

Далеко за полночь он различил впереди башни и шпили Принстона, кое-где — освещенные окна и вдруг, из прозрачного мрака — колокольный звон. Звон этот длился как бесконечное сновидение; дух прошлого, благословляющий новое

поколение, избранную молодежь из мира, полного пороков и заблуждений, которую все еще вскармливают на ошибках и полузабытых мечтах давно умерших государственных мужей и поэтов. Новое поколение, день за днем, ночь за ночью, как в полусне выкрикивающее старые лозунги, приобщаемое к старым символам веры; обреченное рано или поздно по зову любви и честолюбия окунуться в грязную серую сутолоку; новое поколение, еще больше, чем предыдущее, зараженное страхом перед бедностью и поклонением успеху, обнаружившее, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана...

Жалея их, Эмори не жалел себя. Он чувствовал, что какое бы поприще ни ждало его — искусство, политика, религия,— теперь он в безопасности, свободен от всяческой истерии, способен принять то, что приемлемо, скитаться, расти, бунтовать, крепко спать по ночам...

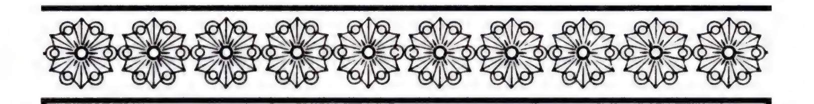
Он не носил в сердце Бога; во взглядах его все еще царил хаос; по-прежнему была при нем и боль воспоминаний, и сожаление об ушедшей юности, и все же воды разочарований не начисто оголили его душу — осталось чувство ответственности и любовь к жизни, где-то слабо шевелились старые честолюбивые замыслы и несбывшиеся надежды. Но — ах, Розалинда, Розалинда!

— Все это в лучшем случае слабое возмещение,— произнес он печально.

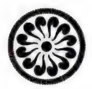
И он не мог бы сказать, почему бороться стоит, почему он твердо решил без остатка тратить себя и наследие тех выдающихся людей, которых встретил на своем пути.

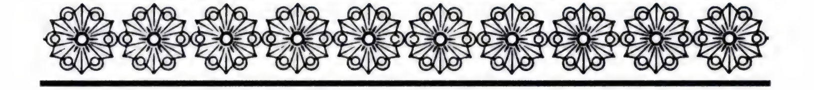
Он простер руки к сияющему хрустальному небу.

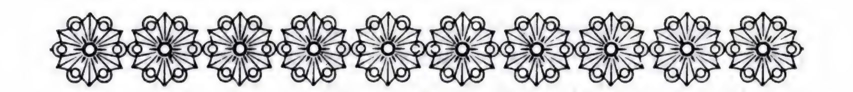
— Я знаю себя,— воскликнул он,— но и только!



ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ







Глава I

В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.

— Если тебе вдруг захочется осудить кого-то,— сказал он,— вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.

К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях — привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться; еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия — сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.

А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву — твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение,— Гэтсби, казалось, воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом»,— это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец: не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты,— вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах.

Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Каррауэи — это целый клан, и, по семейному преданию, он ведет свою родословную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.

Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настоль-

ко меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось — навсегда.

Благоразумней было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, и я еще не успел отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом — крытую толем хибарку за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку,— правда, она сбежала через несколько дней,— купил старенький «додж» и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.

— Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? — растерянно спросил он.

Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца.

Солнце с каждым днем пригревало сильней, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова.

Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая

червонным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть предо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу*, Моргану* и Меценату*. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружились литературные склонности — я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского вестника»,— и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов — так называемым человеком широкого кругозора. Это не парадокс парадокса ради; ведь, в конце концов, жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна.

Случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. На длинном, прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных почвенных образования. Милях в двадцати от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всем западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал — только, подобно Колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный — полное различие во всем, кроме очертаний и размеров.

Я поселился в Уэст-Эгге, менее... ну, скажем так, менее фешенебельном из двух поселков, хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идет речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по двенадцать — пятнадцать тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа — точная копия какого-нибудь Hôtel de Ville[1] в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в сорок с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ни-

[1] Ратуша (*фр.*).

чего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность помимо вида на море наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров — всё за восемьдесят долларов в месяц.

На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга, и, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой «додж» и поехал на ту сторону, к Бьюкененам в гости. Дэзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал еще по университету. И как-то, вскоре после войны, я два дня прогостил у них в Чикаго.

Том, наделенный множеством физических совершенств — нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего,— был фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты,— уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания,— и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей.

Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста.

Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Эгг навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась еще изысканней, чем я рисовал себе. Веселый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону проли-

ва. Зеленый газон начинался почти у самой воды, добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы с разбегу взлетал по стене вьющимися виноградными лозами. Ряд высоких двустворчатых окон прорезал фасад по всей длине; сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и стекла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он изменился с нью-хейвенских времен. Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могучим икрам тесно в глянцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы,— жесткое тело.

Он говорил резким, хрипловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил,— человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности,— в Нью-Хейвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я не вам чета, но все же можете не считать мое мнение непререкаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и, хотя дружбы между нами никогда не было, мне всегда казалось, что я ему нравлюсь и что он по-своему, беспокойно, с вызовом, старается понравиться мне.

Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце.

— Недурное у меня тут пристанище,— сказал он, посверкивая глазами по сторонам.

Слегка нажимая на мое плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвел открывающуюся с крыльца панораму, включая в нее итальянский, уступами расположенный сад, пол-акра пряно благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя.

— Я купил эту усадьбу у Демэйна, нефтяника.— Он снова нажал на мое плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери.— Ну, пойдем.

Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто враставшей в дом. Легкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, развевавшиеся, точно бледные флаги,— то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом.

Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому. Я, наверно, несколько мгновений простоял, слушая, как полощутся и хлопают занавеси и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло — Том Бьюкенен затворил окна с одной стороны,— и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси, и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и пришли в неподвижность.

Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своем конце тахты и лежала не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у нее стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она и заметила меня краешком глаза, но виду не подала; и от растерянности я чуть было не забормотал извинений, что помешал ей своим приходом.

Другая — это была Дэзи — сделала попытку встать: слегка подалась вперед с озабоченным выражением; но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану.

— На м-меня от радости столбняк нашел.

Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что

шепоток Дэзи — уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишающий эту манеру прелести.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула ее назад — должно быть, предмет, стоявший у нее на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадет. Мне снова неудержимо захотелось извиниться. Апломб и независимость, в чем бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще.

Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дэзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины,— певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди.

Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго, и передал ей привет от десятка друзей.

— Так обо мне там скучают? — ликуя, воскликнула она.

— Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено черной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями.

— Какая прелесть! Давай вернемся, Том. Завтра же! — И без всякого перехода она добавила: — Посмотрел бы ты на нашу малышку!

— Я бы очень хотел на нее посмотреть.

— Она уже спит. Ей ведь три года. Ты ее никогда не видал?

— Никогда.

— Ну, если бы ты только на нее посмотрел... Она...

Том Бьюкенен, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо.

— Чем теперь занимаешься, Ник?

— Кредитными операциями.

— У кого?

Я назвал.

— Никогда не слыхал,— высокомерно уронил он.

Меня задело.

— Услышишь,— коротко возразил я.— Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке.

— О, насчет этого можешь быть спокоен,— сказал он, глянул на Дэзи и тотчас же снова перевел глаза на меня, будто готовясь к отпору.— Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать.

Тут мисс Бейкер сказала: «Факт!» — и я даже вздрогнул от неожиданности: это было первое слово, которое она произнесла за все время. По-видимому, ее самое это удивило не меньше, чем меня; она зевнула и в два-три быстрых, ловких движения оказалась на ногах.

— Я все как деревяшка,— пожаловалась она.— Невозможно столько времени валяться на диване.

— Пожалуйста, не смотри на меня,— отрезала Дэзи.— Я с самого утра пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк.

— Спасибо, нет,— сказала мисс Бейкер четырем бокалам с коктейлями, только что появившимся на столе.— Никогда не пью накануне.

Хозяин дома с недоверием посмотрел на нее.

— Уж будто! — Он залпом осушил свой бокал, словно там только и было что на донышке.— Как тебе что-то удается, для меня загадка.

Я посмотрел на мисс Бейкер, стараясь угадать, что такое ей «удается». Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться — плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня с хорошенького, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть, на фотографии.

— Вы живете в Уэст-Эгге? — протянула она несколько свысока.— У меня там есть знакомые.

— А я там никого не...

— Не может быть, чтоб вы не знали Гэтсби.

— Гэтсби? — спросила Дэзи.— Какой это Гэтсби?

Я хотел было сказать, что это мой ближайший сосед, но тут доложили, что кушать подано, и Том Бьюкенен, властно прижав мускулистой рукой мой локоть, вывел меня из комнаты, точно шахматную фигуру переставил с клетки на клетку.

Томно, неторопливо, слегка придерживая платья на бедрах, обе молодые женщины шли впереди нас к столу, накрытому на розовой веранде, обращенной к закату. Четыре свечи горели на столе, затихающий ветер колебал их пламя.

— Это еще зачем? — нахмурилась Дэзи и пальцами погасила все свечи.— Через две недели будет самый долгий день в году.—

Она обвела нас сияющим взглядом.— Случалось вам когда-нибудь ждать этого самого долгого дня — и потом спохватиться, что он уже миновал? Со мной это каждый год случается.

— Давайте придумаем что-нибудь,— зевнула мисс Бейкер, усаживаясь за стол с таким видом, словно она укладывалась в постель.

— Давайте,— сказала Дэзи.— Только что? — Она беспомощно оглянулась на меня.— Что вообще можно придумать?

Не дожидаясь ответа, она вдруг с ужасом уставилась на свой мизинец.

— Смотрите! — воскликнула она.— Я ушибла палец.

Мы все посмотрели — сустав посипел и распух.

— Это ты виноват, Том,— сказала она обиженно.— Я знаю, ты не нарочно, но все-таки это ты. Так мне и надо, зачем выходила замуж за такую громадину, такого здоровенного, неуклюжего дылду.

— Терпеть не могу это слово,— сердито перебил ее Том.— Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой.

— Дылда! —упрямо повторила Дэзи.

Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали: скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Все это было совсем не так, как у нас на Западе, где всегда с волнением торопишь вечер, час за часом подгоняя его к концу, которого и ждешь и боишься.

— Дэзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком,— пожаловался я после второго бокала легкого, но далеко не безобидного красного вина.— Давай заведем какой-нибудь доступный мне разговор, ну хоть о видах на урожай.

Я сказал это не думая, просто так, но мои слова произвели неожиданный эффект.

— Цивилизация идет насмарку,— со злостью выкрикнул Том.— Я теперь стал самым мрачным пессимистом. Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъеме»?

— Нет, не приходилось,— ответил я, удивленный его тоном.

— Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея: если мы не будем настороже, белая раса... ну, словом, ее поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано.

— Том у нас становится мыслителем,— сказала Дэзи с неподдельной грустью.— Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами. Том, какое это было слово, что мы никак...

— Не просто книги, а научные труды,— возразил раздраженно Том.— Этот Годдард развивает свою мысль до конца. От нас, от главенствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх.

— Мы должны сокрушить их,— шепнула Дэзи, свирепо подмигивая в сторону солнца, пламеневшего над горизонтом.

— Вот если б вы жили в Калифорнии...— начала мисс Бейкер, но Том прервал ее, шумно задвигавшись на своем стуле:

— Суть в том, что мы — представители нордической расы. Я, и ты, и ты, и...— После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дэзи, и она тотчас же снова подмигнула мне.— И все то, что составляет цивилизацию, создано нами — наука там, и искусство, и все прочее. Понятно?

Было что-то патетическое в его настойчивости, как будто ему уже мало было упоения собственной личностью, с годами еще возросшего. Где-то в доме зазвонил телефон, лакей пошел ответить на звонок, и Дэзи, воспользовавшись минутным отвлечением, наклонилась ко мне.

— Я тебе открою фамильную тайну,— оживленно зашептала она.— Про нос нашего лакея. Хочешь узнать тайну про нос нашего лакея?

— Я только за тем и приехал.

— Ну, слушай: раньше он был не просто лакеем, он служил в одном доме в Нью-Йорке, где имелось столового серебра на двести персон,— так вот, он заведовал этим серебром. С утра до вечера он его чистил и чистил, и в конце концов у него от этого сделался насморк...

— Дальше — хуже,— подсказала мисс Бейкер.

— Верно. Дальше — хуже, и дошло до того, что ему пришлось отказаться от места.

Заходящее солнце прощальной лаской коснулось порозовевшего лица Дэзи; я прислушивался к ее шепоту, невольно сдерживая дыхание и вытянув шею,— но вот розовое сияние

померкло, соскользнуло с ее лица, медленно, неохотно, как ребенок, которого наступивший вечер заставляет расстаться с весельем улицы и идти домой.

Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, пошел в комнаты. У Дэзи словно что-то быстрее завертелось внутри, она снова наклонилась ко мне и сказала напевным, льющимся голосом:

— Ах, Ник, если б ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на... на розу. Ведь правда? — обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением.— Он настоящая роза.

Это был чистый вздор. Во мне нет ничего, даже отдаленно напоминающего розу. Она сболтнула первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных, огорошивающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты.

Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери глухо доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно беззастенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих.

— Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед...— начал я.

— Молчите. Я хочу слышать, что там происходит.

— А там что-то происходит? — простодушно спросил я.

— Вы что же, ничего не знаете? — искренне удивилась мисс Бейкер.— Я была уверена, что все знают.

— Я не знаю.

— Ну в общем...— Она замялась.— У Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке.

— Какая-то особа? — растерянно повторил я.

Мисс Бейкер кивнула.

— Могла бы, между прочим, иметь каплю совести и не звонить ему домой в обеденное время. Верно?

Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы — и хозяева дома вернулись к столу.

— Неотложное дело! — нарочито весело воскликнула Дэзи.

Она уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня и продолжала как ни в чем не бывало:

— Я на минутку выглянула в сад, там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей — он, наверно, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет...— Она и сама почти пела, не говорила.— Ну разве не романтично, Том, скажи?

— Да, сплошная романтика,— сказал он и, словно ища спасения, повернулся ко мне: — После обеда, если еще не совсем стемнеет, поведу тебя посмотреть лошадей.

Опять затрещал телефонный звонок; Дэзи, глядя на Тома, решительно покачала головой, и разговор о лошадях, да и весь вообще разговор повис в воздухе. Среди осколков последних пяти минут, проведенных за столом, мне запомнились огоньки свечей — их почему-то опять зажгли — и мучившее меня желание в упор смотреть на всех остальных, но так, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Дэзи и Том, но даже мисс Бейкер с ее очевидной скептической закалкой едва ли удавалось не замечать трескучей стальной навязчивости этого пятого среди нас. Кому-нибудь другому вся ситуация могла показаться заманчиво пикантной,— но у меня было такое чувство, что необходимо срочно вызвать полицию.

Понятно само собой, что о лошадях больше и речи не было. Том и мисс Бейкер вернулись в библиотеку, словно бы для сумеречного бдения над невидимым, но вполне материальным покойником, а я, притворяясь светски оживленным и слегка тугим на ухо, шел вместе с Дэзи цепью сообщающихся балконов вокруг дома, пока эта прогулка не привела нас к центральной веранде, где было уже совсем темно. Там мы и уселись рядом на плетеном диванчике.

Дэзи прижала обе ладони к лицу, словно проверяя на ощупь его точеный овал, а глазами все пристальней, все напряженней впивалась в бархатистый полумрак. Я видел ее волнение, с которым она не в силах была совладать, и попытался отвлечь ее расспросами о дочке.

— Мы с тобой хоть и родственники, а мало знаем друг друга, Ник,— неожиданно сказала она.— Ты даже на свадьбе у меня не был.

— Я тогда еще не вернулся с войны.

— Да, верно.— Она помолчала.— Знаешь, Ник, мне очень много пришлось пережить, и я теперь как-то ни во что не верю.

Судя по всему, у нее для этого были основания. Я немного подождал, но продолжения не последовало, и тогда я довольно беспомощно ухватился опять за спасительную тему о дочке.

— Она, должно быть, уже разговаривает, и... и ест, и все такое.

— Ну, конечно.— Она рассеянно взглянула на меня.— А хочешь знать, что я сказала, когда она родилась, Ник? Интересно тебе?

— Очень интересно.

— Это тебе поможет понять... многое. Еще и часу не прошло, как она появилась на свет,— а где был Том, бог его знает. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же спросила акушерку: «Мальчик или девочка?» И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю: «Ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее быть хорошенькой дурочкой». Я, видишь ли, думаю, что все равно на свете ничего хорошего нет,— продолжала она убежденно.— И все так думают — даже самые умные, самые передовые люди. А я не только думаю, я знаю. Ведь я везде побывала, все видела, все попробовала.— Она вызывающе сверкнула глазами, совсем как Том, и рассмеялась звенящим, презрительным смехом.— Многоопытная и разочарованная, вот я какая.

Но как только отзвучал ее голос, принуждавший меня слушать и верить, я сейчас же почувствовал неправду в ее словах. Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить меня волноваться чужим волнением. Прошла минута, и в самом деле — на прелестном лице Дэзи появилась самодовольная улыбка, словно ей удалось доказать свое право на принадлежность к привилегированному тайному обществу, к которому принадлежал и Том.

Алая комната цвела под зажженной лампой. Том сидел на одном конце длинной тахты, а мисс Бейкер, сидя на другом, читала ему вслух «Сатердей ивнинг пост» — в ее чтении все слова сливались в ровную убаюкивающую мелодию. Свет играл яркими бликами на ботинках Тома, тусклым золотом переливался в волосах мисс Бейкер, напоминавших цветом осен-

нюю листву, скользил по страницам, перевертываемым упругим движением сильных, мускулистых пальцев.

Увидев нас, мисс Бейкер предостерегающе подняла руку.

— «Продолжение в следующем номере»,— дочитала она и отбросила журнал. Потом, дернув коленкой, самоуверенно выпрямилась и встала с тахты.— Десять часов,— объявила она, поглядев, чтобы узнать это, на потолок.— Девочке-паиньке пора в постельку.

— У Джордан завтра состязания в Уэстчестере,— пояснила Дэзи.— Ей нужно ехать туда с самого утра.

— Ах, так вы — Джордан Бейкер!

Теперь я понял, почему мне знакомо ее лицо,— эта капризная гримаска достаточно часто мелькала на фотографиях, иллюстрирующих спортивную хронику Ашвилла, Хот-Спрингса и Палм-Бич. Я даже слышал о ней какую-то сплетню, довольно злую и неприглядную сплетню, но подробности давно вылетели у меня из головы.

— Спокойной ночи,— проворковала она.— И пожалуйста, разбудите меня в восемь часов.

— Ведь все равно не встанешь.

— Встану. Спокойной ночи, мистер Каррауэй. Мы еще увидимся.

— Конечно, увидитесь,— подтвердила Дэзи.— Я даже думаю, не сосватать ли вас. Приезжай почаще, Ник, я буду — как это говорится? — содействовать вашему сближению. Ну, знаешь,— то нечаянно запру вас вдвоем в чулане, то отправлю на лодке в открытое море, то еще что-нибудь.

— Спокойной ночи! — крикнула уже с лестницы мисс Бейкер.— Я ничего не слыхала.

— Джордан славная девушка,— сказал Том немного погодя.— Напрасно только ей разрешают вести такую бродячую жизнь.

— А кто это может разрешить ей или не разрешить? — холодно спросила Дэзи.

— Ну как кто — ее родные.

— Ее родные — это тетка, которой сто лет. Но теперь Ник приглядит за ней, правда, Ник? Она будет приезжать к нам каждую субботу. Я считаю, что атмосфера семейного дома должна оказать на нее благотворное влияние.

Дэзи и Том молча посмотрели друг на друга.

— Она из Нью-Йорка? — поспешно спросил я.

— Из Луисвилла. Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.

— Ты что, вела с Ником на веранде задушевные разговоры? — спросил вдруг Том.

— Задушевные разговоры? — Она оглянулась на меня.— Не помню, но, кажется, мы беседовали о нордической расе. Да, да, именно об этом. Разговор возник как-то сам собой, мы даже не заметили.

— Ты смотри, Ник, не верь всякой чепухе,— предостерег меня Том.

Я беспечно сказал, что никакой чепухи я не слышал, и немного погодя стал прощаться. Они вышли меня проводить и, стоя рядышком в веселом прямоугольнике света, смотрели, как я усаживаюсь в машину. Я уже включил мотор, как вдруг Дэзи повелительно закричала: «Стой!»

— Я забыла спросить одну важную вещь. Мы слышали, что у тебя там, дома, есть невеста.

— Да, да,— с готовностью подхватил Том.— Мы слышали, что у тебя есть невеста.

— Клевета. Я слишком беден, чтобы жениться.

— А мы слышали,— настаивала Дэзи; к моему удивлению, она опять словно вся расцвела.— Мы слышали от троих разных людей, значит, это правда.

Я отлично знал, о чем идет речь, но дело в том, что у меня в самом деле не было никакой невесты. Дурацкие слухи о моей помолвке и были одной из причин, почему я решил уехать на Восток. Нельзя раззнакомиться со старой приятельницей из-за чьих-то досужих языков, но, с другой стороны, мне вовсе не хотелось, чтобы эти досужие языки довели меня до брачного обряда.

Я был тронут радушным приемом Дэзи и Тома, даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня,— но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дэзи остается одно: схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома,— но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то меня не так поразило известие о «какой-то особе в Нью-Йорке», как то, что его душевное равновесие могло быть нарушено книгой. Что-то побуждало его вгрызаться в корку черствых идей, как будто несокрушимое плотское самодовольство больше не насыщало эту властную душу.

Уже совсем по-летнему разогрелись за день крыши придорожных закусочных и асфальт перед гаражами, где в лужицах света торчали новенькие красные бензоколонки. Вернувшись к себе в Уэст-Эгг, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков,— хлопали птичьи крылья в листве деревьев, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка, я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один — шагах в пятидесяти, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего уэст-эггского неба по праву причитается ему.

Я решил окликнуть его. Сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер, это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество: он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел; только где-то далеко светился зеленый огонек, должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте.

Глава II

Почти на полпути между Уэст-Эггом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит с нею рядом, словно хочет обогнуть стороной угрюмый пустырь. Это настоящая Долина Шлака — призрачная нива, на которой шлак всходит как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане. А то вдруг по невидимым рельсам выползет вереница серых вагонеток и с чудовищным лязгом остановится, и сей-

час же шлаковые человечки закопошатся вокруг с лопатами и поднимут такую густую тучу пыли, что за ней уже не разглядеть, каким они там заняты таинственным делом.

Но проходит минута-другая, и над этой безотрадной землей, над стелющимися над ней клубами серой пыли вы различаете глаза доктора Т.-Дж. Эклберга. Глаза доктора Эклберга голубые и огромные — их радужная оболочка имеет метр в ширину. Они смотрят на вас не с человеческого лица, а просто сквозь гигантские очки в желтой оправе, сидящие на несуществующем носу. Должно быть, какой-то фантазер-окулист из Квинса установил их тут в надежде на расширение практики, а потом сам отошел в край вечной слепоты или переехал куда-нибудь, позабыв свою выдумку. Но глаза остались, и, хотя краска немного слиняла от дождя и солнца и давно уже не подновлялась, они и сейчас все так же грустно созерцают мрачную свалку.

С одной стороны Долина Шлака упирается в сильно загаженную речонку, и, когда мост на ней разведен для пропуска барж, пассажирам местного поезда приходится иной раз битых полчаса любоваться унылым пейзажем. Задержка бывает здесь всегда, хотя бы на минуту, и благодаря этому я познакомился с любовницей Тома Бьюкенена.

О том, что у него есть любовница, говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Возмущенно рассказывали, что он появляется с нею в модных кафе и, оставив ее за столиком, расхаживает по всему залу, окликая знакомых. Мне было любопытно на нее посмотреть, но знакомиться с нею я вовсе не хотел — однако пришлось. Как-то мы с Томом вместе ехали поездом в Нью-Йорк, и, когда поезд остановился у шлаковых куч, Том вдруг вскочил и, схватив меня под руку, буквально вытащил из вагона.

— Сойдем здесь,— настаивал он.— Я хочу познакомить тебя с моей приятельницей.

Он, должно быть, изрядно хватил за завтраком и, вздумав провести день в моем обществе, готов был осуществить свое намерение хотя бы силой. Ему даже в голову не приходило, что у меня могут быть другие планы на воскресенье.

Следуя за ним, я перебрался через невысокую беленую стену, ограждавшую железнодорожные пути, и под пристальным взглядом доктора Эклберга мы прошли шагов сто в обратную сторону. Кругом не было видно никаких признаков жилья, кроме трех кирпичных строений, вытянувшихся в ряд на краю

пустыря,— этакая Главная улица в миниатюре, которая никуда не вела и ни с чем не пересекалась. В одном было торговое помещение, которое сейчас пустовало, в другом — ресторанчик, открытый круглые сутки, третье занимал гараж с вывеской: «Джордж Уилсон. Автомобили. Покупка, продажа и ремонт». Сюда мы и вошли.

Внутри было голо и убого; только в полутемном углу приткнулся поломанный «форд». Мне вдруг представилось, что этот гараж без машин — просто маскировка, отвод глаз, а над ним, должно быть, скрываются таинственные роскошные апартаменты; но тут из бокового закутка, служившего конторой, выглянул сам хозяин, вытирая ветошью руки. Это был рыхлый вялый блондин анемичной, но, в общем, довольно приятной внешности. При виде нас в его голубых глазах заиграл влажный отсвет надежды.

— Привет, Уилсон, дружище,— сказал Том, весело хлопнув его по плечу.— Как делишки?

— Жаловаться не могу,— отвечал Уилсон не слишком уверенным тоном.— Когда же вы продадите мне ту машину?

— На той неделе; мой шофер ее приводит в порядок.

— Мне кажется, он не очень спешит.

— А мне не кажется,— холодно отрезал Том.— Если вы не хотите ждать, я, в конце концов, могу продать ее и в другом месте.

— Нет, нет, что вы,— испугался Уилсон.— Вы меня не так поняли, я просто...

Конец фразы как-то заглох. Том в это время нетерпеливо оглядывался по сторонам. На лестнице вдруг послышались шаги, и через минуту плотная женская фигура загородила свет, падавший из закутка. Женщина была лет тридцати пяти, с наклонностью к полноте, но она несла свое тело с той чувственной повадкой, которая свойственна некоторым полным женщинам. В лице, оттененном синим в горошек крепдешиновым платьем, не было ни одной красивой или хотя бы правильной черты, но от всего ее существа так и веяло энергией жизни, словно в каждой жилочке тлел готовый вспыхнуть огонь. Она неспешно улыбнулась и, пройдя мимо мужа, точно это был не человек, а тень, подошла к Тому и поздоровалась с ним за руку, глядя ему в глаза. Потом облизнула губы и, не поворачивая головы, сказала мужу грудным, хрипловатым голосом:

— Принес бы хоть стулья, людям присесть негде.

— Сейчас, сейчас...— Уилсон торопливо кинулся к своему закутку и сразу пропал на беловатом фоне стены. Налет шлаковой пыли выбелил его темный костюм и бесцветные волосы, как и все кругом,— только на женщине, стоявшей теперь совсем близко к Тому, не был заметен этот налет.

— Ты мне нужна сегодня,— властно сказал Том.— Едем следующим поездом.

— Хорошо.

— Встретимся внизу, на перроне, у газетного киоска.

Она кивнула и отошла — как раз в ту минуту, когда в дверях показался Уилсон, таща два стула.

Мы подождали ее на шоссе, отойдя на столько, чтобы нас не было видно. Приближался праздник Четвертого июля, и тщедушный мальчишка-итальянец с серым лицом раскладывал вдоль железнодорожного полотна сигнальные петарды.

— Ужасная дыра, верно? — сказал Том, неодобрительно переглянувшись с доктором Эклбергом.

— Да, хуже не придумаешь.

— Вот она и рада бывает проветриться.

— А муж — ничего?

— Уилсон? Считается, что она ездит в Нью-Йорк к сестре в гости. Да он такой олух, не замечает даже, что живет на свете.

Так случилось, что Том Бьюкенен, его дама и я вместе отправились в Нью-Йорк,— впрочем, не совсем вместе: приличия ради мисс Уилсон ехала в другом вагоне. Со стороны Тома это была уступка щепетильности тех обитателей Уэст-Эгга, которые могли оказаться в поезде.

Она переоделась, и на ней теперь было платье из коричневого в разводах муслина, туго натянувшееся на ее широковатых бедрах, когда Том помогал ей выйти из вагона на Пенсильванском вокзале. В газетном киоске она купила киножурнал и номер «Таун Тэттл», а у аптекарского прилавка — кольдкрем и флакончик духов. Наверху, в гулком полумраке крытого въезда, она пропустила четыре такси и остановила свой выбор только на пятом — новеньком автомобиле цвета лаванды, с серой обивкой, который наконец вывез нас из громады вокзала на залитую солнцем улицу. Но не успели мы отъехать, как она, резко откинувшись от окна, застучала в стекло шоферу.

— Хочу такую собачку,— потребовала она.— Пусть у нас в квартирке живет собачка. Это так уютно.

Шофер дал задний ход, и мы поравнялись с седым стариком, до нелепости похожим на Джона Д. Рокфеллера. На груди у него висела корзина, в которой копошилось с десяток новорожденных щенков неопределенной масти.

— Это что за порода? — деловито осведомилась миссис Уилсон, как только старик подошел к машине.

— Всякая есть. Вам какая требуется, мадам?

— Мне бы хотелось немецкую овчарку. Такой у вас, наверно, нет?

Старик с сомнением глянул в свою корзину, запустил туда руку и вытащил за загривок барахтающуюся собачонку.

— Это не немецкая овчарка,— сказал Том.

— Да, пожалуй что не совсем,— огорченно согласился старик.— Это скорее эрдельтерьер.— Он провел рукой по коричневой, словно бобриковой спинке.— Вы посмотрите, шерсть какая. Богатая шерсть. Уж эту собаку вам не придется лечить от простуды.

— Она дуся! — восторженно объявила миссис Уилсон.— Сколько вы за нее хотите?

— За эту собаку? — Он окинул щенка восхищенным взглядом.— Эта собака вам обойдется в десять долларов.

Эрдельтерьер — среди его предков, несомненно, был и эрдельтерьер, несмотря на подозрительно белые лапы,— перекочевал на колени к миссис Уилсон, которая с упоением принялась гладить морозоустойчивую шерсть.

— А это мальчик или девочка? — деликатно осведомилась она.

— Эта собака? Эта собака — мальчик.

— Сука это,— уверенно сказал Том.— Вот деньги, держите. Можете купить на них еще десяток щенков.

Мы выехали на Пятую авеню, такую тихую, мирную, почти пасторально идиллическую в этот теплый воскресный день, что я не удивился бы, если б из-за угла вдруг появилось стадо белых овечек.

— Остановите-ка на минуту,— сказал я.— Здесь я вас должен покинуть.

— Ну уж нет,— запротестовал Том.— Миртл обидится, если ты не посмотришь ее квартирку. Правда, Миртл?

— Поедемте с нами,— попросила миссис Уилсон.— Я позвоню Кэтрин. Это моя сестра, она красавица — так говорят люди понимающие.

— Я бы с удовольствием, но...

Мы покатили дальше, пересекли парк и выехали к западным сотым улицам. Вдоль Сто пятьдесят восьмой длинным белым пирогом протянулись одинаковые многоквартирные дома. У одного из ломтиков этого пирога мы остановились. Оглядевшись по сторонам с видом королевы, возвращающейся в родную столицу, миссис Уилсон подхватила щенка и прочие свои покупки и величественно проследовала в дом.

— Позвоню Мак-Ки, пусть они тоже зайдут,— говорила она, пока мы поднимались в лифте.— И не забыть сразу же вызвать Кэтрин.

Квартирка находилась под самой крышей — маленькая гостиная, маленькая столовая, маленькая спаленка и ванная комната. Гостиная была заставлена от двери до двери чересчур громоздкой для нее мебелью с гобеленовой обивкой, так что нельзя было ступить шагу, чтобы не наткнуться на группу прелестных дам, раскачивающихся на качелях в Версальском парке. Стены были голые, если не считать непомерно увеличенной фотографии, изображавшей, по-видимому, курицу на окутанной туманом скале. Стоило, впрочем, отойти подальше, как курица оказывалась вовсе не курицей, а шляпкой, из-под которой добродушно улыбалась почтенная старушка с пухленькими щечками. На столе валялись вперемешку старые номера «Таун Тэттл», томик, озаглавленный «Симон, называемый Петром», и несколько журнальчиков из тех, что питаются скандальной хроникой Бродвея. Миссис Уилсон, войдя, прежде всего занялась щенком. Мальчик-лифтер с явной неохотой отправился добывать ящик с соломой и молоко: к этому он, по собственной инициативе, добавил жестянку больших твердокаменных собачьих галет — одна такая галета потом до самого вечера уныло кисла в блюдечке с молоком. Пока шли все эти хлопоты, Том отпер дверцу секретера и извлек оттуда бутылку виски.

Я только два раза в жизни напивался пьяным; это и был второй раз. Поэтому все происходящее после я видел сквозь мутную дымку, хотя квартира часов до восьми по крайней мере была залита солнцем. Миссис Уилсон, усевшись к Тому на колени, без конца звонила кому-то по телефону; потом выяснилось, что нечего курить, и я пошел купить сигареты. Когда я вернулся, в гостиной никого не было; я скромно уселся в уголке и прочел целую главу из «Симона, называемого Петром»,— но одно из двух: или это страшная чушь, или в голове у меня

путалось после выпитого виски,— во всяком случае, я ровно ничего не мог понять.

Потом Том и Миртл (мы с миссис Уилсон после первой рюмки стали звать друг друга запросто по имени) вернулись в гостиную; вскоре появились и гости.

Кэтрин, сестра хозяйки, оказалась стройной, видавшей виды девицей лет тридцати и с напудренным до молочной белизны лицом под густой шапкой рыжих, коротко остриженных волос. Брови у нее были выщипаны дочиста и потом наведены снова под более залихватским углом; но стремление природы вернуться к первоначальному замыслу придавало некоторую расплывчатость ее чертам. Каждое ее движение сопровождалось позвякиванием многочисленных керамических браслетов, скользивших по обнаженным рукам. Она вошла в комнату таким быстрым, уверенным шагом и так по-хозяйски оглядела всю мебель, что я подумал,— может быть, она и живет здесь. Но когда я ее спросил об этом, она расхохоталась и неумеренно громко повторила вслух мой вопрос и потом сказала, что снимает номер в отеле, вдвоем с подругой.

Мистер Мак-Ки, сосед снизу, был бледный женоподобный человек. Он, как видно, только что брился: на щеке у него засох клочок мыльной пены. Войдя, он долго и изысканно вежливо здоровался с каждым из присутствующих. Мне он объяснил, что принадлежит к «миру искусства»; как я узнал потом, он был фотографом, и это его творением был увеличенный портрет матери миссис Уилсон, точно астральное тело парившей на стене гостиной. Жена его была томная, красивая мегера с пронзительным голосом. Она гордо поведала мне, что со дня их свадьбы муж сфотографировал ее сто двадцать семь раз.

Миссис Уилсон еще раньше успела переодеться — на ней теперь был очень нарядный туалет из кремового шифона, шелестевший, когда она расхаживала по комнате. Переменив платье, она и вся стала как будто другая. Та кипучая энергия жизни, которая днем, в гараже, так поразила меня, превратилась в назойливую спесь. Смех, жесты, разговор — все в ней с каждой минутой становилось жеманнее; казалось, гостиная уже не вмещает ее развернувшуюся особу, и в конце концов она словно бы закружилась в дымном пространстве на скрипучем, лязгающем стержне.

— Ах, милая,— говорила она сестре, неестественно повысив голос,— вся эта публика только и смотрит, как бы тебя обобрать. У меня тут на прошлой неделе была женщина, приводила

мне ноги в порядок,— так ты бы видела ее счет! Можно было подумать, что она мне удалила *аппендицит.*

— А как ее фамилия, этой женщины? — спросила миссис Мак-Ки.

— Миссис Эберхардт. Она ходит на дом приводить клиентам ноги в порядок.

— Мне очень нравится ваше платье,— сказала миссис Мак-Ки.— Прелесть.

Миссис Уилсон отклонила комплимент, презрительно подняв брови.

— Это такое старье,— сказала она.— Я его еще иногда надеваю, ну просто когда мне все равно, как я выгляжу.

— Нет, как хотите, а оно вам очень идет,— не уступала миссис Мак-Ки.— Если бы Честер мог снять вас в такой позе, я уверена, это было бы нечто.

Мы все молча уставились на миссис Уилсон, а она, откинув со лба выбившуюся прядь, отвечала нам ослепительной улыбкой. Мистер Мак-Ки внимательно посмотрел на нее, склонив голову набок, потом протянул руку вперед, убрал и опять протянул вперед.

— Я бы только дал другое освещение,— сказал он, помолчав немного.— Чтобы лучше выделить лепку лица. И я бы постарался, чтобы вся масса волос попала в кадр.

— Вот уж нипочем бы не стала менять освещение! — воскликнула миссис Мак-Ки.— По-моему, это как раз...

— Тсс! — одернул ее муж, и мы снова сосредоточились на своем объекте, но тут Том Бьюкенен, шумно зевнув, поднялся на ноги.

— Вы бы лучше выпили чего-нибудь, почтенные супруги,— сказал он.— Миртл, добавь льду и содовой, пока все тут у тебя не заснули.

— Я уже приказала мальчишке насчет льда.— Миртл приподняла брови в знак своего возмущения нерадивостью черни.— Это такая публика! За ними просто нужно ходить следом.

Она взглянула на меня и ни с того ни с сего засмеялась. Потом схватила щенка, восторженно чмокнула его и вышла на кухню с таким видом, словно дюжина поваров ожидала там ее распоряжений.

— У меня на Лонг-Айленде кое-что неплохо получилось,— с апломбом произнес мистер Мак-Ки.

Том недоуменно воззрился на него.

— Две вещи даже висят у нас дома.

— Какие вещи? — спросил Том.

— Два этюда. Один я назвал «Мыс Монток. Чайки», а другой — «Мыс Монток. Море».

Рыжая Кэтрин уселась на диван рядом со мной.

— А вы тоже живете на Лонг-Айленде? — спросила она.

— Я живу в Уэст-Эгге.

— Да ну? Я там как-то раз была, с месяц тому назад. У некоего Гэтсби. Вы его не знаете?

— Он мой сосед.

— Говорят, он не то племянник, не то двоюродный брат кайзера Вильгельма. Вот откуда у него столько денег.

Этим увлекательным сообщениям о моем соседе помешала миссис Мак-Ки, которая вдруг воскликнула, указывая на Кэтрин:

— Честер, а ведь с ней бы у тебя тоже что-нибудь получилось!

Но мистер Мак-Ки только рассеянно кивнул и снова повернулся к Тому:

— Я бы охотно поработал еще на Лонг-Айленде, если бы представился случай. Мне бы только с чего-то начать, а там уже обойдусь без помощи.

— Обратитесь к Миртл,— хохотнув, сказал Том; миссис Уилсон в эту минуту входила с подносом.— Она вам напишет рекомендательное письмо — напишешь, Миртл?

— Какое письмо? — Она явно была озадачена.

— Рекомендательное письмо к твоему мужу, пусть мистер Мак-Ки сделает с него несколько этюдов.— Он пошевелил губами, придумывая: — «Джорд Б. Уилсон у бензоколонки» или что-нибудь в этом роде.

Кэтрин придвинулась ближе и шепнула мне на ухо:

— Она так же ненавидит своего мужа, как Том — свою жену.

— Да что вы!

— Просто не-на-видит! — Она посмотрела сперва на Миртл, потом на Тома.— А я так считаю: зачем жить с человеком, которого ненавидишь? Добились бы каждый развода и потом поженились бы. Я бы, по крайней мере, так поступила на их месте.

— Значит, она совсем не любит Уилсона?

Ответ меня ошарашил. Ответила сама Миртл, услыхавшая мой вопрос, ответила резко и цинично.

— Вот видите,— торжествующе сказала Кэтрин и потом снова перешла на полушепот: — Все дело в его жене. Она католичка, а католики не признают развода.

Дэзи вовсе не была католичкой, и я подивился хитроумию этой лжи.

— Когда они все-таки поженятся,— продолжала Кэтрин,— они уедут на Запад и там поживут, пока уляжется шум.

— Уж тогда лучше уехать в Европу.

— Ах, вы поклонник Европы? — неожиданно громко воскликнула Кэтрин.— Я совсем недавно вернулась из Монте-Карло.

— Вот как?

— Да, в прошлом году. Ездила вдвоем с подругой.

— И долго пробыли?

— Нет, мы только съездили в Монте-Карло и обратно. Через Марсель. У нас было с собой больше тысячи двухсот долларов, но за два дня в частных игорных залах нас обчистили до нитки. Как мы только домой добрались — даже вспомнить страшно. Господи, до чего ж я возненавидела этот город!

На миг предвечернее небо в окне засинело медвяной лазурью Средиземного моря,— но пронзительный голос миссис Мак-Ки тут же возвратил меня в тесную гостиную.

— Я сама чуть не совершила такую ошибку,— во всеуслышание объявила она.— Чуть было не вышла за ничтожного человечка, который несколько лет ходил за мной как тень. А ведь знала, что он меня не стоит. И все мне говорили: «Люсиль, этот человек тебя не стоит!» Но, не повстречайся я с Честером, он бы меня в конце концов уломал.

— Да, но послушайте,— сказала Миртл Уилсон, качая головой.— Все ж таки вы за него не вышли.

— Как видите.

— А я вышла,— многозначительно сказала Миртл.— Вот в чем разница между вашим случаем и моим.

— А зачем было выходить, Миртл? — спросила Кэтрин.— Никто тебя, кажется, не неволил.

Миртл не сразу ответила.

— Я за него вышла, потому что думала, что он джентльмен,— сказала она наконец.— Думала, он человек воспитанный, а на самом деле он мне и в подметки не годился.

— Ты же по нему с ума сходила когда-то,— заметила Кэтрин.

— Я сходила по нем с ума? — возмутилась Миртл.— Кто это тебе сказал? Я не больше сходила с ума по нему, чем вот по этому господину.

Она ткнула пальцем в меня, и все посмотрели на меня с укоризной. Я постарался выразить всем своим видом, что ничуть не претендую на ее чувства.

— Вот когда я действительно с ума спятила, это когда вышла за него замуж. Но я сразу поняла свою ошибку. Он взял у приятеля костюм, чтобы надеть на свадьбу, а мне про это и не заикнулся. Через несколько дней — его как раз не было дома — приятель приходит и просит вернуть костюм. «Вот как, это ваш костюм? — говорю я.— Первый раз слышу». Но костюм все-таки отдала, а потом бросилась на постель и ревмя ревела до самой ночи.

— Ей правда нужно уйти от него,— снова зашептала мне Кэтрин.— Одиннадцать лет они так и живут над этим гаражом. А у нее даже ни одного дружка не было до Тома.

Бутылка виски — уже вторая за этот вечер — переходила из рук в руки; только Кэтрин не проявляла к ней интереса, уверяя, что ей «и так весело». Том вызвал швейцара и послал его за какими-то знаменитыми сандвичами, которые могли заменить целый ужин. Я то и дело порывался уйти; мягкие сумерки манили меня, и хотелось прогуляться пешком до парка, но всякий раз я оказывался втянутым в очередной оголтелый спор, точно веревками привязывавший меня к креслу. А быть может, в это самое время какой-нибудь случайный прохожий смотрел с темнеющей улицы в вышину, на наши освещенные окна, и думал о том, какие человеческие тайны прячутся за их желтыми квадратами. И мне казалось, что я вижу этого прохожего, его поднятую голову, задумчивое лицо. Я был здесь, но я был и там тоже, завороженный и в то же время испуганный бесконечным разнообразием жизни.

Миртл поставила себе кресло рядом со мной, и вместе с теплым дыханием на меня вдруг полился рассказ о ее первой встрече с Томом.

— Мы сидели в вагоне друг против друга, на боковых местах у выхода, которые всегда занимают в последнюю очередь. Я ехала в Нью-Йорк к сестре и должна была у нее ночевать. Том был во фраке, в лаковых туфлях, я просто глаз не могла от него отвести, но как только встречусь с ним взглядом, сейчас

же делаю вид, будто рассматриваю рекламный плакат у него над головой. Когда стали выходить из вагона, он очутился рядом со мной и так прижался крахмальной грудью к моему плечу, что я пригрозила позвать полицейского, да он мне, конечно, не поверил. Я была сама не своя,— когда он меня подсаживал в машину, я даже не очень-то разбирала, такси это или вагон метро. А в голове одна мысль: «Живешь ведь только раз, только раз».

Она оглянулась на миссис Мак-Ки, и вся комната зазвенела ее деланым смехом.

— Ах, моя милая,— воскликнула она.— Я вам подарю это платье, когда совсем перестану его носить. Завтра я куплю себе новое. Нужно мне составить список всех дел, которые я должна сделать завтра. Массаж, потом парикмахер, потом еще надо купить ошейник для собачки, и такую маленькую пепельницу с пружинкой, они мне ужасно нравятся, и венок с черным шелковым бантом мамочке на могилку, из таких цветов, что все лето не вянут. Непременно нужно все это записать, чтобы я ничего не забыла.

Было девять часов,— но почти сейчас же я снова посмотрел на часы, и оказалось, что уже десять. Мистер Мак-Ки спал в кресле, раздвинув колени и положив на них сжатые кулаки, точно важный деятель, позирующий перед объективом. Я достал носовой платок и стер с его щеки засохшую мыльную пену, которая мне весь вечер не давала покоя.

Щенок сидел на столе, моргал слепыми глазами в табачном дыму и время от времени принимался тихонько скулить. Какие-то люди появлялись, исчезали, сговаривались идти куда-то, теряли друг друга, искали и снова находили на расстоянии двух шагов. Уже около полуночи я услышал сердитые голоса Тома Бьюкенена и миссис Уилсон; они стояли друг против друга и запальчиво спорили о том, имеет ли право миссис Уилсон произносить имя Дэзи.

— Дэзи! Дэзи! Дэзи! — выкрикивала миссис Уилсон.— Вот хочу и буду повторять, пока не надоест. Дэзи! Дэ...

Том сделал короткое, точно рассчитанное движение и ребром ладони разбил ей нос.

Потом были окровавленные полотенца на полу ванной, негодующие возгласы женщин и надсадный, долгий крик боли, вырывавшийся из общего шума. Мистер Мак-Ки очнулся от сна, встал и в каком-то оцепенении направился к двери. На полдороге он обернулся и с минуту созерцал всю сцену: сдви-

нутая мебель, среди нее суетятся его жена и Кэтрин, браня и утешая, хватаясь то за одно, то за другое в попытках оказать помощь; а на диване лежит истекающая кровью жертва и судорожно старается прикрыть номером «Таун Тэттл» гобеленовый Версаль. Затем мистер Мак-Ки повернулся и продолжил свой путь к двери. Схватив свою шляпу с канделябра, я вышел вслед за ним.

— Давайте как-нибудь позавтракаем вместе,— предложил он, когда мы, вздыхая и охая, ехали на лифте вниз.

— А где?

— Где хотите.

— Оставьте в покое рычаг,— рявкнул лифтер.

— Прошу прощения,— с достоинством произнес мистер Мак-Ки.— Я не заметил, что прикасаюсь к нему.

— Ну что ж,— сказал я.— С удовольствием.

...Я стоял у его постели, а он сидел на ней в нижнем белье с большой папкой в руках.

— «Зверь и красавица»... «Одиночество»... «Рабочая кляча»... «Бруклинский мост»...

Потом я лежал на скамье, в промозглой сырости Пенсильванского вокзала и таращил слипающиеся глаза на утренний выпуск «Трибюн» в ожидании четырехчасового поезда.

Глава III

Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторки режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают акваланы. По субботам и воскресеньям его «роллс-ройс» превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный «форд» к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. А в понедельник восемь слуг, включая специально нанятого второго садовника, брали тряпки, швабры, молотки и садовые ножницы и трудились весь день, удаляя следы вчерашних разрушений.

Каждую пятницу шесть корзин апельсинов и лимонов прибывали от фруктовщика из Нью-Йорка — и каждый понедельник эти же апельсины и лимоны покидали дом с черного хода в виде горы полузасохших корок. На кухне стояла машина, которая за полчаса выжимала сок из двухсот апельсинов,— для этого только нужно было двести раз надавить пальцем на кнопку.

Раза два или даже три в месяц на виллу являлась целая армия поставщиков. Привозили несколько сот ярдов брезента и такое количество разноцветных лампочек, будто собирались превратить сад Гэтсби в огромную рождественскую елку. На столах, в сверкающем кольце закусок, выстраивались окорока, нашпигованные специями, салаты, пестрые, как трико арлекина, поросята, запеченные в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота. В большом холле воздвигалась высокая стойка, даже с медной приступкой, как в настоящем баре, и чего там только не было — и джин, и ликеры, и какие-то старомодные напитки, вышедшие из употребления так давно, что многие молодые гостьи не знали их даже по названиям.

К семи часам оркестр уже на местах — не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав: и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнет-а-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху; вдоль подъездной аллеи по пять в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды, и шали, какие не снились даже кастильским сеньоритам. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через минуту будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших.

Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца; вот уже оркестр заиграл золотистую музыку под коктейли, и оперный хор голосов зазвучал тоном выше. Смех с каждой минутой льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями, не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже не-

поседы из самоуверенных молодых красоток: такая мелькнет то тут, то там среди дам посолидней, на короткий, радостный миг станет центром внимания кружка — и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов, в беспрестанно меняющемся свете.

Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, для храбрости залпом выпив выхваченный прямо из воздуха коктейль, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина; затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп, и по толпе бежит уже пущенный кем-то ложный слух, будто это дублерша Гильды Грей из варьете «Фолн». Вечер начался.

В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним пз немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения — туда просто приезжали, и все. Садились в машину, ехали на Лонг-Айленд и в конце концов оказывались у Гэтсби. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином,— простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом.

Но я был приглашен по всей форме. Ранним утром передо мной предстал шофер в ливрее цвета яйца малиновки и вручил мне послание, удивившее меня своей церемонностью; в нем говорилось, что мистер Гэтсби почтет для себя величайшей честью, если я нынче пожалую к нему «на небольшую вечеринку». Он неоднократно видел меня издали и давно собирался нанести мне визит, но досадное стечение обстоятельств помешало ему осуществить это намерение. И подпись: *Джей Гэтсби,* с внушительным росчерком.

В начале восьмого, одетый в белый фланелевый костюм, я вступил на территорию Гэтсби и сразу же почувствовал себя довольно неуютно среди множества незнакомых людей,— правда, в водовороте, бурлившем на газонах и дорожках, я различал порой лица, не раз виденные в пригородном поезде. Меня сразу поразило большое число молодых англичан, вкрапленных в толпу; все они были безукоризненно одеты, у всех был немножко голодный вид, и все сосредоточенно и негромко убеждали в чем-то солидных, излучающих благополучие американцев. Я тут же решил, что они что-то продают —

ценные бумаги, или страховые полисы, или автомобили. Как видно, близость больших и легких денег болезненно дразнила их аппетит, создавая уверенность, что стоит сказать нужное слово нужным тоном, и эти деньги уже у них в кармане.

Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина, но первые же два-три человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями — единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким.

Вероятно, я бы напился вдребезги просто от смущения, но тут я увидел Джордан Бейкер. Она вышла из дома и остановилась на верхней ступеньке мраморной лестницы, слегка отклонив назад корпус и с презрительным любопытством поглядывая вниз.

Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами.

— Здравствуйте! — завопил я, бросившись к лестнице.

Мой голос неестественно и громко раскатился по всему саду.

— Я так и думала, что встречу вас здесь,— небрежно заметила Джордан, когда я поднимался по мраморным ступеням.— Вы ведь говорили, что живете рядом с...

Она слегка придержала мою руку в знак того, что займется мною чуть погодя, а сама вопросительно повернулась к двум девицам в совершенно одинаковых желтых платьях, остановившимся у подножия лестницы.

— Здравствуйте! — воскликнули девицы дуэтом.— Как обидно, что победили не вы!

Речь шла о состязаниях в гольф. На прошлой неделе Джордан проиграла финальную встречу.

— Вы нас не узнаёте,— сказала одна из желтых девиц,— а мы здесь же и познакомились, с месяц назад.

— У вас тогда волосы были другого цвета,— возразила Джордан.

Я так и подскочил, но девицы уже прошли мимо, и ее замечание могла принять на свой счет только скороспелая луна, доставленная, должно быть, в корзине вместе с закусками. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан,

я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Из сумрака выплыл навстречу поднос с коктейлями, и мы, взяв по бокалу, присели к столику, где уже расположились желтые девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Брмр.

— Вы часто бываете здесь? — спросила Джордан у ближайшей девицы.

— Последний раз вот тогда, когда познакомилась с вами,— бойко отрапортовала та.— И ты, кажется, тоже, Люсиль? — обратилась она к своей подруге.

Выяснилось, что и Люсиль тоже.

— А мне здесь нравится,— сказала Люсиль.— Я вообще живу не раздумывая, поэтому мне всегда весело. В тот раз я зацепилась за стул и порвала платье. Он спросил мою фамилию и адрес,— и через три дня мне приносят коробку от Круарье, а в коробке новое вечернее платье.

— И вы приняли? — спросила Джордан.

— Конечно, приняла. Я даже думала его сегодня надеть, но нужна небольшая переделка: в груди широковато. Цвета лаванды, с вышивкой светло-лиловым бисером. Двести шестьдесят пять долларов.

— Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет,— с апломбом сказала первая девица.— Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было.

— Кто — он? — спросил я.

— Гэтсби. Мне говорили...

Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы.

— Мне говорили, будто он когда-то убил человека.

Мороз побежал у нас по коже. Три мистера Брмр вытянули шеи, жадно вслушиваясь.

— А по-моему, вовсе не в этом дело,— скептически возразила Люсиль.— Скорее в том, что во время войны он был немецким шпионом.

Один из мужчин энергично закивал в подтверждение.

— Я сам слышал об этом от человека, который знает его как родного брата. Вместе с ним вырос в Германии,— поспешил он нас заверить.

— Ну как же это может быть,— сказала первая девица.— Ведь во время войны он служил в американской армии.— И наше доверие опять переметнулось к ней, а она торжествующе продолжала: — Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо,

когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться: он убийца.

Она зажмурила глаза и поежилась. Люсиль поежилась тоже. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос.

Стали подавать первый ужин — после полуночи предстоял второй,— и Джордан пригласила меня присоединиться к ее компании, облюбовавшей стол в другом конце сада. Компанию составляли две супружеские пары и кавалер Джордан, студент из породы вечных, изъяснявшийся многозначительными намеками и явно убежденный, что рано или поздно Джордан предоставит свою особу в более или менее полное его распоряжение. Вместо того чтобы по приезде разбрестись кто куда, они держались горделиво замкнутым кружком, взяв на себя миссию представлять здесь положительную, аристократическую часть местного общества. То был Ист-Эгг, снизошедший до Уэст-Эгга и бдительно обороняющийся от его калейдоскопического веселья.

— Уйдем отсюда,— шепнула мне Джордан, когда прошли полчаса, показавшиеся томительными и ненужными.— Мне уже невмоготу от этих церемоний.

Мы оба встали из-за стола; мы хотим поискать хозяина дома, объяснила Джордан: мне неловко, что я ему до сих пор не представлен. Студент кивнул со снисходительной, меланхолической усмешкой.

В баре, куда мы заглянули прежде всего, было людно и шумно, но Гэтсби там не оказалось. Джордан взошла на крыльцо и оттуда оглядела сад, но его нигде не было видно. Не найдя его и на боковой веранде, мы наугад толкнули внушительного вида дверь и очутились в библиотеке — комнате с высокими готическими сводами и панелями резного дуба на английский манер, должно быть перевезенной целиком из какого-нибудь разоренного родового гнезда за океаном.

Пожилой толстяк в огромных выпуклых очках, делавших его похожим на филина, сидел на краю стола, явно в подпитии, задумчиво созерцая полки с книгами. Когда мы вошли, он стремительно повернулся и оглядел Джордан с головы до ног.

— Как вам это нравится? — порывисто спросил он.

— Что именно?

Он указал рукой на книжные полки.

— Вот это. Проверять не трудитесь. Уже проверено. Все — настоящие.

— Книги?

Он кивнул головой.

— Никакого обмана. Переплет, страницы, все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки, а оказывается — они настоящие. Переплет, страницы... Да вот посмотрите сами!

Убежденный в нашем недоверии, он подбежал к полке, выхватил одну книгу и протянул нам. Это был первый том «Лекций» Стоддарда.

— Видали? — торжествующе воскликнул он.— Обыкновенное печатное издание, без всяких подделок. На этом я и попался. Этот тип — второй Беласко*. Разве не шедевр? Какая продуманность! Какой реализм! И заметьте — знал, когда остановиться,— страницы не разрезаны. Но чего вы хотите? Чего тут можно ждать?

Он вырвал книгу у меня из рук и поспешно вставил на место, бормоча, что, если один кирпич вынут, может обвалиться все здание.

— Вас кто привел? — спросил он.— А может, вы пришли сами? Меня привели. Тут почти всех приводят.

Джордан метнула на него короткий веселый взгляд, но не ответила.

— Меня привела дама по фамилии Рузвельт,— продолжал он.— Миссис Клод Рузвельт. Не слыхали? Где-то я с ней вчера познакомился. Я, знаете, уже вторую неделю пьян, вот и решил посидеть в библиотеке,— может, думаю, скорее протрезвлюсь.

— Ну и как, помогло?

— Кажется — немножко. Пока еще трудно сказать. Я здесь всего час. Да, я вам не говорил про книги? Представьте себе, они настоящие. Они...

— Вы нам говорили.

Мы с чувством пожали ему руку и снова вышли в сад.

На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы: старички двигали перед собой пятившихся молодых девиц, выписывая бесконечные неуклюжие петли; по краям топтались самодовольные пары, сплетаясь в причудливом модном изгибе тел,— и очень много девушек танцевало в одиночку, каждая на свой лад, а то вдруг давали минутную передышку музыканту, игравшему на банджо или на кастаньетах. К полуночи веселье

было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленное контральто — джазовую песенку, а в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь, кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого, беспечного смеха. Эстрадная пара близнецов — это оказались наши желтые девицы — исполнила в костюмах сценку из детской жизни; лакеи между тем разносили шампанское в бокалах с полоскательницу величиной. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду.

Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели еще двое: мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Мне теперь тоже было легко и весело. Я выпил две полоскательницы шампанского, и все, что я видел перед собой, казалось мне исполненным глубокого, первозданного смысла.

Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.

— Мне ваше лицо знакомо,— сказал он приветливо.— Вы случайно не в Третьей дивизии служили во время войны?

— Ну как же, конечно. В Девятом пулеметном батальоне.

— А я — в Седьмом пехотном полку, вплоть до мобилизации в июне тысяча девятьсот восемнадцатого года. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались.

Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом он сказал, что недавно купил гидроплан и собирается испытать его завтра утром,— из чего я заключил, что он живет где-то по соседству.

— Может быть, составите мне компанию, старина? Покатаемся по проливу вдоль берега?

— А в какое время?

— В любое, когда вам удобно.

Я уже открыл рот, чтобы осведомиться о его фамилии, но тут Джордан оглянулась на меня и спросила с улыбкой:

— Ну как, перестали хандрить?

— Почти перестал, спасибо.— Я снова повернулся к своему новому знакомцу: — Никак не привыкну к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом,— я махнул рукой в сторону невидимой изгороди,— и он прислал мне с шофером приглашение.

Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.

— Так ведь это я — Гэтсби,— сказал он вдруг.

— Что?! — воскликнул я.— Ох, извините, ради бога!

— Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин.

Он улыбнулся мне ласково — нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободряющей силы, удается встретить четыре, ну, пять раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредоточивается на вас. И вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и безусловно видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла — и передо мною был просто расфранченный хлыщ, лет тридцати с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой.

Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистера Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном, обращенным к каждому из нас понемногу.

— Вы тут, пожалуйста, не стесняйтесь, старина,— обратился он ко мне.— Захочется чего-нибудь — только велите лакею. А я скоро вернусь. Прошу прощения.

Как только он отошел, я повернулся к Джордан: мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией.

— Кто он вообще такой? — спросил я.— Вы знаете?

— Некто по фамилии Гэтсби, вот и все.

— Но откуда он родом? Чем занимается?

— Ну вот, теперь и вы туда же,— протянула Джордан с ленивой усмешкой.— Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.

В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон; но следующее замечание Джордан снова все смешало:

— Впрочем, я этому не верю.

— Почему?

— Сама не знаю,— решительно сказала она.— Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.

Что-то в ее тоне напоминало слова желтой девицы: «Мне кажется, что он убийца»,— и это лишь подстрекнуло мое любопытство. Пусть бы мне сказали, что Гэтсби — выходец с луизианских болот или из самых нищенских кварталов нью-йоркского Ист-Сайда, я бы не удивился и не задумался. В этом не было ничего невероятного. Но чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд — так не бывает; по крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает.

— Во всяком случае, у него всегда собирается много народу,— сказала Джордан, уходя от разговора с чисто городской нелюбовью к конкретности.— А мне нравятся многолюдные сборища. На них как-то уютнее. В небольшой компании никогда не чувствуешь себя свободно.

В оркестре бухнул большой барабан, и дирижер вдруг звонко выкрикнул, перекрывая многоголосый гомон:

— Леди и джентльмены! По просьбе мистера Гэтсби мы сейчас сыграем вам новую вещь Владимира Тостова, которая в мае произвела такое большое впечатление в Карнеги-холле. Читатели газет, вероятно, помнят, что это была настоящая сенсация.— Он улыбнулся снисходительно-весело и добавил: — Фу-рор!

Кругом засмеялись.

— Итак,— он еще повысил голос.— Владимир Тостов, «Джазовая история человечества».

Но мне не суждено было оценить произведения мистера Тостова, потому что при первых же тактах музыки я вдруг увидел Гэтсби. Он стоял на верхней ступеньке мраморной лестницы и с довольным видом оглядывал группу за группой. Смуглая от загара кожа приятно обтягивала его лицо, короткие волосы лежали так аккуратно, словно их подстригали каждый день. Ничего зловещего я в нем усмотреть не мог. Быть может, то, что он совсем не пил, и выделяло его из толпы гостей — ведь чем шумней становилось общее веселье, тем он, казалось, больше замыкался в своей корректной сдержанности. Под заключительные звуки «Джазовой истории человечества» одни девицы с кокетливой фамильярностью склонялись к мужчинам на плечо, другие, пошатнувшись, притворно падали в обморок, не сомневаясь, что их подхватят крепкие мужские руки — и, может быть, даже не одни; но никто не падал в обморок на

руки Гэтсби, и ничья под мальчишку остриженная головка не касалась его плеча, и ни один импровизированный вокальный квартет не составлялся с его участием.

— Простите, пожалуйста.

Возле нас стоял лакей.

— Мисс Бейкер? — осведомился он.— Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине.

— Со мной? — воскликнула удивленная Джордан.

— Да, мисс.

Она оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Я заметил, что и в вечернем платье, да и в любом другом, она двигается так, как будто на ней надет спортивный костюм,— была в ее походке пружинистая легкость, словно свои первые шаги она училась делать на поле для гольфа ясным погожим утром.

Я остался один. Было уже два часа. Какие-то невнятные загадочные звуки доносились из комнаты, длинным рядом окон выходившей на веранду. Я ускользнул от студента Джордан, пытавшегося втянуть меня в разговор на акушерско-гинекологическую тему, который он успел завести с двумя эстрадными певичками,— и пошел в дом.

Большая комната была полна народу. Одна из желтых девиц сидела за роялем, а рядом стояла рослая молодая особа с рыжими волосами, дива из знаменитого эстрадного ансамбля, и пела. Она выпила много шампанского, и на втором куплете исполняемой песенки жизнь вдруг показалась ей невыносимо печальной — поэтому она не только пела, но еще и плакала навзрыд. Каждую музыкальную паузу она заполняла короткими судорожными всхлипываниями, после чего дрожащим сопрано выводила следующую фразу. Слезы лились у нее из глаз,— впрочем, не без препятствий: повиснув на густо накрашенных ресницах, они приобретали чернильный оттенок и дальше стекали по щекам в виде медлительных черных ручейков. Какой-то шутник высказал предположение, что она поет по нотам, написанным у нее на лице; услышав это, она всплеснула руками, повалилась в кресло и тут же уснула мертвецки пьяным сном.

— У нее вышла ссора с господином, который называет себя ее мужем,— пояснила молодая девушка, стоявшая со мной рядом.

Я огляделся по сторонам. Большинство дам, которые еще не успели уехать, заняты были тем, что ссорились со своими

предполагаемыми мужьями. Даже в компанию Джордан, квартет из Ист-Эгга, проник разлад. Один из мужчин увлекся разговором с молоденькой актрисой, а его жена сперва высокомерно делала вид, что это ее нисколько не трогает и даже забавляет, но в конце концов не выдержала и перешла к фланговым атакам — каждые пять минут она неожиданно вырастала сбоку от мужа и, сверкая точно разгневанный бриллиант, шипела ему в ухо: «Ты же обещал!»

Впрочем, не одни ветреные мужья отказывались ехать домой. У самого выхода шел спор между двумя безнадежно трезвыми мужчинами и их негодующими женами. Жены обменивались сочувственными репликами в слегка повышенном тоне:

— Стоит ему заметить, что мне весело,— сейчас же он меня тянет домой.

— В жизни не видела такого эгоиста.

— Всегда мы должны уходить первыми.

— И мы тоже.

— Но сегодня мы чуть ли не последние,— робко возразил один из мужей.— Оркестр и то уже час как уехал.

Невзирая на дружные обвинения в неслыханном тиранстве, мужья все же одержали верх; после недолгой борьбы упирающиеся дамы были подхвачены под мышки и вытащены в темноту ночи.

Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозила светская любезность.

Спутники Джордан были уже в дверях и нетерпеливо окликали ее, но она остановилась, чтобы попрощаться со мной.

— Я только что выслушала совершенно невероятную историю,— шепнула она.— Что, мы там долго пробыли?

— Добрый час.

— Да... просто невероятно,— рассеянно повторила она.— Но я дала слово, что никому не расскажу, так что не буду вас мучить.— Она мило зевнула мне прямо в лицо.— Заходите как-нибудь, буду очень рада... Телефон есть в справочнике... На имя миссис Сигурни Хауорд... Моя тетя...— Она уже бежала к дверям — легкий взмах смуглой руки на прощание, и она исчезла среди заждавшихся спутников.

Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого тес-

нились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.

— Ну что вы, какие пустяки,— прервал он меня.— Даже и не думайте об этом, старина.— В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу.— И не забудьте: завтра в девять часов утра мы с вами отправляемся в полет на гидроплане.

Но тут голос лакея из-за его спины:

— Вас вызывает Филадельфия, сэр.

— Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку... Спокойной вочи.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.— Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому.— Спокойной ночи, старина... Спокойной ночи.

Но когда я спустился с лестницы, выяснилось, что вечер еще не окончен. Впереди, шагах в пятидесяти, свет десятка автомобильных фар выхватывал из ночной тьмы странное и беспорядочное зрелище. В придорожном кювете, выставив ободранный правый бок без переднего колеса, покоился новенький двухместный автомобиль, за минуту до этого отъехавший от дома Гэтсби. Острый выступ стены объяснял историю оторванного колеса — оно, кстати, валялось тут же, и несколько шоферов, побросав свои машины, с интересом осматривали его и ощупывали. На дороге тем временем успела образоваться пробка, и неумолчный разноголосый рев клаксонов из задних рядов еще увеличивал сумятицу.

Какой-то человек в длиннополом пыльнике вылез из обломков крушения и теперь стоял посреди дороги, с трогательным недоумением переводя взгляд с машины на колесо и с колеса на зрителей.

— Видали? — произнес он.— Угодили в кювет.

Самый факт, по-видимому, безгранично изумлял его. Мне показалась знакомой эта редкостная глубина удивления, и в следующую минуту я узнал его — это был недавний искатель уединения из библиотеки Гэтсби.

— Как это случилось?

Он пожал плечами.

— Я в технике ничего не понимаю,— решительно объявил он.

— Но как это случилось? Вы налетели на стену?

— Меня не спрашивайте,— сказал Филин с видом человека, умывающего руки.— Автомобилист из меня слабый, можно сказать — никакой. Случилось, и все.

— Если вы неопытный водитель, так не пытались бы править ночью.

— А я и не пытался,— возразил он с негодованием.— Я даже и не пытался.

Все кругом замерли от ужаса.

— Вы что же, самоубийство задумали?

— Скажите спасибо, что отделались одним колесом. Человек садится за руль и даже не пытается править!

— Вы не так поняли,— запротестовал преступник.— Я вовсе не сидел за рулем. Нас в машине было двое.

Это заявление положительно оглушило всех. Сдавленное «о-ох!» пронеслось над дорогой. Но тут дверца машины начала медленно отворяться. Толпа (теперь это уже была толпа) невольно попятилась, и, когда дверца откинулась совсем, наступила зловещая пауза. Затем из машины очень медленно, по частям, высунулась бледная разболтанная личность и осторожно стала нащупывать почву бальным башмаком солидных размеров.

Ослепленный ярким светом фар, одуревший от беспрерывного воя клаксонов, призрак пошатывался из стороны в сторону, пока наконец не заметил человека в пыльнике.

— В чем дело? — невозмутимо осведомился он.— Бензин кончился?

— Вы взгляните сюда!

Несколько пальцев указывало на ампутированное колесо. Он уставился было на него, потом поднял глаза вверх, будто заподозрил, что оно свалилось с неба.

— Отлетело напрочь,— пояснил кто-то.

Он кивнул.

— А я и не зам-метил, что мы с-стоим.

Пауза. Потом, с шумом набрав воздух в легкие и расправив плечи, он деловито спросил:

— Кто-нибудь знает, где тут м-можно за-запра-виться?

С десяток голосов (часть из них звучала немного более твердо) принялись втолковывать ему, что между машиной и колесом более пе существует физической связи.

— А вы задним ходом,— посоветовал он, немного подумав.— Назад, потом вперед.

— Так вот же колеса!

Он помедлил в нерешительности.

— П-попробовать-то можно,— сказал он наконец.

Кошачий концерт гудков достиг своего апогея. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Облатка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.

Перечитав написанное, я вижу, что может создаться впечатление, будто я только и жил тогда что событиями этих трех вечеров, разделенных промежутками в несколько недель. На самом же деле это были для меня лишь случайные эпизоды насыщенного событиями лета, и в ту пору, во всяком случае, они занимали меня несравненно меньше, чем личные мои дела.

Прежде всего, я работал. Утреннее солнце отбрасывало на запад мою тень, когда я шагал по белым ущельям деловой части Нью-Йорка, торопясь в свое богоугодное заведение. Я знал по именам всех прочих молодых клерков и агентов по продаже ценных бумаг. Мы вместе завтракали в полутемных, переполненных ресторанчиках свиными сосисками с картофельным пюре, запивая их чашкой кофе. У меня даже завязалась интрижка с одной девушкой из Джерси-Сити, которая служила у нас счетоводом, но ее брат стал зловеще коситься на меня при встречах, и, когда в июле она уехала в отпуск, я воспользовался этим, чтобы поставить точку.

Обедал я в Йельском клубе — почему-то это было для меня самым тягостным делом за день,— а после шел наверх, в библиотеку, и час-другой прилежно трудился, вникая в тайны инвестиций и кредитов. Среди завсегдатаев клуба попадалось немало шумных гуляк, но в библиотеку они не заглядывали, и там всегда можно было спокойно поработать. Потом, если вечер был погожий, я брел пешком по Мэдисон-авеню, мимо старой гостиницы «Меррэй-хилл» и, свернув на Тридцать третью улицу, выходил к Пенсильванскому вокзалу.

Понемногу я полюбил Нью-Йорк, пряный, дразнящий привкус его вечеров, непрестанное мелькание людей и машин, жадно впитываемое беспокойным взглядом. Мне нравилось слоняться по Пятой авеню, высматривать в толпе женщин с романтической внешностью и воображать: вот сейчас я вой-

ду в жизнь той или иной из них, и никто никогда не узнает и не осудит. Иногда я мысленно провожал их домой, на угол какой-нибудь таинственной улочки, и прежде чем нырнуть в теплую темень за дверью, они оглядывались и улыбались мне в ответ на мою улыбку. А бывало, что в колдовских сумерках столицы меня вдруг охватывала тоска одиночества, и эту же тоску я угадывал в других — в бедных молодых клерках, топтавшихся у витрин, чтобы как-нибудь убить время до неуютного холостяцкого обеда в ресторане,— молодых людях, здесь, в этой полумгле растрачивавших впустую лучшие мгновения вечера и жизни.

И позже, в восемь часов, когда в узких проездах Сороковых улиц, района театров, бурлил сплошной поток фыркающих машин, тоска снова сжимала мне сердце. Неясные тени склонялись друг к другу в такси, нетерпеливо дожидающихся у перекрестка, до меня доносился обрывок песни, смех в ответ на неслышную шутку, огоньки сигарет чертили замысловатые петли в темноте. И мне представлялось, что я тоже спешу куда-то, где ждет веселье, и, разделяя чужую радость, я желал этим людям добра.

На некоторое время я потерял из вида Джордан Бейкер, но в разгар лета мы повстречались снова. Поначалу мне просто нравилось бывать вместе с нею на людях — она была чемпионкой по гольфу, которую все знали, и это льстило моему тщеславию. Потом появилось нечто большее. Не то чтобы я был влюблен, но меня влекло к ней какое-то нежное любопытство. Мне чудилось, что за надменной, скучающей миной скрывается что-то — ведь все напускное чему-то служит прикрытием, и рано или поздно истина узнается. В конце концов я понял, в чем дело. Как-то раз, когда мы с ней были в гостях в одном доме в Уорике, она оставила чужую машину под дождем с откинутым верхом, а потом преспокойно солгала,— и тут я вдруг припомнил тот связанный с нею слух, который смутно шевелился у меня в памяти при первой нашей встрече у Дэзи. На первом большом состязании в гольф, в котором она участвовала, случилась история, едва не попавшая в газеты: ее обвинили, будто в полуфинале она сдвинула свой мяч, попавший в невыгодную позицию. Дошло чуть ли не до открытого скандала — однако все утряслось. Мальчик, носивший клюшки, отказался от своего заявления, единственный другой свидетель признал, что мог и ошибиться. Но весь инцидент застрял в моей памяти вместе с полузабытым именем.

Джордан Бейкер инстинктивно избегала умных, проницательных людей, и теперь мне стало ясно почему — она чувствовала себя увереннней среди тех, кому попросту в голову не могло прийти, что бывают поступки, не вполне согласующиеся с общепринятыми нормами поведения. Она была неисправимо бесчестна. Ей всегда казалась невыносимой мысль, что обстоятельства могут сложиться не в ее пользу, и, должно быть, она с ранних лет приучилась к неблаговидным проделкам, помогавшим ей взирать на мир с этой холодной, дерзкой усмешкой и в то же время потворствовать любой прихоти своего упругого, крепкого тела.

Для меня это ничего не изменило. Бесчестность в женщине — недостаток, который никогда не осуждаешь особенно сурово. Я слегка огорчился, потом перестал об этом думать. Именно тогда, в Уорике, у нас вышел любопытный разговор насчет поведения за рулем. Началось с того, что она промчалась мимо какого-то рабочего так близко, что крылом у него сорвало пуговицу с куртки.

— Вы никуда не годный водитель,— рассердился я.— Не можете быть поосторожней, так не беритесь управлять машиной.

— Я осторожна.

— Как бы не так.

— Ну, другие осторожны,— беспечно заметила она.

— А это тут при чем?

— Они будут уступать мне дорогу. Для столкновения требуются двое.

— А вдруг вам попадется кто-то такой же неосторожный, как вы сами?

— Надеюсь, что не попадется,— сказала она.— Терпеть не могу неосторожных людей. Вот почему мне нравитесь вы.

Ее серые глаза, утомленные солнечным светом, смотрели не на меня, а на дорогу, но что-то намеренно было сдвинуто ею в наших отношениях, и на миг мне показалось, будто чувство, которое она мне внушает, это — любовь. Но я тяжел на подъем и опутан множеством внутренних правил, которые служат тормозом для моих желаний, и я твердо знал, что прежде всего должен выпутаться из того недоразумения дома. Я раз в неделю писал туда письма, подписываясь: «С приветом, Ник», а думая о той, кому они были адресованы, я вспоминал только светлые усики пота, выступавшие над ее верхней губой, когда она играла в теннис. Но все же какие-то неопределенные узы

соединяли нас, и нужно было тактично разомкнуть их — без этого я не мог считать себя свободным.

Каждый человек склонен подозревать за собой хотя бы одну фундаментальную добродетель; я, например, считаю себя одним из немногих честных людей, которые мне известны.

Глава IV

По воскресеньям с утра, когда в церквах прибрежных поселков еще шел колокольный перезвон, весь большой и средний свет съезжался к Гэтсби и веселым роем заполнял его усадьбу.

— Он бутлегер*,— шептались дамы, попивая его коктейли и нюхая его цветы.— Он племянник фон Гинденбурга и троюродный брат дьявола, и он убил человека, который об этом проведал. Сорви мне розу, душенька, и налей, кстати, еще глоточек вон в тот хрустальный бокал.

Я как-то стал записывать на полях железнодорожного расписания имена гостей, бывавших у Гэтсби в то лето. На расписании стоит штамп «Вводится с 5 июля 1922 года», оно давно устарело, и бумага потерлась на сгибах. Но выцветшие записи еще можно разобрать, и по ним легче, чем по моим банальным суждениям, представить себе то общество, которое пользовалось гостеприимством Гэтсби, любезно платя хозяину тем, что ровным счетом ничего о нем не знало.

Из Ист-Эгга приезжали Честер-Беккеры, и Личи, и некто Бунзен, мой университетский знакомый, и доктор Уэбстер Сивет, тот самый, что прошлым летом утонул в штате Мэн. И Хорнбимы, и Уилли Вольтер с женой, и целый клан Блэкбеков, которые всегда сбивались где-нибудь и кучу и по-козлиному мотали головой, стоило постороннему подойти близко. Потом еще Исмэи, и чета Кристи, точней, Губерт Ауэрбах с супругой мистера Кристи, а Эдгар Бивер, о котором рассказывают, что он поседел как лунь за один вечер, и, главное, ни с того ни с сего.

Кларенс Эндайв, помнится, тоже был из Ист-Эгга. Его я видел только раз, он явился в белых фланелевых бриджах и затеял драку в саду с проходимцем по фамилии Этти. С дальнего конца острова приезжали Чидлзы и О.-Р.-П. Шредеры, и Стонуолл Джексон Эбрэмс из Джорджии, и Фишгард, и Рипли Снелл, все с женами. Снелл был там за три дня до того, как его посадили в

тюрьму, и так напился, что валялся пьяный на подъездной аллее, и автомобиль миссис Юлиссез Суэтт переехал ему правую руку. Дэнси тоже бывали там всем семейством, и С.-В. Уайтбэйт, которому уже тогда было под семьдесят, и Морис А. Флинк, и Хаммерхеды, и Белуга, табачный импортер, и Белугины дочки.

Из Уэст-Эгга являлись Поулы, и Малреди, и Сесил Роубэк, и Сесил Шён, и Гулик, сенатор штата, и Ньютон Оркид, главный заправила компании «Филмз пар экселлянс», и Экхост, и Клайд Коген, и Дон С. Шварце (сын), и Артур Мак-Карти — все они что-то такое делали в кино. А потом еще Кэтлины, и Бемберги, и Дж. Эрл Мэлдун, брат того Мэлдуна, который впоследствии задушил свою жену. Приезжал известный делец Да Фонтано, и Эд Легро, и Джеймс Б. Феррет («Трухлявый»), и Де Джонг с женой, и Эрнест Лилли — эти ездили ради карт, и если Феррет выходил в сад и в одиночку разгуливал по дорожкам, это означало, что он проигрался и что завтра «Ассошиэйтед транспорт» подскочит в цене.

Некто Клипспрингер гостил так часто и так подолгу, что заслужил прозвище «Квартирант» — да у него, наверно, и не было другого местожительства. Из театрального мира бывали Гас Уэйз, и Орэйс О'Донован, и Лестер Майер, и Джордж Даквид, и Фрэнсис Булл. Кроме того, приезжали из Нью-Йорка Кромы, и Бэкхиссоны, и Денникеры, и Рассел Бетти, и Корриганы, и Келлехеры, и Дьюары, и Скелли, и С.-В. Белчер, и Смерки, и молодые Квинны (они тогда еще не были в разводе), и Генри Л. Пельметто, который потом бросился под поезд метро на станции «Таймс-сквер».

Бенни Мак-Кленаван приезжал в обществе четырех девиц. Девицы не всегда были одни и те же, но все они до такой степени походили одна на другую, что вам неизменно казалось, будто вы их уже видели раньше. Не помню, как их звали,— обычно или Жаклин, или Консуэла, или Глория, или Джун, или Джуди, а фамилии звучали как названия цветов или месяцев года, но иногда при знакомстве называлась фамилия какого-нибудь крупного американского капиталиста, и если вы проявляли любопытство, вам давали понять, что это дядюшка или кузен.

Припоминаю еще, что видел там Фаустину О'Брайен — один раз, во всяком случае,— и барышень Бедекер, и молодого Бруера, того, которому на войне отстрелили нос, и мистера Олбрексбергера, и мисс Хааг, его невесту, и Ардиту Фиц-Питерс, и мистера П. Джуэтта, возглавлявшего некогда Американский легион*, и мисс Клаудию Хип с ее постоянным

спутником, о котором рассказывали, что это ее шофер и что он какой-то сиятельный, мы все звали его герцогом, а его имя я позабыл,— если вообще знал когда-нибудь.

Все эти люди в то лето бывали у Гэтсби.

Как-то в девять часов утра роскошный лимузин Гэтсби, подпрыгивая на каменистой дороге, подъехал к моему дому, и я услышал победную триоль его клаксона. Это было в конце июля, я уже два раза побывал у Гэтсби в гостях, катался на его гидроплане, ходил купаться на его пляж, следуя его настойчивым приглашениям, но он ко мне еще не заглядывал ни разу.

— Доброе утро, старина. Мы ведь сегодня условились вместе позавтракать в городе, вот я и решил за вами заехать.

Он балансировал, стоя на подножке автомобиля с той удивительной свободой движения, которая так характерна для американцев; должно быть, они обязаны ею отсутствию тяжелого физического труда в юности, и еще больше — неопределенной грации наших нервных, судорожных спортивных игр. У Гэтсби это выражалось в постоянном беспокойстве, нарушавшем обычную сдержанность его манер. Он ни минуты не мог оставаться неподвижным: то нога постукивала о землю, то нетерпеливо сжимался и разжимался кулак.

Он заметил, что я любуюсь его машиной.

— Хороша, а? — Он соскочил, чтобы не заслонять мне.— А вы разве ее не видели раньше?

Я ее видел не раз. Все кругом знали эту машину. Она была цвета густых сливок, вся сверкала никелем, на ее чудовищно вытянутом корпусе там и сям самодовольно круглились отделения для шляп, отделения для закусок, отделения для инструментов, в лабиринте уступами расположенных щитков отражался десяток солнц. Мы уселись словно в зеленый кожаный парник за тройной ряд стекол и покатили в Нью-Йорк.

За этот месяц я встречался с Гэтсби несколько раз и, к своему разочарованию, убедился, что говорить с ним не о чем. Впечатление незаурядной личности, которое оп произвел при первом знакомстве, постепенно стерлось, и он стал для меня просто хозяином великолепного ресторана, расположенного по соседству.

И вот теперь эта дурацкая поездка. Еще не доезжая Уэст-Эгга, Гэтсби стал вести себя как-то странно: пе договаривал своих безупречно закругленных фраз, в замешательстве похло-

пывал себя по коленям, обтянутым брюками цвета жженого сахара. И вдруг озадачил меня неожиданным вопросом:

— Что вы обо мне вообще думаете, старина?

Застигнутый врасплох, я пустился было в те уклончивые банальности, которых подобный вопрос достоин. Но он меня тут же прервал:

— Я хочу вам немного рассказать о своей жизни. А то вы можете бог знает что вообразить, наслушавшись разных сплетен.

Значит, для него не были секретом причудливые обвинения, придававшие пикантность разговорам в его гостиных.

— Все, что вы от меня услышите,— святая правда.— Он энергично взмахнул рукой, как бы призывая карающую десницу Провидения быть наготове.— Я родился на Среднем Западе в богатой семье, из которой теперь уже никого нет в живых. Вырос я в Америке, но потом уехал учиться в Оксфорд — по семейной традиции. Несколько поколений моих предков учились в Оксфорде.

Он глянул на меня искоса,— и я понял, почему Джордан Бейкер заподозрила его во лжи. Слова «учились в Оксфорде» он проговорил как-то наспех, не то глотая, не то давясь, словно знал по опыту, что они даются ему с трудом. И от этой тени сомнения потеряло силу все, что он говорил, и я подумал: а нет ли в его жизни и в самом деле какой-то жутковатой тайны?

— Из какого же вы города? — спросил я как бы между прочим.

— Из Сан-Франциско.

— А-а!

— Все мои родные умерли, и мне досталось большое состояние...

Это прозвучало торжественно-скорбно, будто его и по сию пору одолевали раздумья о безвременно угасшем роде Гэтсби. Я было подумал, уж не разыгрывает ли он меня, но, взглянув на него, отказался от этой мысли.

— И тогда я стал разъезжать по столицам Европы — из Парижа в Венецию, из Венеции в Рим,— ведя жизнь молодого раджи: коллекционировал драгоценные камни, главным образом рубины, охотился на крупную дичь, немножко занимался живописью, просто так, для себя,— все старался забыть об одной печальной истории, которая произошла со мной много лет тому назад.

Мне стоило усилия сдержать недоверчивый смешок. Весь этот обветшалый лексикон вызывал у меня представление не о живом человеке, а о тряпичной кукле в тюрбане, которая в Булонском лесу охотится на тигров, усеивая землю опилками, сыплющимися из прорех.

— А потом началась война. Я даже обрадовался ей, старина, я всячески подставлял себя под пули, но меня, словно заколдованного, смерть не брала. Пошел я на фронт старшим лейтенантом. В Аргоннах* я с остатками пулеметного батальона вырвался так далеко вперед, что на флангах у нас оказались бреши шириной по полмили, где пехота не могла наступать. Мы там продержались дна дня и две ночи, с шестнадцатью «льюисами» на сто тридцать человек, а когда наконец подошли наши, то среди убитых, валявшихся на каждом шагу, они опознали по петлицам солдат из трех немецких дивизий. Я был произведен в майоры и награжден орденами всех союзных держав — даже Черногория, маленькая Черногория с берегов Адриатики, прислала мне орден.

Маленькая Черногория! Он как бы подержал эти слова на ладони и ласково им улыбнулся. Улыбка относилась к беспокойной истории Черногорского королевства и выражала сочувствие мужественному черногорскому народу в его борьбе. Она давала оценку всей цепи политических обстоятельств, одним из звеньев которой был этот дар щедрого сердечка Черногории. Мое недоверие растворилось в восторге; я точно перелистал десяток иллюстрированных журналов.

Гэтсби сунул руку в карман, и мне на ладонь упало что-то металлическое на шелковой ленточке.

— Вот это — от Черногории.

К моему удивлению, орден выглядел как настоящий. По краю было выгравировано: «Orderi di Danilo, Montenegro, Nicolas Rex».

— Посмотрите оборотную сторону.

«Майору Джею Гэтсби,— прочитал я.— За Выдающуюся Доблесть».

— А вот еще одна вещь, которую я всегда ношу при себе. На память об оксфордских днях. Снято во дворе Тринити-колледжа. Тот, что слева от меня, теперь граф Донкастер.

На фотографии несколько молодых людей в спортивных куртках стояли в непринужденных позах под аркой ворот, за которыми виднелся целый лес шпилей. Я сразу узнал Гэтсби,

с крикетной битой в руках; он выглядел моложе, но ненамного.

Так, значит, он говорил правду. Мне представились тигровые шкуры, пламенеющие в апартаментах его дворца на Большом канале, представился он сам, склонившийся над ларцом, полным рубинов, чтобы игрой багряных огоньков в их глубине утишить боль своего раненого сердца.

— Я сегодня собираюсь обратиться к вам с одной просьбой,— сказал он, удовлетворенно рассовывая по карманам свои сувениры,— вот я и решил кое-что вам рассказать о себе. Не хочется, чтобы вы меня бог весть за кого принимали. Понимаете, я привык, что вокруг меня всегда чужие люди, ведь я так и скитаюсь все время с места на место, стараясь забыть ту печальную историю, которая со мной произошла.— Он замялся.— Сегодня вы ее узнаете.

— За завтраком?

— Нет, позже. Я случайно узнал, что вы пригласили мисс Бейкер выпить с вами чаю в «Плаза».

— Уж не хотите ли вы сказать, что влюблены в мисс Бейкер?

— Ну что вы, старина, вовсе нет. Но мисс Бейкер была так любезна, что согласилась поговорить с вами о моем деле.

Я понятия не имел, что это за «дело», но почувствовал скорей досаду, чем любопытство. Вовсе не для того я приглашал Джордан, чтобы беседовать о мистере Джее Гэтсби. Я не сомневался, что его просьба окажется какой-нибудь несусветной чепухой, и на миг даже пожалел о том дне, когда впервые переступил порог его чересчур гостеприимного дома.

Больше он не сказал ни слова. Чем ближе мы подъезжали к городу, тем глубже он замыкался в своей корректности. Мелькнул мимо Порт-Рузвельт с океанскими кораблями в красной опояске,— и мы понеслись по булыжной мостовой убогого пригорода, вдоль темных, хоть и не безлюдных салунов, еще сохранивших на вывесках линялую позолоту девятисотых годов. Потом по обе стороны открылась Долина Шлака, и я успел заметить миссис Уилсон, энергично орудовавшую у бензоколонки.

На распластанных, как у птицы, крыльях, озаряя все кругом, пролетели мы половину Астории — но лишь одну половину: только мы запетляли между опорных свай надземной дороги, я услышал сзади знакомое фырканье мотоцикла, и нас догнал разъяренный полицейский.

— Ничего, ничего, старина! — крикнул Гэтсби.

Мы затормозили. Он вытащил из бумажника какую-то белую карточку и помахал ею перед носом полицейского.

— Все в порядке,— сказал тот, притронувшись пальцами к фуражке.— Теперь буду знать вашу машину, мистер Гэтсби. Прошу извинить.

— Что это вы ему показали? — спросил я.— Оксфордскую фотографию?

— Мне как-то случилось оказать услугу шефу полиции, и с тех пор он мне каждое Рождество присылает поздравительную открытку.

Вот и мост Квинсборо; солнце сквозь переплеты высоких ферм играет рябью бликов на проходящих машинах, а за рекой встает город нагромождением белых сахарных глыб, воздвигнутых чьей-то волей из денег, которые не пахнут. Когда с моста Квинсборо смотришь на город, это всегда так, будто видишь его впервые, будто он впервые безрассудно обещает тебе все тайное и все прекрасное, что только есть в мире.

Проехал мимо покойник на катафалке, заваленном цветами, а следом шли две кареты с задернутыми занавесками и несколько экипажей менее мрачного вида, для друзей и знакомых. У друзей были трагически скорбные глаза и короткая верхняя губа уроженцев юго-востока Европы, и когда они глядели на нас, я порадовался, что в однообразие этого их унылого воскресенья вплелось великолепное зрелище машины Гэтсби. На Блэквелс-Айленд нам повстречался лимузин, которым правил белый шофер, а сзади сидело трое расфранченных негров, два парня и девица. Меня разобрал смех, когда они выкатили на нас белки с надменно-сопершическим видом.

«Теперь все может быть, раз уж мы переехали этот мост,— подумал я.— Все что угодно...»

Даже Гэтсби мог быть, никого особенно не удивляя.

День на точке кипения. Мы условились встретиться и позавтракать в подвальчике на Сорок второй улице, славившемся хорошей вентиляцией. Подслеповато моргая после яркого солнечного света, я наконец увидел Гэтсби — он стоял и разговаривал с кем-то в вестибюле.

— Мистер Каррауэй, познакомьтесь, пожалуйста,— мой друг мистер Вулфшим.

Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно рас-

пустившимися у него в каждой ноздре. Чуть позже я разглядел в полутьме и пару узеньких глазок.

— ...я только раз на него посмотрел,— сказал Вулфшим, горячо пожимая мне руку,— и как бы вы думали, что я сделал?

— Что? — вежливо поинтересовался я.

Но, по-видимому, вопрос был адресован не мне, так как он тут же отпустил мою руку и направил свой выразительный нос на Гэтсби.

— Передал деньги Кэтспо и сказал: «Кэтспо, пока он не замолчит, не платите ему ни цента». И он сразу же прикусил язык.

Гэтсби взял нас обоих под руки и увлек в ресторанный зал. Мистер Вулфшим проглотил следующую фразу, после чего впал в состояние сомнамбулической отрешенности.

— С содовой и льдом? — осведомился метрдотель.

— Приятное заведение,— сказал мистер Вулфшим, рассматривая пресвитерианских нимф на потолке.— Но я лично предпочитаю то, что через дорогу.

— Да, с содовой и льдом,— кивнул Гэтсби, а затем возразил Вулфшиму: — Там очень душно, через дорогу.

— Душно и тесновато, согласен,— сказал мистер Вулфшим.— Но зато сколько воспоминаний.

— А что за ресторан через дорогу? — спросил я.

— Старый «Метрополь».

— Старый «Метрополь»,— задумчиво протянул мистер Вулфшим.— Так много лиц, которых больше никогда не увидишь. Так много друзей, которые умерли и не воскреснут. До конца дней своих не забуду ту ночь, когда там застрелили Рози Розенталя. Нас было шестеро за столом, и Рози ел и пил больше всех. Уже под утро подходит к нему официант и говорит: «Вас там спрашивают, в вестибюле». А у самого вид какой-то странный. «Сейчас иду»,— говорит Рози и хочет встать, но я ему не даю. «Слушай,— говорю,— Рози, если ты каким-то мерзавцам нужен, пусть они идут сюда, а тебе к ним ходить нечего, и ты не пойдешь, вот тебе мое слово». Был уже пятый час, и если бы не шторы на окнах, было бы светло без ламп.

— И что же, он пошел? — простодушно спросил я.

— Конечно, пошел.— Мистер Вулфшим негодующе сверкнул на меня носом.— В дверях он оглянулся и сказал: «Пусть официант не вздумает уносить мой кофе». И только он ступил на тротуар, ему всадили три пули прямо в набитое брюхо, и машина умчалась.

— Четверых все-таки посадили потом на электрический стул,— сказал я, припомнив эту историю.

— Пятерых, считая Беккера.— Мохнатые ноздри вскинулись на меня с вниманием.— Вы, как я слышал, интересуетесь деловыми контактами?

Я растерялся, ошарашенный таким переходом. За меня ответил Гэтсби.

— Нет, нет! — воскликнул он.— Это не тот.

— Не тот? — Мистер Вулфшим был явно разочарован.

— Это просто мой друг. Я же вам сказал, о том деле разговор будет не сегодня.

— А, ну извините,— сказал мистер Вулфшим.— Я вас принял за другого.

Подали аппетитный гуляш с овощами, и мистер Вулфшим, позабыв о волнующих преимуществах старого «Метрополя», со свирепым гурманством принялся за еду. Но в то же время он цепким, медленным взглядом обводил ресторанный зал — даже, замыкая круг, обернулся и посмотрел на тех, кто сидел сзади. Вероятно, если бы не мое присутствие, он не преминул бы заглянуть и под стол.

— Послушайте, старина,— наклоняясь ко мне, сказал Гэтсби,— вы на меня не рассердились утром, в машине?

Я увидел знакомую уже улыбку, но на этот раз я на нее не поддался.

— Не люблю загадок,— ответил я.— Почему вы не можете просто и откровенно сказать, что вам от меня нужно? Зачем было впутывать мисс Бейкер?

— Да нет, какие же загадки,— запротестовал он.— Во-первых, мисс Бейкер — спортсменка высокого класса, она бы ни за что не согласилась, если бы тут было что не так.

Он вдруг взглянул на часы, сорвался с места и опрометью выбежал вон, оставив меня в обществе мистера Вулфшима.

— У него разговор по телефону,— сказал мистер Вулфшим, проводив его глазами.— Замечательный человек, а? И красавец, и джентльмен с головы до ног.

— Да.

— Он ведь окончил Оксворт.

— Умгм!

— Он окончил Оксвортский университет в Англии. Вы знаете, что такое Оксвортский университет?

— Кое-что слышал.

— Один из самых знаменитых университетов в мире.

— А вы давно знаете Гэтсби? — спросил я.

— Несколько лет,— сказал он горделиво.— Имел удовольствие познакомиться сразу после войны. Стоило побеседовать с ним какой-нибудь час, и мне уже было ясно, что передо мной человек отменного воспитания. «Вот,— сказал я себе.— Такого человека приятно пригласить к себе в дом, познакомить со своей матерью и сестрой».— Он помолчал.— Я вижу, вы смотрите на мои запонки.

Я и не думал на них смотреть, но после этих слов посмотрел. Запонки были сделаны из кусочков слоновой кости неправильной, но чем-то очень знакомой формы.

— Настоящие человеческие зубы,— с готовностью сообщил он.— Отборные экземпляры.

— В самом деле! — Я присмотрелся поближе.— Оригинальная выдумка.

— Н-да.— Он одернул рукава пиджака.— Н-да. Гэтсби очень щепетилен насчет женщин. На жену друга он даже не взглянет.

Как только объект этого интуитивного доверия вернулся к нашему столику, мистер Вулфшим залпом проглотил кофе и встал.

— Благодарю за приятную компанию,— сказал он.— А теперь побегу, чтобы не злоупотреблять вашим гостеприимством, молодые люди.

— Куда вы, Мейер, посидите,— сказал Гэтсби не слишком настойчиво.

Мистер Вулфшим простер руку, вроде как бы для благословения.

— Вы очень любезны, но мы люди разных поколений,— торжественно изрек он.— У вас свои разговоры — о спорте, о барышнях, о...— Новый взмах руки заменил недостающее существительное.— А мне уж за пятьдесят, и я не хочу больше стеснять вас своим обществом.

Когда он прощался, а потом шел к выходу, его трагический нос слегка подрагивал. Я подумал: уж не обидел ли я его неосторожным словом?

— На него иногда находит сентиментальность,— сказал Гэтсби.— А вообще он в Нью-Йорке фигура — свой человек на Бродвее.

— Кто он, актер?

— Нет.

— Зубной врач?

— Мейер Вулфшим? Нет, он игрок.— Гэтсби на миг запнулся, потом хладнокровно добавил: — Это он устроил ту штуку с «Уорлд Сириз» в тысяча девятьсот девятнадцатом году.

Я остолбенел. Я помнил, конечно, аферу с бейсбольными соревнованиями «Уорлд Сириз», но никогда особенно не задумывался об этом, а уж если думал, то как о чем-то само собой разумеющемся, последнем и неизбежном звене какой-то цепи событий. У меня не укладывалось в мыслях, что один человек способен сыграть на доверии пятидесяти миллионов с прямолинейностью грабителя, взламывающего сейф.

— Как он мог сделать такую вещь? — спросил я.

— Использовал случай, вот и все.

— А почему его не посадили?

— Не могли ничего доказать, старина. Мейера Вулфшима голыми руками не возьмешь.

Я настоял на том, чтобы оплатить счет. Принимая сдачу от официанта, я вдруг заметил в другом конце переполненного зала Тома Бьюкенена.

— Мне надо подойти поздороваться со знакомым,— сказал я.— Пойдемте со мной, это одна минута.

Том, завидев нас, вскочил и сделал несколько шагов навстречу.

— Где ты пропадаешь? — воскликнул он.— Хоть бы по телефону позвонил, Дэзи просто в ярости.

— Мистер Гэтсби — мистер Бьюкенен.

Они подали друг другу руки, и у Гэтсби вдруг сделался натянутый, непривычно смущенный вид.

— Как ты вообще живешь? — допытывался Том.— И что тебя занесло в такую даль?

— Мы здесь завтракали с мистером Гэтсби.

Я оглянулся,— но мистера Гэтсби и след простыл.

— Как-то раз, в октябре девятьсот семнадцатого года,— рассказывала мне несколько часов спустя Джордан Бейкер, сидя отменно прямо на стуле с прямою спинкой в саду-ресторане при отеле «Плаза»,— я шла по луисвиллской улице, то и дело сходя с тротуара на газон. Мне больше нравилось шагать по газону, потому что на мне были английские туфли с резиновыми шипами на подошве, которые вдавливались в мягкий грунт. На мне была также новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-си-

ние флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали.

Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дэзи Фэй. Ей тогда было восемнадцать, на два года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры из Кэмп-Тэйлор взволнованно домогались чести провести с нею вечер. «Ну хоть бы один часок!»

В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины и в нем сидит Дэзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила, только когда я была уже в трех шагах.

«А, Джордан! — неожиданно окликнула она.— Будь добра, подойди сюда на минутку».

Мне крайне польстило, что я могла ей понадобиться,— из всех старших подруг она всегда была для меня самой привлекательной. Она спросила, не в Красный ли Крест я иду, щипать корпию. Я сказала, что да. Так, может быть, я передам, чтобы сегодня ее там не ждали? Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом — всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби, и с тех пор я его четыре года в глаза не видала — так что, когда мы встретились на Лонг-Айленде, мне и в голову не пришло, что это тот самый Гэтсби.

Дело было в девятьсот семнадцатом. А на следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дэзи виделись довольно редко. Она развлекалась в другой компании, постарше,— если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи — будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. И больше она никогда не флиртовала с военными, ограничивая свой круг теми молодыми людьми, которые из-за близорукости или плоскостопия были непригодны для службы в армии.

К осени она снова стала прежней Дэзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия.. состоялся ее первый бал, и в

феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго, и свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл с сотней гостей в четырех отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле «Мюльбах» и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в триста пятьдесят тысяч долларов.

Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу — она лежит на постели в своем затканном цветами платье, хороша, как июньский вечер — и пьяна как сапожник. В одной руке у нее бутылка сотерна, а в другой какое-то письмо.

«Поз-поздравь меня,— бормочет.— Напилась первый раз в жизни, и до чего ж, ах, до чего ж хорошо!»

«Дэзи, что случилось?»

Сказать по правде, я испугалась: мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.

«Вот, п-пожалуйста.— Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.— Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дэзи пер-редумала. Так и скажи им всем: "Дэзи пер-редумала"».

И в слезы — плачет, просто рыдает. Я бросилась вон из комнаты, разыскала горничную ее матери, мы заперли дверь и втолкнули Дэзи в ванну с холодной водой. Она ни за что не хотела выпустить из рук письмо. Так и сидела с ним в ванне, сжав его в мокрый комок, и только тогда позволила мне положить его в мыльницу, когда увидела, что оно расползается хлопьями, точно снег.

Но ни одного слова она больше не вымолвила. Мы дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, а потом снова натянули на нее платье, и когда полчаса спустя она вместе со мною спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее, и инцидент был исчерпан. А назавтра, в пять часов дня, она не моргнув глазом обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям.

Я встретила их в Санта-Барбаре, уже на обратном пути, и даже удивилась — как можно быть до такой степени влюбленной в собственного мужа. Стоило ему на минуту выйти из комнаты, она уже беспокойно озиралась и спрашивала: «Где Том?» — и была сама не своя, пока он не появлялся на пороге. Она часами просиживала на пляже, положив его голову к

себе на колени, и гладила ему пальцами веки, и, казалось, не могла на него налюбоваться. Это было в августе. А через неделю после моего отъезда из Санта-Барбары Том ночью, на Вентурской дороге, врезался в автофургон, и переднее колесо его машины оторвало напрочь. В газеты попала и девица, с которой он ехал, потому что у нее оказалась сломанной рука,— это была горничная из отеля в Санта-Барбаре.

В апреле у Дэзи родилась дочка, и они на год уехали во Францию. Я встречала их время от времени — то в Каннах, то в Довиле, а потом они вернулись домой и обосновались в Чикаго. Дэзи, как вы помните, знали и любили в Чикаго. Народ вокруг них толокся самый беспутный — всё богатая молодежь, шалопаи и кутилы; но Дэзи ухитрилась сохранить совершенно безупречную репутацию. Может быть, благодаря тому, что она не пьет. Это большое преимущество — быть трезвой, когда все кругом пьяны. Не наговоришь лишнего, а главное, если вздумается что-нибудь себе позволить, сумеешь выбрать время, когда никто уже ничего не замечает или всем наплевать. А может быть, Дэзи не интересовали романы,— хотя есть у нее в голосе что-то такое...

И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби — впервые за все эти годы. Помните, когда вы упомянули, что живете в Уэст-Эгге, я спросила, не знаете ли вы там Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой, она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила: «Как он выглядит, этот Гэтсби?» И когда я спросонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.

Когда Джордан Бейкер досказывала мне эту историю, мы уже давно успели уйти из «Плаза» и в открытой машине ехали по аллеям Центрального парка. Солнце уже скрылось за высокими обиталищами кинозвезд на Пятидесятых улицах западной стороны, и в душных сумерках звенели ясные голоса детей, выводивших, точно сверчки на траве, свою песенку:

Я арабский шейх,
Люблю тебя больше всех.
Я примчусь к тебе во сне
На быстроногом скакуне.

— Странное совпадение,— сказал я.

— А это вовсе не совпадение.

— То есть как?

— Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дэзи живет недалеко, по ту сторону бухты.

Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.

— Вот он и хотел вас просить,— продолжала Джордан,— может быть, вы как-нибудь позовете Дэзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок.

Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал пять лет, купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мошкары,— и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь «зайти на часок» в чужой дом.

— Неужели, чтобы обратиться с такой пустячной просьбой, нужно было посвящать меня во все это?

— Он робеет, ведь он так долго ждал. Думал, вдруг вы обидитесь. Ведь он, в сущности, порядочный дикарь, если заглянуть поглубже.

Что-то мне тут казалось не так.

— Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?

— Ему хочется, чтобы она увидела его дом,— пояснила Джордан.— А вы живете рядом.

— А-а!

— По-моему, он все ждал, что в один прекрасный вечер она вдруг появится у него в гостиной,— продолжала Джордан.— Но так и не дождался. Тогда он стал, как бы между прочим, заводить с людьми разговоры о ней, в надежде найти общих знакомых, и первой оказалась я. Вот он и обратился ко мне — помните, в тот вечер, когда мы с вами встретились у него на вилле. Послушали бы вы, как он бродил вокруг да около, пока добрался до сути дела. Я, конечно, сразу же предложила завтрак в Нью-Йорке — так он словно взбеленился. «Я не хочу никаких недозволенных встреч! — твердит.— Я хочу просто увидеться с ней в гостях у соседа».

— Когда я сказала, что вы с Томом приятели, он уже готов был отказаться от этой затеи. Он мало что знает о Томе, хотя говорит, что несколько лет просматривал каждый день чикагские газеты — все искал какого-нибудь упоминания о Дэзи.

Уже стемнело, и, когда мы нырнули под небольшой пешеходный мостик, я обхватил рукой золотистые плечи Джордан,

слегка притянул ее к себе и предложил поужинать вместе. И Дэзи и Гэтсби вдруг перестали меня интересовать; их место заняла эта безмятежная и решительная, узколобая проповедница всеобщего скептицизма, небрежно откинувшаяся на сгиб моей руки. В ушах у меня с каким-то хмельным азартом зазвучала фраза: «Ты или охотник, или дичь, или действуешь, или устало плетешься сзади».

— А Дэзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни,— вполголоса сказала Джордан.

— Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?

— Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чаю.

Мы миновали заслон из темных деревьев, и вот уже за парком мягко и нежно высветились фасады Пятьдесят девятой улицы. У меня, не в пример Гэтсби и Тому Бьюкенену, не было женщины, чей бестелесный образ реял бы передо мной среди темных карнизов и слепящих огней рекламы, поэтому я крепче сжал в объятиях ту, что сидела рядом. Бледный презрительный рот улыбнулся мне, и, сжимая ее все сильней, я потянулся к ее губам.

Глава V

Когда я в ту ночь возвратился в Уэст-Эгг из Нью-Йорка, я было испугался, что у меня в доме пожар. Два часа ночи, а вся оконечность мыса ярко освещена, кусты выступают из мглы, точно призраки, на телеграфных проводах играют длинные блики света. Но такси свернуло за угол, и я увидел, что это вилла Гэтсби сияет всеми огнями от башен до погребов.

Сперва я решил, что происходит очередное сборище и разгулявшиеся гости, затеяв игру в прятки или в «море волнуется», распространились по всем этажам. Но уж очень тихо было кругом. Только ветер гудел в проводах, и огни то меркли, то снова вспыхивали, как будто дом подмигивал ночи.

Такси с кряхтеньем отъехало от моего крыльца, и тут я увидел Гэтсби, который быстро шел по газону, направляясь ко мне.

— Ваш дом выглядит как павильон Всемирной выставки,— сказал я ему.

— В самом деле? — Он рассеянно оглянулся.— Мне вздумалось пройтись по комнатам. Знаете что, старина, давайте прокатимся на Кони-Айленд. В моей машине.

— Поздно уже.

— Тогда, может, поплаваем в бассейне? Я за все лето ни разу не искупался.

— Мне пора спать.

— Ну, как хотите.

Он ждал, глядя на меня с плохо скрытым нетерпением.

— Мисс Бейкер говорила со мной,— сказал я наконец.— Завтра я позвоню Дэзи и приглашу ее на чашку чаю.

— А, очень мило,— сказал он небрежно.— Только мне не хотелось бы причинять вам беспокойство.

— В какой день вам удобно?

— В какой день удобно вам,— поспешил он поправить.— Я, право же, не хотел бы причинять вам беспокойство.

— Ну, скажем, послезавтра? Подойдет?

Он с минуту раздумывал. Потом неуверенно заметил:

— Надо бы подстричь газон.

Мы оба посмотрели туда, где четко обозначилась граница моего участка, заросшего лохматой травой, а дальше темнела ухоженная гладь его владений. Я заподозрил, что речь идет о моем газоне.

— И потом еще кое-что...— Он запнулся в нерешительности.

— Так, может быть, отложим на несколько дней?

— Да нет, я не о том. То есть...— Он стал мямлить в поисках подходящего начала: — Видите ли, мне пришло в голову... Дело в том, что... Вы ведь, кажется, немного зарабатываете, старина?

— Совсем немного.

Мой ответ словно придал ему духу, и он продолжал более доверительным тоном:

— Я так и думал. Вы уж извините, если я... Видите ли, я тут затеял кое-что — так, между делом, понимаете. И вот мне пришло в голову, поскольку вы зарабатываете не очень много... Вы ведь занимаетесь реализацией ценных бумаг, верно?

— Пытаюсь, во всяком случае.

— Так для вас это может представить интерес. Много времени не займет, а заработать можно неплохо. Но понимаете, дело в некотором роде конфиденциальное.

Теперь я хорошо понимаю, что при других обстоятельствах этот разговор мог бы всю мою жизнь повернуть по-иному. Но предложение так явно и так бестактно было сделано в благодарность за услугу, что мне оставалось только одно — отказаться.

— К сожалению, не смогу,— сказал я.— У меня решительно нет времени на дополнительную работу.

— Вам не придется иметь дело с Вулфшимом.— Он, видно, решил, что меня смущает перспектива «контактов», о которых шла речь за завтраком, но я заверил его, что он ошибается. Он еще постоял, надеясь, что завяжется разговор; однако я, занятый своими мыслями, не расположен был разговаривать, и он неохотно побрел домой.

Голова у меня приятно кружилась после вечера в Нью-Йорке, и я, кажется, прямо с порога шагнул в глубокий сон. Поэтому я так и не знаю, ездил ли Гэтсби на Кони-Айленд или, может быть, до рассвета «прохаживался по комнатам», озаряя округу праздничным сиянием огней. Утром я из конторы позвонил Дэзи и предложил ей завтра навестить меня в Уэст-Эгге.

— Только приезжай без Тома,— предупредил я.

— Что?

— Приезжай без Тома.

— А кто такой Том? — невинно спросила она.

На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В одиннадцать часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газон. Тут только я спохватился, что ни о чем не предупредил свою финку; пришлось сесть в машину и ехать разыскивать ее среди нахохлившихся от дождя белых домиков поселка,— а заодно купить несколько чашек, лимоны и цветы.

Цветов, впрочем, можно было и не покупать: в два часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея вместе с комплектом сосудов для ее размещения. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи.

— Ну как, все в порядке? — с ходу спросил он.

— Если вы о траве, так трава просто загляденье.

— Какая трава? — растерянно спросил он.— Ах, газон! — Он посмотрел в окно, но, судя по выражению его лица, вряд ли что-нибудь увидел.— Да, газон хорош,— похвалил он рассеянно.— В какой-то газете писали, что к четырем часам дождь прекратится. Кажется, в «Джорнел». А у вас есть все для... Ну, для чая?

Я повел его на кухню, где он несколько укоризненно покосился на мою финку. Потом мы вдвоем придирчиво осмотрели десяток лимонных пирожных, купленных мною в кондитерской.

— Как, ничего, по-вашему? — осведомился я.

— Да, да! Очень хорошо...— сказал он и несколько принужденно добавил: — Старина...

К половине четвертого дождь превратился в туман, сырой и холодный, в котором, точно роса, плавали тяжелые, редкие капли. Гэтсби невидящим взглядом скользил по страницам «Экономики» Клэя, вздрагивал, когда тяжелая финская поступь сотрясала половицы в кухне, и время от времени напряженно всматривался в мутные от дождя окна, словно там, за ними, разыгрывались незримо какие-то тревожные события. Вдруг он встал и не совсем твердым голосом объявил мне, что уходит домой.

— Это почему же?

— Никто уже не приедет. Поздно! — Он взглянул на часы с видом человека, которого неотложные дела призывают в другое место.— Не могу же я дожидаться тут весь день.

— Не дурите. Еще только без двух минут четыре.

Он снова сел, глядя так жалобно, как будто я его толкнул в кресло, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили; сам слегка возбужденный, я вышел на крыльцо.

Между сиреневых кустов с поникшей, мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась. Из-под сдвинутой набок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дэзи, сияющее радостной улыбкой.

— Так вот твое гнездышко, птенчик мой!

Журчание ее голоса влилось в шум дождя, как бодрящий эликсир. Я сперва вобрал слухом только мелодию фразы, ее движение вверх и вниз — потом уже до меня дошли слова. Мокрая прядка волос лежала у нее на щеке, точно мазок синей краски, капли дождя блестели на руке, которой она оперлась на меня, выходя из машины.

— Уж не влюбился ли ты в меня! — шепнула она мне на ухо.— Почему я непременно должна была приехать одна?

— Это тайна замка Рэкрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь.

— Ферди, вернетесь за мной через час.— И мне вполголоса, как нечто очень важное: — Его зовут Ферди.

— А у него не делается насморк от бензина?

— Кажется, нет,— простодушно ответила она.— А что?

Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста.

— Что за черт! — воскликнул я.

— О чем это ты?

И тут же она оглянулась: кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами.

Не вынимая рук из карманов, он прошагал за мной в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее.

Шум усилившегося дождя остался за дверью. С минуту стояла полная тишина. Потом из гостиной донеслось какое-то сдавленное бормотание, обрывок смеха, и тотчас же неестественно высоко и звонко прозвучал голос Дэзи:

— Мне, право, очень приятно, что мы встретились снова!

Опять пауза, затянувшаяся до невозможности. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату.

Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Голова у него была так сильно откинута назад, что почти упиралась в циферблат давно отживших свой век часов на каминной полке, и с этой позиции он взглядом безумца смотрел на Дэзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.

— Мы старые знакомые,— пролепетал Гэтсби.

Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла. По счастью, часы на полке, которые он задел головой, сочли за благо в эту минуту угрожающе накрениться; Гэтсби обернулся, дрожащими руками поймал их и установил на место. После этого он сел в кресло и, облокотившись на ручку, подпер подбородок ладонью.

— Простите, что так получилось с часами,— сказал он.

Лицо у меня горело, словно от тропической жары. В голове вертелась тысяча банальностей, но я никак не мог ухватить хоть одну.

— Это очень старые часы,— идиотски заметил я.

Кажется, мы все трое искренне считали тогда, что часы лежат на полу, разбитые вдребезги.

— А давно мы с вами не виделись,— произнесла Дэзи безукоризненно светским тоном.

— В ноябре будет пять лет.

Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор по крайней мере еще на минуту. С отчаяния я предложил пойти всем вместе на кухню готовить чай, и они сразу же встали,— но тут вошла распроклятая финка с чаем на подносе.

Началась спасительная суета с передачей друг другу чашек и пирожных, и атмосфера несколько разрядилась, хотя бы по видимости. Мы с Дэзи мирно болтали о том о сем, а Гэтсби, забившись в угол потемнее, следил за нами обоими напряженным, тоскливым взглядом. Однако я не считал мир и спокойствие самоцелью, а потому при первом удобном случае встал и попросил позволения ненадолго отлучиться.

— Куда вы? — сразу же испугался Гэтсби.

— Я скоро вернусь.

— Погодите, мне нужно сказать вам два слова.

Он выскочил за мной на кухню, затворил дверь и горестно простонал: «Боже мой, боже мой!»

— Что с вами?

— Это была ужасная ошибка,— сказал он, мотая головой из стороны в сторону.— Ужасная, ужасная ошибка.

— Пустяки, вы просто немного смутились,— сказал я и, к счастью, догадался прибавить: — И Дэзи тоже смутилась.

— Она смутилась? — недоверчиво повторил он.

— Не меньше вашего.

— Тише, не говорите так громко.

— Вы себя ведете как мальчишка,— не выдержал я.— И притом невоспитанный мальчишка. Ушли и оставили ее одну.

Он предостерегающе поднял руку, посмотрел на меня с выражением укора, которое мне запомнилось надолго, и, осторожно отворив дверь, вернулся в гостиную.

Я. вышел с черного хода — как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома,— и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя.

Дождь к этому времени снова припустил вовсю, и мой кочковатый газон, так тщательно выбритый садовником Гэтсби,

превратился в сеть мелких болот и доисторических топей. Из-под дерева открывался один-единственный вид — огромный домина Гэтсби; вот я целых полчаса и глазел на него, как Кант на свою колокольню. Он был возведен для какого-то богатого пивовара лет десять назад, когда только еще начиналось увлечение «стильной» архитектурой, и рассказывали, будто пивовар предлагал соседям пять лет платить за них все налоги, если они покроют свои дома соломой.

Возможно, полученный отказ в корне подсек его замысел основать тут Родовое Гнездо — с горя он быстро зачах. Его дети продали дом, когда на дверях еще висел траурный венок. Американцы легко, даже охотно, соглашаются быть рабами, но упорно никогда не желали признать себя крестьянами.

Полчаса спустя солнце выглянуло из-за туч, и на подъездной аллее у дома Гэтсби показался автофургон с провизией для слуг — хозяин, я был уверен, и куска не проглотил бы. В верхнем этаже горничная стала открывать окна. Она поочередно показывалась в каждом из них, а дойдя до большого фонаря в центре, высунулась наружу и задумчиво сплюнула в сад. Пора было возвращаться. Пока вокруг шумел дождь, я как будто слышал в гостиной их голоса, то ровные, то вдруг повышающиеся в порыве волнения. Но сейчас, когда все стихло, мне казалось, что и там наступила тишина.

Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту,— но они, наверно, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дэзи лицо было мокрое от слез, и, когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло; он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.

— Ах, это вы, старина! — сказал он, как будто мы впервые увиделись после долголетней разлуки. Мне даже показалось, что он хочет поздороваться со мной за руку.

— Дождь перестал.

— Неужели? — Когда смысл моих слов дошел до него, когда он увидел, что по комнате прыгают солнечные зайчики, он радостно улыбнулся, как метеоролог, как ревностный поборник

вечной победы света над тьмой, и поспешил сообщить новость Дэзи: — Что вы на это скажете? Дождь перестал.

— Ну, как хорошо, Джей.— Боль и тоска захлебнулись в ее мелодичном голосе, и в нем прозвучало только радостное удивление.

— Пойдемте сейчас все ко мне,— предложил Гэтсби.— Мне хочется показать Дэзи мой дом.

— А может, вы лучше пойдете одни, без меня?

— Нет, нет, старина, непременно с вами.

Дэзи пошла наверх, умыть лицо — я с запоздалым раскаянием подумал о своих полотенцах,— а мы с Гэтсби ожидали ее, выйдя в сад.

— А хорош отсюда мой дом, правда? — сказал он мне.— Посмотрите, как весь фасад освещен солнцем.

Я согласился, что дом великолепен.

— Да...— Неотрывным взглядом он ощупывал каждый стрельчатый проем, каждую квадратную башенку.— Мне понадобилось целых три года, чтобы заработать деньги, которые ушли на этот дом.

— Я считал, что ваше состояние досталось вам по наследству.

— Да, конечно, старина,— рассеянно ответил он,— но я почти все потерял во время паники, связанной с войной.

Должно быть, он думал в это время о чем-то другом, потому что, когда я спросил его, чем, собственно, он занимается, он ответил: «Это мое дело»,— и только потом спохватился, что ответ был не очень вежливый.

— О, я много чем занимался за эти годы,— поспешил он поправиться.— Одно время — медикаментами, потом — нефтью. Сейчас, впрочем, не занимаюсь ни тем ни другим.— Он посмотрел на меня более внимательно.— А что, вы, может быть, передумали насчет моего позавчерашнего предложения?

Ответить я не успел — из дома вышла Дэзи, сверкая на солнце двумя рядами металлических пуговиц, украшавших ее платье.

— Как, неужели это ваш дом? — вскричала она, указывая пальцем на виллу.

— Вам он нравится?

— Очень нравится, но только как вы там живете совсем один?

— А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости.

Мы не пошли коротким путем вдоль пролива, а отправились в обход по шоссе и вошли через главные ворота. Дэзи восторженно ворковала, любуясь феодальным силуэтом, который с разных сторон по-разному вырисовывался на фоне неба, восхищалась искристым ароматом нарциссов, пенным благоуханием боярышника и сливы, бледно-золотым запахом жимолости. Было странно не видеть кутерьмы разноцветных платьев на мраморных ступенях и не слышать никаких других звуков, кроме гомона птиц на деревьях.

И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам Marie Antoinette и гостиным в стиле Реставрации, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ — не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. А выходя из готической библиотеки, я мог бы поклясться, что, как только за нами закрылась дверь, я услышал зловещий хохот очкастого Филина.

Мы поднялись и наверх, прошли по стильным спальням, убранным свежими цветами, пестревшими на фоне голубого и розового шелка, по гардеробным и туалетным со вделанными в пол ваннами — и в одной комнате натолкнулись на растрепанного мужчину в пижаме, который, лежа на ковре, делал гимнастические упражнения для печени. Это был мистер Клипспрингер. «Квартирант». Утром я видел, как он с голодным видом слонялся по пляжу. Закончился наш обход в личных апартаментах Гэтсби, состоявших из спальни, ванной и кабинета в стиле Роберта Адама*; здесь мы сели и выпили по рюмке шартреза, который Гэтсби достал из потайного шкафчика в стене.

Все это время он пристально следил за Дэзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. Один раз он споткнулся и чуть было не упал с лестницы.

Его спальня была скромнее и проще всех, если не считать туалетного прибора матового золота. Дэзи с наслаждением взяла в руки щетку и стала приглаживать волосы, а Гэтсби сел в кресло, прикрыл глаза рукой и тихо засмеялся.

— Странное дело, старина,— сказал он весело.— Никак не могу... Сколько ни стараюсь.

Он, как видно, прошел через две стадии и теперь вступил в третью. После замешательства, после нерассуждающей радости настала очередь сокрушительного изумления от того, что она здесь. Он так долго об этом мечтал, так подробно все пережил в мыслях, столько времени ждал, словно бы стиснув зубы в неимоверном, предельном напряжении. И теперь в нем отказала пружина, как в часах, у которых перекрутили завод.

Через минуту, овладев собой, он распахнул перед нами два огромных шкафа, в которых висели его бесчисленные костюмы, халаты, галстуки, а на полках высились штабеля уложенных дюжинами сорочек.

— У меня в Англии есть человек, который мне закупает одежду и белье. Весной и осенью я получаю оттуда все, что нужно к сезону.

Он вытащил стопку сорочек и стал метать их перед нами одну за другой; сорочки плотного шелка, льняного полотна, тончайшей фланели, развертываясь на лету, заваливали стол многоцветным хаосом. Видя наше восхищение, он схватил новую стопку, и пышный ворох на столе стал еще разрастаться — сорочки в клетку, в полоску, в крапинку, цвета лаванды, коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с монограммами, вышитыми темно-синим шелком. У Дэзи вдруг вырвался сдавленный стон, и, уронив голову на сорочки, она разрыдалась.

— Такие красивые сорочки,— плакала она, и мягкие складки ткани глушили ее голос.— Мне так грустно, ведь я никогда... никогда не видала таких красивых сорочек.

После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники, но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.

— В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты,— сказал Гэтсби.— У вас там на причале всю ночь светится зеленый огонек.

Дэзи порывисто взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дэзи была так невероятно далеко, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с ней, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше.

Я принялся расхаживать по комнате, останавливаясь перед разними предметами, привлекавшими мое внимание в полутьме. На глаза мне попалась увеличенная фотография пожилого мужчины в фуражке яхтсмена, висевшая над письменным столом.

— Кто это?

— Это? Мистер Дэн Коди, старина.

Имя мне показалось смутно знакомым.

— Его уже нет в живых. Когда-то это был мой лучший друг.

На столе стояла карточка самого Гэтсби, снятая, видно, когда ему было лет восемнадцать,— тоже в фуражке яхтсмена на задорно вскинутой голове.

— Какая прелесть! — воскликнула Дэзи.— Этот чуб! Вы мне никогда не рассказывали, что носили чуб. И про яхту тоже не рассказывали.

— А вот посмотрите сюда,— торопливо сказал Гэтсби.— Видите эту пачку газетных вырезок — тут все про вас.

Они стояли рядом, перелистывая вырезки. Я совсем было собрался попросить, чтобы он показал нам свою коллекцию рубинов, но тут зазвонил телефон, и Гэтсби взял трубку.

— Да... Нет, сейчас я занят... Занят, старина... Я же сказал: в небольших городках... Он, надеюсь, понимает, что такое небольшой городок? Ну, если Детройт, по его представлениям, — небольшой городок, то нам с ним вообще говорить не о чем.

Он дал отбой.

— Идите сюда, скорей! — закричала Дэзи, подойдя к окну.

Дождь еще шел, но на западе темная завеса разорвалась и над самым морем клубились пушистые, золотисто-розовые облака.

— Хорошо? — спросила она шепотом и, помолчав, так же шепотом сказала: — Поймать бы такое розовое облако, посадить вас туда и толкнуть — плывите себе.

Я хотел уйти, но они меня не пустили; может быть, от моего присутствия в комнате они еще острей чувствовали себя наедине друг с другом.

— Знаете, что мы сделаем,— сказал Гэтсби.— Мы сейчас заставим Клипспрингера поиграть нам на рояле.

Он вышел из комнаты, крича: «Юинг!» — и скоро вернулся в сопровождении немного облезлого смущенного молодого человека с реденькими светлыми волосами и в черепаховых очках. Сейчас он был вполне прилично одет в спортивного типа

рубашку с отложным воротничком, теннисные туфли и холщовые брюки неопределенного оттенка.

— Мы вам помешали заниматься гимнастикой? — учтиво осведомилась Дэзи.

— Я спал! — выкрикнул Клипспрингер в пароксизме смущения.— То есть это я раньше спал. А потом я встал...

— Клипспрингер играет на рояле,— сказал Гэтсби, прервав его речь.— Правда ведь, вы играете, Юинг, старина?

— Я, собственно говоря, очень плохо играю. Собственно говоря... Нет, я почти не играю. Я совсем разучи...

— Идемте вниз,— перебил Гэтсби. Он щелкнул выключателем. Вспыхнул яркий свет, и серые окна исчезли.

В музыкальном салоне Гэтсби включил одну только лампу у рояля. Он дал Дэзи закурить — спичка дрожала у него в пальцах; он сел рядом с ней на диван в противоположном углу, освещенном лишь отблесками люстры из холла в натертом до глянца паркете.

Клипспрингер сыграл «Приют любви», потом повернулся на табурете и жалобным взглядом стал искать в темноте Гэтсби.

— Вот видите, я совсем разучился. Говорил же я вам. Я совсем разу...

— А вы не разговаривайте, а играйте, старина,— скомандовал Гэтсби.— Играйте!

Днем и ночью,
Днем и ночью,
Жизнь забавами полна...

За окном разбушевался ветер, и где-то над проливом глухо урчал гром. Уэст-Эгг уже светился всеми огнями. Нью-йоркская электричка сквозь дождь и туман мчала жителей пригородов домой с работы. Наступал переломный час людского существования, и воздух был заряжен беспокойством.

Наживают богачи денег полные мешки.
Ну а бедный наживает только кучу детворы,—
Между прочим,
Между прочим...

Когда я подошел, чтобы проститься, я увидел у Гэтсби на лице прежнее выражение растерянности — как будто в нем зашевелилось сомнение в полноте обретенного счастья. Почти

пять лет! Были, вероятно, сегодня минуты, когда живая Дэзи в чем-то не дотянула до Дэзи его мечтаний,— и дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им образа. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете. Он творил его с подлинной страстью художника, все время что-то к нему прибавляя, украшая его каждым ярким перышком, попадавшимся под руку. Никакая ощутимая, реальная прелесть не может сравниться с тем, что способен накопить человек в глубинах своей фантазии.

Я видел, что он пытается овладеть собой. Он взял Дэзи за руку, а когда она что-то сказала ему на ухо, повернулся к ней порывистым, взволнованным движением. Мне кажется, ее голос особенно притягивал его своей переменчивой, лихорадочной теплотой. Тут уж воображение ничего не могло преувеличить — бессмертная песнь звучала в этом голосе.

Обо мне они забыли. Потом Дэзи, спохватившись, подняла голову и протянула мне руку, но для Гэтсби я уже не существовал. Я еще раз посмотрел на них, и они в ответ посмотрели на меня, но это был рассеянный, невидящий взгляд — они жили сейчас только своей жизнью. Я вышел из комнаты и под дождем спустился с мраморной лестницы, оставив их вдвоем.

Глава VI

В один из этих дней к Гэтсби заявился какой-то молодой, жаждущий славы репортер из Нью-Йорка и спросил, не желает ли он высказаться.

— О чем именно высказаться? — вежливо осведомился Гэтсби.

— Все равно о чем — просто несколько слов для печати.

После пятиминутной неразберихи выяснилось, что молодой человек услышал фамилию Гэтсби у себя в редакции, в беседе, которую он то ли не совсем понял, то ли не хотел разглашать. И в первый же свой свободный день он с похвальной предприимчивостью устремился «на разведку».

Это был выстрел наудачу, но репортерский инстинкт не подвел. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили и на этом основании считали себя осведомленными в его делах, и сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени,

вроде «подземного нефтепровода США — Канада»; ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом яхте, которая тайно курсирует вдоль лонг-айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты — трудно сказать.

Джеймс Гетц — таково было его настоящее или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было семнадцать лет, в знаменательный миг, которому суждено было стать началом его карьеры,— когда он увидел яхту Дэна Коди, бросившую якорь у одной из самых коварных отмелей Верхнего озера. Джеймсом Гетцем вышел он в этот день на берег в зеленой рваной фуфайке и парусиновых штанах, но уже Джеем Гэтсби бросился в лодку, догреб до «Туоломея» и предупредил Дэна Коди, что через полчаса поднимется ветер, который может сорвать яхту с якоря и разнести ее в щепки.

Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача,— в мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби из Уэст-Эгга, Лонг-Айленд, вырос из его раннего идеального представления о себе. Он был сыном божьим — если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это,— и должен был исполнить предначертания Отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями семнадцатилетнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца.

Больше года он околачивался на побережье Верхнего озера, промышлял ловлей кеты, добычей съедобных моллюсков, всем, чем можно было заработать на койку и еду. Его смуглое тело получило естественную закалку в полуизнурительном, полуизнеживающем труде тех дней. Он рано узнал женщин и, избалованный ими, научился их презирать — юных и девственных за неопытность, других за то, что они поднимали шум из-за многого, что для него, в его беспредельном эгоцентризме, было в порядке вещей.

Но в душе его постоянно царило смятение. Самые дерзкие и нелепые фантазии одолевали его, когда он ложился в постель. Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитывавшем голубой влагой смятую одежду на полу, развертывался перед ним ослепительно яркий мир. Каждую ночь его воображение ткало все новые и новые узоры, пока сон не брал его

в свои опустошающие объятия, посреди какой-нибудь особо увлекательной мечты. Некоторое время эти ночные грезы служили ему отдушиной; они исподволь внушали веру в ирреальность реального, убеждали в том, что мир прочно и надежно покоится на крылышках феи.

За несколько месяцев до того инстинктивная забота об уготованном ему блистательном будущем привела его в маленький лютеранский колледж Святого Олафа в Южной Миннесоте. Он пробыл там две недели, не переставая возмущаться всеобщим неистовым равнодушием к барабанным зорям его судьбы и негодовать на унизительную работу дворника, за которую пришлось взяться в виде платы за учение. Потом он вернулся на Верхнее озеро и все еще искал себе подходящего занятия, когда в мелководье близ берегов бросила якорь яхта Дэна Коди.

Коди было в то время пятьдесят лет; он прошел школу Юкона, серебряных приисков Невады и всех вообще металлических лихорадок, начиная с семьдесят пятого года. Операции с монтанской нефтью, принесшие ему несколько миллионов, не отразились на его физическом здоровье, однако привели его чуть не на грань слабоумия, и немало женщин, учуяв это, пытались разлучить его с его деньгами. Страницы газет 1902 года полны были пикантных рассказов о тех хитросплетениях, которые помогли журналистке Элле Кэй играть роль мадам де Ментенон* при слабеющем духом миллионере и в конце концов заставили его спастись бегством на морской яхте. И вот после пятилетних скитаний вдоль многих гостеприимных берегов он появился в заливе Литтл-Герл на Верхнем озере и стал судьбой Джеймса Гетца.

Когда юный Гетц, привстав на веслах, глядел снизу вверх на белый корпус яхты, ему казалось, что в ней воплощено все прекрасное и все удивительное, что только есть в мире. Вероятно, он улыбался, разговаривая с Коди,— он уже знал по опыту, что людям нравится его улыбка. Как бы то ни было, Коди задал ему несколько вопросов (ответом на один из них явилось новоизобретенное имя) и обнаружил, что мальчик смышлен и до крайности честолюбив. Спустя несколько дней он свез его в Дулут, где купил ему синюю куртку, шесть пар белых полотняных брюк и фуражку яхтсмена. А когда «Туоломей» вышел в плавание к Вест-Индии и берберийским берегам, на борту находился Джей Гэтсби.

Обязанности его были неопределенны и со временем менялись — стюард, старший помощник, капитан, секретарь и даже тюремщик, потому что трезвому Дэну Коди было хорошо известно, что способен натворить пьяный Дэн Коди, и, стараясь обезопасить себя от всевозможных случайностей, он все больше и больше полагался на Джея Гэтсби. Так продолжалось пять лет, в течение которых судно три раза обошло вокруг континента, и так могло бы продолжаться бесконечно, но однажды в Бостоне на яхту взошла Элла Кэй, и неделю спустя Дэн Коди, нарушая долг гостеприимства, отдал Богу душу.

Я помню его портрет, висевший у Гэтсби в спальне: седой человек с обветренным лицом, с пустым и суровым взглядом — один из тех необузданных пионеров, которые в конце прошлого века вновь принесли на восточное побережье Америки буйную удаль салунов и публичных домов западной границы. Это ему Гэтсби косвенно обязан нелюбовью к спиртным напиткам. Случалось, на какой-нибудь развеселой вечеринке женщины смачивали ему волосы шампанским; но пил он редко и мало.

Коди оставил ему наследство — двадцать пять тысяч долларов. Из этих денег он не получил ни цента. Ему так и осталось непонятным существо юридических уловок, пущенных в ход против него, но все, что уцелело от миллионов Коди, пошло Элле Кэй. А он остался при том, что дал ему своеобразный опыт этих пяти лет; отвлеченная схема Джея Гэтсби облеклась в плоть и кровь и стала человеком.

Все это я узнал много позже, но нарочно записываю здесь — в противовес всем нелепым слухам о его прошлом, которые я приводил раньше и в которых не было и тени правды. К тому же он мне рассказывал это в дни больших потрясений, когда я дошел до того, что мог бы поверить о нем всему — или ничему. Вот я и решил воспользоваться этой короткой паузой в своем повествовании,— пока Гэтсби, так сказать, переводит дух,— чтобы рассеять все заблуждения, которые тут могли возникнуть.

В моем непосредственном общении с ним тоже наступила в то время пауза. Недели две я его не видел, не слышал даже его голоса по телефону,— я почти все вечера пропадал в Нью-Йорке, шатался с Джордан по городу и усиленно старался втереться в милость к ее престарелой тетке. Но как-то в воскресенье, уже под вечер, мне вздумалось пойти его проведать. Не прошло и пяти минут после моего прихода, как явилось еще

трое гостей; одним из них был Том Бьюкенен. Я так и подскочил от удивления, хотя удивительным было разве то, что это не произошло до сих пор.

Они катались верхом и заехали потому, что захотелось выпить,— Том, некто по фамилии Слоун и красивая дама в коричневой амазонке, которая уже бывала здесь прежде.

— Очень рад вас видеть,— говорил Гэтсби, выйдя им навстречу.— Очень, очень рад, что вы заехали.

Как будто их это интересовало!

— Садитесь, пожалуйста. Сигарету? Или, может быть, сигару? — Он озабоченно расхаживал по комнате, нажимая кнопки звонков.— Сейчас принесут чего-нибудь выпить.

Его сильно взволновало, что Том здесь, у него в доме. Впрочем, он все равно не успокоился бы, если бы не угостил их,— должно быть, смутно чувствовал, что только за тем они и явились. Мистер Слоун от всего отказывался. Может быть, лимонаду? Нет, спасибо. Ну, бокал шампанского? Нет, ровно ничего, спасибо... Извините...

— Хорошо покатались?

— Дороги здесь отличные.

— Но мне кажется, автомобили...

— М-да, пожалуй...

Не в силах утерпеть, Гэтсби повернулся к Тому, который ни слова не сказал, когда их знакомили словно бы впервые.

— Мы как будто уже где-то встречались, мистер Бьюкенен?

— Да, да, конечно,— сказал Том с грубоватой вежливостью, хотя явно не вспомнил.— Ну как же. Я отлично помню.

— Недели две тому назад.

— Совершенно верно. Вы тогда были вот с ним — с Ником.

— Я знаком с вашей женой,— продолжал Гэтсби, уже почти агрессивно.

— Неужели?

Том повернулся ко мне.

— Ты, кажется, живешь где-то близко, Ник?

— Рядом.

— Неужели?

Мистер Слоун сидел, надменно развалясь в кресле, и в разговоре участия не принимал; дама тоже помалкивала, но после второй порции виски с содовой вдруг мило заулыбалась.

— Мы все приедем на ваш следующий журфикс, мистер Гэтсби,— объявила она.— Не возражаете?

— Ну что вы. Буду чрезвычайно рад.

— Вы очень любезны,— скучным голосом сказал мистер Слоун.— Мы... Нам, пожалуй, пора.

— Отчего же так скоро? — запротестовал Гэтсби. Он уже овладел собой, и ему хотелось подольше побыть в обществе Тома.— Может быть... может быть, вы останетесь к ужину? Наверно, приедет кто-нибудь из Нью-Йорка.

— А давайте лучше поедем ужинать на мою виллу,— оживилась дама.— Все — и вы тоже.

Последнее относилось ко мне. Мистер Слоун поднялся с кресла.

— Едем,— сказал он, обращаясь только к ней одной.

— Нет, серьезно,— не унималась она.— Это будет очень мило. Места всем хватит.

Гэтсби вопросительно посмотрел на меня. Ему хотелось поехать, и он не замечал, что мистер Слоун уже решил этот вопрос, и решил не в его пользу.

— Я, к сожалению, вынужден отказаться,— сказал я.

— Но вы поедете, мистер Гэтсби, да? — настаивала дама.

Мистер Слоун сказал что-то, наклонясь к ее уху.

— Ничего не поздно, если мы сейчас же выедем,— возразила она вслух.

— У меня нет лошади,— сказал Гэтсби.— В армии мне приходилось ездить верхом, а вот своей лошади я так и не завел. Но я могу поехать на машине следом за вами. Я через минуту буду готов.

Мы четверо вышли на крыльцо, и Слоун с дамой сердито заспорили, отойдя в сторону.

— Господи, он, кажется, всерьез собрался к ней ехать,— сказал мне Том.— Не понимает, что ли, что он ей вовсе ни к чему.

— Но она его приглашала.

— У нее будут гости, все чужие для него люди.— Он нахмурил брови.— Интересно, где этот тип мог познакомиться с Дэзи? Черт побери, может, у меня старомодные взгляды, но мне не нравится, что женщины теперь ездят куда попало, якшаются со всякими сомнительными личностями.

Я вдруг увидел, что мистер Слоун и дама сходят вниз и садятся на лошадей.

— Едем,— сказал мистер Слоун Тому.— Мы и так уже слишком задержались.— И добавил, обращаясь ко мне: — Вы ему, пожалуйста, скажите, что мы не могли ждать.

Том тряхнул мою руку, его спутники ограничились довольно прохладным поклоном и сразу пустили лошадей рысью. Августовская листва только что скрыла их из виду, когда на крыльцо вышел Гэтсби в шляпе и с макинтошем на руке.

Как видно, Тома все же беспокоило, что Дэзи ездит куда попало одна,— в следующую субботу он появился у Гэтсби вместе с нею. Быть может, его присутствие внесло в атмосферу вечера что-то гнетущее; мне, во всяком случае, этот вечер запомнился именно таким, непохожим на все другие вечера у Гэтсби. И люди были те же — или, по крайней мере, такие же,— и шампанского столько же, и та же разноцветная, разноголосая суетня вокруг, но что-то во всем этом чувствовалось неприятное, враждебное, чего я никогда не замечал раньше. А может быть, просто я успел привыкнуть к Уэст-Эггу, научился принимать его как некий самостоятельный мир со своим мерилом вещей, со своими героями, мир совершенно полноценный, поскольку он себя неполноценным не сознавал,— а теперь я вдруг взглянул на него заново, глазами Дэзи. Всегда очень тягостно новыми глазами увидеть то, с чем успел так или иначе сжиться.

Том и Дэзи приехали, когда уже смеркалось; мы все вместе бродили в пестрой толпе гостей, и Дэзи время от времени издавала горлом какие-то переливчатые, воркующие звуки.

— Я просто сама не своя, до чего мне все это нравится,— нашептывала она.— Ник, если тебе среди вечера захочется меня поцеловать, ты только намекни, и я это с превеликим удовольствием устрою. Просто назови меня по имени. Или предъяви зеленую карточку. Я даю зеленые карточки тем, кому...

— Смотрите по сторонам,— посоветовал Гэтсби.

— Я смотрю. Я просто в восторге от...

— Вероятно, вы многих узнаете — это люди, пользующиеся известностью.

Нагловатый взгляд Тома блуждал по толпе.

— А я как раз подумал, что не вижу здесь ни одного знакомого лица,— сказал он.— Мы, знаете ли, мало где бываем.

— Не может быть, чтобы вам была незнакома эта дама.

Та, на кого указывал Гэтсби, красавица, больше похожая на орхидею, чем на женщину, восседала величественно под старой сливой. Том и Дэзи остановились, поддавшись странному

чувству неправдоподобности, которое всегда испытываешь, когда в живом человеке узнаешь бесплотную кинозвезду.

— Как она хороша! — сказала Дэзи.

— Мужчина, который к ней наклонился,— ее режиссер.

Он водил их от одной группы к другой, церемонно представляя:

— Миссис Бьюкенен... и мистер Бьюкенен...— После минутного колебания он добавил: — Чемпион поло.

— С чего вы взяли? — запротестовал Том.— Никогда не был.

Но Гэтсби, видно, понравилось, как это звучит, и Том так и остался на весь вечер «чемпионом поло».

— Ни разу в жизни не видела столько знаменитостей сразу,— воскликнула Дэзи.— Мне очень понравился этот — как его? — у которого еще такой сизый нос.

Гэтсби назвал фамилию, добавив, что это директор небольшого киноконцерна.

— Все равно, он мне понравился.

— Я бы предпочел не быть чемпионом поло,— скромно сказал Том.— Я бы лучше любовался этими знаменитостями, так сказать, оставаясь в тени.

Дэзи пошла танцевать с Гэтсби. Помню, меня удивило изящество его плавного, чуть старомодного фокстрота — он никогда раньше при мне не танцевал. Потом они потихоньку перебрались на мой участок и с полчаса сидели вдвоем на ступеньках крыльца, а я в это время, по просьбе Дэзи, сторожил в саду. «А то вдруг пожар или потоп,— сказала она в пояснение.— Или еще какая-нибудь Божья кара».

Том вынырнул из тени, когда мы втроем садились ужинать.

— Не возражаете, если я поужинаю вон за тем столом? — сказал он.— Там один тип рассказывает очень смешные анекдоты.

— Пожалуйста, милый,— весело ответила Дэзи.— И вот тебе мой золотой карандашик, вдруг понадобится записать чей-нибудь адрес.

Минуту спустя она посмотрела туда, где он сел, и сказала мне:

— Ну что ж — вульгарная, но хорошенькая.

И я понял, что, если не считать того получаса у меня на крыльце, не таким уж радостным был для нее этот вечер.

Мы сидели за столом, где подобралась особенно пьяная компания. Это вышло по моей вине — Гэтсби как раз позвали к телефону, и я подсел к людям, с которыми мне было очень весело на позапрошлой неделе. Но то, что тогда казалось забавным, сейчас словно отравляло воздух.

— Ну, как вы себя чувствуете, мисс Бедекер?

Поименованная девица безуспешно пыталась вздремнуть у меня на плече. Услышав вопрос, она выпрямилась и раскрыла глаза.

— Чего-о?

За нее вступилась рыхлая толстуха, только что настойчиво зазывавшая Дэзи на партию гольфа в местный клуб:

— Ей уже лучше. Она всегда как выпьет пять-шесть коктейлей, так сейчас же начинает громко выть. Сколько раз я ей втолковывала, что ей на спиртное и смотреть нельзя.

— А я и не смотрю,— вяло оправдывалась обвиняемая.

— Мы услышали вой, и я сразу сказала доку Сивету: «Ну, док, тут требуется ваша помощь».

— Она вам, наверно, признательна за заботу,— вмешалась третья дама не слишком ласково,— но только вы ей все платье измочили, когда окунали ее головой в воду.

— Терпеть не могу, когда меня окунают головой в воду,— пробурчала мисс Бедекер.— В Нью-Джерси меня раз чуть не утопили.

— Тем более, значит, не надо вам пить,— подал реплику доктор Сивет.

— А вы за собой смотрите! — завопила мисс Бедекер с внезапной яростью.— У вас вон руки трясутся. Ни за что бы не согласилась лечь к вам на операцию!

И дальше все в том же роде. Помню, уже под конец вечера мы с Дэзи стояли и смотрели издали на кинорежиссера и его звезду. Они всё сидели под старой сливой, и лица их были уже почти рядом, разделенные только узеньким просветом, в котором голубела луна. Мне пришло в голову, что он целый вечер клонился и клонился к ней, понемногу сокращая этот просвет,— и только я это подумал, как просвета не стало и его губы прижались к ее щеке.

— Она мне нравится,— сказала Дэзи.— Она очень хороша.

Но все остальное ее шокировало — и тут нельзя было спорить, потому что это была не поза, а искреннее чувство. Ее пугал Уэст-Эгг, это ни на что не похожее детище оплодотворенной Бродвеем лонг-айлендской рыбачьей деревушки,— пугала

его первобытная сила, бурлившая под покровом обветшалых эвфемизмов, и тот чересчур навязчивый рок, что гнал его обитателей кратчайшим путем из небытия в небытие. Ей чудилось что-то грозное в самой его простоте, которую она не в силах была понять.

Я сидел вместе с ними на мраморных ступенях, дожидаясь, когда подойдет их машина. Здесь, перед домом, было темно; только из двери падал прямоугольник яркого света, прорезая мягкую предутреннюю черноту. Порой на спущенной шторе гардеробной мелькала чья-то тень, за ней другая — целая процессия теней, пудрившихся и красивших губы перед невидимым зеркалом.

— А вообще, кто он такой, этот Гэтсби? — неожиданно спросил Том.— Наверное, крупный бутлегер?

— Это кто тебе сказал? — нахмурился я.

— Никто не сказал. Я сам так решил. Ты же знаешь, почти все эти новоявленные богачи — крупные бутлегеры.

— Гэтсби не из них,— коротко ответил я.

Он с минуту молчал. Слышно было, как у него под ногой хрустит гравий.

— Должно быть, ему немало пришлось потрудиться, чтобы собрать у себя такой зверинец.

Подул ветерок, серым облачком распушил меховой воротник Дэзи.

— Во всяком случае, эти люди интереснее тех, которые бывают у нас,— с некоторым усилием возразила она.

— Что-то я не заметил, чтобы тебе было так уж интересно с ними.

— Плохо смотрел.

Том засмеялся и повернулся ко мне.

— Ты видел, какое лицо сделалось у Дэзи, когда та рыжая девица попросила отвести ее под холодный душ?

Дэзи стала подпевать музыке хрипловатым ритмичным полушепотом, вкладывая в каждое слово смысл, которого в нем не было раньше и не оставалось потом. Когда мелодия шла вверх, голос, следуя за ней, мягко сбивался на речитатив, как это часто бывает с грудным контральто, и при каждом таком переходе кругом словно разливалось немножко волшебного живого тепла.

— Очень многие являются без приглашения,— сказала вдруг Дэзи.— Вот и эта девица так явилась. Врываются чуть ли не силой, а он из деликатности молчит.

— Все-таки любопытно, кто он и чем занимается,— не унимался Том.— Я за это возьмусь и выясню.

— А я тебе и так могу сказать,— ответила Дэзи.— У него свои аптеки, целая сеть аптек в разных городах. Он сам их создал.

Из-за поворота аллеи показался наконец запоздавший автомобиль.

— Спокойной ночи, Ник,— сказала Дэзи, вставая.

Ее взгляд скользнул мимо меня выше, к свету, к распахнутой двери, из которой неслись звуки простенького, грустного вальса «В три часа утра» — модной новинки года. Как бы там ни было, а в самой пестроте этого случайного сборища таились романтические возможности, которых начисто был лишен ее упорядоченный мир. Чем так притягивала ее эта песенка, почему так не хотелось от нее уезжать? Что еще могло случиться здесь в мглистый, тревожный час наступающего утра? Вдруг появится новый нежданный гость или гостья, какое-нибудь залетное чудо, привлекающее все взоры, девушка в полном блеске нетронутой юности,— и один свежий взгляд, брошенный Гэтсби, одно завораживающее мгновение сведет на нет пять лет непоколебимой верности.

Я на этот раз задержался очень поздно. Гэтсби просил меня подождать, когда он освободится, и я в одиночестве слонялся по саду, пока не прибежали с пляжа иззябшие, шумные любители ночного купания, пока не погас свет во всех комнатах для гостей наверху. Когда наконец Гэтсби спустился ко мне в сад, его лицо под темным загаром казалось осунувшимся, усталые глаза беспокойно блестели.

— Ей не понравилось,— сразу же сказал он.

— Что вы, напротив.

— Нет, не понравилось. Ей было скучно.

Он замолчал, но и без слов было ясно, как он подавлен.

— Она как будто далеко-далеко от меня,— сказал он.— Я не могу заставить ее понять.

— Вы о бале?

— О бале? — Одним щелчком пальцев он смахнул со счетов все когда-либо данные им балы.— При чем тут бал, старина?

Ему хотелось, чтобы Дэзи ни больше ни меньше, как пришла к Тому и сказала: «Я тебя не люблю и никогда не любила». А уж после того, как она перечеркнет этой фразой четыре последних года, можно будет перейти к более практическим делам. Так, например, как только она формально получит свобо-

ду, они уедут в Луисвилл и отпразднуют свадьбу в ее родном доме, словно бы пять лет назад.

— А она не понимает,— сказал он.— Раньше она все умела понять. Мы, бывало, часами сидим и...

Он не договорил и принялся шагать взад и вперед по пустынной дорожке, усеянной апельсинными корками, смятыми бумажками и увядшими цветами.

— Вы слишком многого от нее хотите,— рискнул я заметить.— Нельзя вернуть прошлое.

— Нельзя вернуть прошлое? — недоверчиво воскликнул он.— Почему нельзя? Можно!

Он тревожно оглянулся по сторонам, как будто прошлое пряталось где-то здесь, в тени его дома, и чтобы его вернуть, достаточно было протянуть руку.

— Я устрою так, что все будет в точности, как было,— сказал он и решительно мотнул головой.— Она сама увидит.

Он пустился в воспоминания, и я почувствовал, как он напряженно ищет в них что-то, может быть, какой-то образ себя самого, целиком растворившийся в любви к Дэзи. Вся его жизнь пошла потом вкривь и вкось, но если бы вернуться к самому началу и медленно, шаг за шагом, снова пройти весь путь, может быть, удалось бы найти утраченное...

...Однажды вечером, пять лет тому назад,— была осень, падали листья,— они бродили по городу вдвоем и вышли на улицу, где деревьев не было и тротуар белел в лунном свете. Они остановились, повернувшись лицом друг к другу. Вечер был прохладный, полный того таинственного беспокойства, которое всегда чувствуется на переломе года. Освещенные окна как будто с тихим гулом выступали из сумрака, на небе среди звезд шла какая-то суета. Краешком глаза Гэтсби увидел, что плиты тротуара вовсе не плиты, а перекладины лестницы, ведущей в тайник над верхушками деревьев,— он может взобраться туда по этой лестнице, если будет взбираться один, и там, приникнув к сосцам самой жизни, глотнуть ее чудотворного молока.

Белое лицо Дэзи придвигалось все ближе, а сердце у него билось все сильней. Он знал: стоит ему поцеловать эту девушку, слить с ее тленным дыханием свои не умещающиеся в словах мечты,— и прощай навсегда божественная свобода полета мысли. И он медлил, еще прислушиваясь к звучанию камертона, задевшего звезду. Потом он поцеловал ее. От прикосновения его губ она расцвела для него как цветок, и воплощение совершилось.

В его рассказе, даже в чудовищной сентиментальности всего этого, мелькало что-то неуловимо знакомое — обрывок ускользающего ритма, отдельные слова, которые я будто уже когда-то слышал. Раз у меня совсем было сложилась сама собой целая фраза, даже губы зашевелились, как у немого в попытке произнести какие-то внятные звуки. Но звуков не получилось, и то, что я уже почти припомнил, осталось забытым навсегда.

Глава VII

В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни,— и на том кончилась его карьера Тримальхиона*, так же загадочно, как и началась. Я заметил, хоть и не сразу, что машины, бодро сворачивающие в подъездную аллею, минуту спустя разочарованно выезжают обратно. Уж не заболел ли он, подумал я, и пошел узнать. Незнакомый лакей с разбойничьей физиономией подозрительно уставился на меня с порога.

— Что, мистер Гэтсби болен?

— Нет.— Подумав, он неохотно добавил: — Сэр.

— Его нигде не видно, и я забеспокоился. Передайте, что заходил мистер Каррауэй.

— Кто? — грубо переспросил он.

— Каррауэй.

— Каррауэй. Ладно, передам.

И дверь захлопнулась у меня перед носом.

От моей финки я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых, которые в поселок не ходят и взяток у торговцев не берут, а заказывают провизию по телефону, причем в умеренных количествах. По свидетельству рассыльного из бакалейной лавки, кухня в доме стала похожа на свинарник и в поселке успело сложиться твердое мнение, что новые слуги вообще не слуги.

На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.

— Уезжать собираетесь? — спросил я.

— Нет, а почему?

— Говорят, вы отпустили всю прислугу.

— Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дэзи теперь часто приезжает — по вечерам.

Итак, весь караван-сарай развалился, как карточный домик, от ее неодобрительного взгляда.

— Эти люди — знакомые Вулфшима, он просил их куда-нибудь пристроить, вот я их и взял. Они все из одной семьи, братья и сестры. Когда-то содержали небольшой отель.

— Понятно.

Выяснилось, что звонит он по поручению Дэзи — она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дэзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал: это неспроста. И все же мне не верилось: неужели они собираются устроить сцену, и притом довольно тяжелую сцену, если всё будет так, как Гэтсби рисовал мне той ночью в саду.

День выдался — настоящее пекло, один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Когда мой поезд вынырнул из туннеля на солнечный свет, лишь горячие гудки «Нэшнл бискуит компани» прорезывали раскаленную тишину полдня. Соломенные вагонные сиденья только что не дымились; моя соседка долго и терпеливо потела в своей белой блузке, но наконец, опустив влажную от рук газету, со стоном отчаяния откинулась назад, в духоту. При этом ее сумочка шлепнулась на пол.

— Ах ты, господи! — вскрикнула она.

Я с трудом наклонился, подобрал сумочку и протянул ее владелице, держа за самый краешек и как можно дальше от себя, в знак того, что не намерен на нее покушаться; но все кругом, в том числе и владелица сумочки, все равно заподозрили во мне вора.

— Жарко! — повторял контролер при виде каждого знакомого лица.— Ну и денек!.. Жарко!.. Жарко!.. Жарко!.. Вам не жарко? А вам жарко? А вам...

На моем сезонном билете осталось от его пальца темное пятно. В такой зной станешь ли разбирать, чьи пылающие губы целуешь, под чьей головкой мокнет карман пижамы на левой стороне груди, над сердцем?

...Когда мы с Гэтсби дожидались у двери бьюкененовского дома, легкий ветер донес из холла трель телефонного звонка.

— Подать труп хозяина? — зарычал в трубку лакей.— Сожалею, сударыня, но это никак невозможно. В такую жару к нему не прикоснешься.

На самом деле он говорил вот что:

— Да... Да... Сейчас узнаю.

Он положил трубку и поспешил к нам навстречу, чтобы взять наши канотье. Лицо его слегка лоснилось.

— Миссис Бьюкенен ожидает вас в гостиной,— сказал он, указывая дорогу, что, кстати, вовсе не требовалось. В такую жару каждое лишнее движение было посягательством на общий запас жизненных сил.

В гостиной благодаря полотняным тентам над окнами было полутемно и прохладно. Дэзи и Джордан лежали на исполинской тахте, точно два серебряных идола, придерживая свои белые платья, чтобы их не вздувало ветерком от жужжащих вентиляторов.

— Невозможно шевельнуться! — воскликнули они в один голос.

Пальцы Джордан в белой пудре поверх загара на секунду задержались в моей руке.

— А где же мистер Томас Бьюкенен, прославленный спортсмен? — спросил я.

И тотчас же у телефона в холле хрипловато и глухо зазвучал голос Тома.

Стоя на темно-алом ковре посреди гостиной, Гэтсби как завороженный озирался по сторонам. Дэзи посмотрела на него и засмеялась своим мелодичным, волнующим смехом; крохотное облачко пудры взлетело с ее груди.

— Есть слух, что Том сейчас разговаривает со своей дамой,— шепнула мне Джордан.

Мы все примолкли. Голос в холле стал громче, в нем послышалось раздражение:

— Ах вот что, ну тогда я вообще не стану продавать вам эту машину... У меня вообще нет никаких обязательств перед вами... Это вообще безобразие — звонить и надоедать в час, когда люди сидят за столом...

— А трубку прикрыл рукой,— сказала Дэзи с презрительной усмешкой.

— Напрасно ты думаешь,— возразил я.— Он действительно собирается продать машину. Я случайно знаю об этой сделке.

Дверь распахнулась, Том на миг загородил весь проем своей массивной фигурой, затем стремительно шагнул в комнату.

— Мистер Гэтсби! — С хорошо скрытой неприязнью он протянул широкую, плоскую руку.— Рад вас видеть, сэр... Ник...

— Приготовь нам выпить чего-нибудь холодненького,— громко попросила Дэзи.

Как только он вышел из комнаты, она встала, подошла к Гэтсби и, притянув его к себе, поцеловала в губы.

— Я люблю тебя, ты же знаешь,— прошептала она.

— Ты, кажется, забыла, что здесь еще кто-то есть,— сказала Джордан.

Дэзи недоверчиво оглянулась.

— А ты целуй Ника.

— Фу, бесстыдница!

— Ну и пусть! — выкрикнула Дэзи и, вскочив на кирпичную приступку перед камином, застучала по ней каблуками. Но сразу вспомнила про жару и с виноватым видом вернулась на свое место на тахте. Не успела она сесть, как в гостиную вошла накрахмаленная нянька, ведя за руку маленькую девочку.

— У, ты, моя радость,— заворковала Дэзи, широко раскрывая объятия.— Иди скорей к мамочке, мамочка так тебя любит.

Девочка, почувствовав, что нянька отпустила ее руку, перебежала через всю комнату и застенчиво укрылась в складках материнского платья.

— У, ты, мое сокровище! Мама не запачкала пудрой твои желтенькие волосики? Ну-ка, стань ровненько и поздоровайся с гостями.

Мы с Гэтсби по очереди нагнулись и пожали неохотно протянутую ручку. И все время, пока девочка была в комнате, Гэтсби не сводил с нее изумленного взгляда. Кажется, он только сейчас поверил в ее существование.

— Я еще не завтракала, а уже в платьице,— сказала малышка, сразу же повернувшись к Дэзи.

— Это потому, что мама хотела показать тебя во всей красе.— Она прижалась лицом к единственной складочке, перерезавшей круглую шейку.— Ты же мое чудо! Самое настоящее маленькое чудо!

— Да,— невозмутимо согласилась малышка.— А у тети Джордан тоже белое платьице.

— Тебе нравятся мамины друзья? — Дэзи повернула девочку лицом к Гэтсби.— Посмотри, они красивые?

— А папа где?

— Она совершенно не похожа на отца,— сказала нам Дэзи.— Она вся в меня. Мои волосы, мой овал лица.

Она откинулась на валик тахты. Нянька подошла и протянула руку.

— Пойдем, Пэмми.

— До свиданья, моя радость.

С сожалением оглянувшись назад, хорошо вымуштрованное дитя взялось за протянутую руку и было уведено в ту самую минуту, когда в гостиной опять появился Том, а за ним — четыре высоких бокала, в которых позвякивал лед.

Гэтсби взял бокал.

— Выглядит освежающе,— с натугой выговорил он.

Мы стали пить долгими жадными глотками.

— Я где-то читал, что солнце с каждым годом становится горячее,— сообщил Том весело.— И вроде бы Земля скоро упадет на Солнце — или нет, погодите, как раз наоборот! — Солнце с каждым годом остывает... Давайте выйдем,— минуту спустя предложил он Гэтсби.— Я хочу показать вам сад и все угодья.

Я вышел на веранду вместе с ними. Зеленая вода пролива от жары казалась стоячей; одинокий маленький парус полз по ней к прохладе открытого моря. Гэтсби с минуту следил за ним глазами, потом махнул рукой, указывая на другую сторону бухты:

— Мой дом там, как раз напротив.

— Да, верно.

Мы смотрели вдаль, поверх розовых кустов, разогретого газона и выжженной зноем травы на берегу. Белое крыло парусника медленно двигалось к небу, отчеркнутому синей прохладной чертой. Где-то там, в иззубренном берегами океане, было множество благодатных островов.

— Вот это спорт,— тряхнув головой, сказал Том.— Я бы не отказался сегодня поплавать на этой штуке час-другой.

Завтракали в столовой, тоже затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственное веселье.

— А куда нам девать себя вечером? — воскликнула Дэзи.— И завтра, и послезавтра, и в ближайшие тридцать лет?

— Пожалуйста, не впадай в меланхолию,— сказала Джордан.— С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.

— Да, но сейчас так жарко,— настаивала Дэзи чуть не со слезами.— И все как в тумане. Знаете что, давайте пойдем в город!

Ее голос боролся с жарой, сопротивляясь ей, пытаясь обуздать ее нелепость.

— Случается, что в конюшие устраивают гараж,— говорил Том, обращаясь к Гэтсби.— Но я первый устроил в гараже конюшню.

— Кто хочет ехать в город? — не унималась Дэзи.

Гэтсби потянулся к ней взглядом.

— Ах! — воскликнула она.— Вам словно бы совсем прохладно.

Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной. Потом Дэзи заставила себя отвести глаза.

— Вам всегда прохладно,— сказала она.

Она говорила ему о своей любви, и Том вдруг понял. Он замер, ошеломленный. Рот его приоткрылся, он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дэзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.

— Вы похожи на джентльмена с рекламной картинки,— продолжала Дэзи невинным тоном.— Знаете, бывают такие рекламные картинки...

— Ладно,— грубо перебил ее Том.— В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все — мы едем в город.

Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Никто не пошевелился.

— Ну что же вы? — Он еле сдерживался.— В чем дело? Ехать так ехать.

Рукой, дрожавшей от усилий, которые он над собой делал, он опрокинул в рот остатки пива из стакана. Голос Дэзи поднял нас всех из-за стола и вывел на пышущую жаром аллею.

— А почему так сразу? — запротестовала она.— Что за спешка? Почему нельзя спокойно выкурить сигарету?

— Все курили за завтраком.

— Не порть людям удовольствие,— упрашивала она.— В такую жару немыслимо торопиться.

Он не ответил.

— Ну, как хочешь,— сказала она.— Идем, Джордан.

Дамы пошли наверх, привести себя в порядок, а мы все трое стояли, переминаясь с ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби кашлянул, собираясь что-то сказать, потом передумал, но Том уже успел повернуться и выжидательно смотрел ему в лицо.

— Ваша конюшня близко? — с деланой непринужденностью спросил Гэтсби.

— С четверть мили отсюда по шоссе.

— А-а!

Пауза.

— Дурацкая, в общем, затея, ехать в город! — взорвался Том.— Только женщине может прийти в голову такое...

— Прихватим с собой чего-нибудь выпить? — крикнула Дэзи сверху, из окна.

— Я возьму виски,— ответил Том и пошел в комнаты.

Гэтсби сумрачно повернулся ко мне:

— Не могу я разговаривать в этом доме, старина.

— У Дэзи нескромный голос,— заметил я.— В нем звенит...— Я запнулся.

— В нем звенят деньги,— неожиданно сказал он.

Ну конечно же. Как я не понял раньше? Деньги звенели в этом голосе — вот что так пленяло в его бесконечных переливах, звон металла, победная песнь кимвал... Во дворце высоком, беломраморном, королевна, дева золотая...

Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дэзи и Джордан в маленьких парчовых шапочках, с легкими накидками на руке.

— Мы можем ехать все в моей машине,— предложил Гэтсби. Он пощупал горячую кожу сиденья.— Надо было мне отвести ее в тень.

— У вас переключение скоростей обычное? — спросил Том.

— Да.

— Тогда знаете что, берите вы мой «фордик», а я поведу вашу машину.

Гэтсби это предложение не понравилось.

— Боюсь, бензина у меня маловато.

— Хватит, чего там! — развязно воскликнул Том. Он взглянул на бензомер.— А не хватит, можно по дороге заехать в аптеку. Теперь в аптеках чего только не достанешь.

За этим словно бы безобидным замечанием последовала пауза. Дэзи посмотрела на Тома, сдвинув брови, а у Гэтсби прошла по лицу неуловимая тень, на миг придав ему непривычное и в то же время чем-то странно знакомое выражение — знакомое словно бы понаслышке.

— Садись, Дэзи,— сказал Том, подталкивая жену к машине Гэтсби.— Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.

Он отворил дверцу, но Дэзи вывернулась из-под его руки.

— Ты бери Ника и Джордан. А мы поедем следом на «фордике».

Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби, Том тронул один рычаг, другой — и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив их далеко позади.

— Видали? — спросил Том.

— Что именно?

Он пристально посмотрел на меня,— должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.

— Вы, наверно, меня круглым дураком считаете,— сказал он.— Пусть так, а все-таки у меня иногда появляется — ну второе зрение, что ли, и оно мне подсказывает, как поступить. Может, вы и не верите в такие вещи, но наука...

Он запнулся. Непосредственная действительность напомнила о себе, не дав ему свалиться в бездну отвлеченных умствований.

— Я навел кое-какие справки об этом субъекте,— заговорил он снова.— Можно было копнуть и глубже, если б знать...

— Уж не ходил ли ты к гадалке? — ехидно спросила Джордан.

— Что? — Он вытаращил глаза, озадаченный нашим дружным смехом.— К гадалке?

— Да, насчет Гэтсби.

— Насчет Гэтсби? Нет, зачем. Я же сказал: я навел кое-какие справки о его прошлом.

— И выяснилось, что он учился в Оксфорде,— услужливо подсказала Джордан.

— В Оксфорде! Черта с два! — Оп передернул плечами.— Человек, который ходит в розовом костюме!..

— И тем не менее.

— Оксфорд, который в штате Нью-Мексико,— пренебрежительно фыркнул Том.— Или еще где-то.

— Слушай, Том, если ты такой сноб, зачем было приглашать его в гости? — сердито спросила Джордан.

— Дэзи его пригласила; она с ним была знакома еще до замужества,— бог весть, где это ее угораздило!

От выветривавшихся пивных паров всем хотелось злиться, и некоторое время мы ехали молча. Но вот впереди показались выцветшие глаза доктора Т.-Дж. Эклберга, и я вспомнил предупреждение Гэтсби насчет бензина.

— Ерунда, до города дотянем,— сказал Том.

— Зачем же, когда вот рядом гараж,— возразила Джордан.— Совсем невесело застрять где-нибудь на дороге в такое пекло.

Том с досадой затормозил, мы въехали на пыльный пятачок перед вывеской Джорджа Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.

— Нельзя ли поживей? — грубо крикнул Том.— Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажем.

— Я болен,— сказал Уилсон, не трогаясь с места.— Я сегодня с самого утра болен.

— А что с вами?

— Слабость какая-то во всем теле.

— Что же, мне самому браться за шланг? — спросил Том.— По телефону голос у вас был вполне здоровый.

Уилсон переступил порог — видно было, что ему трудно расстаться с тенью и с опорой,— и, тяжело дыша, стал отвинчивать крышку бензобака. На солнце лицо у него было совсем зеленое.

— Я не думал, что помешаю вам завтракать,— сказал он.— Мне сейчас очень нужны деньги, и я хотел знать, что вы решили насчет той машины.

— А моя новая машина вам нравится? — спросил Том.— Я ее купил на прошлой неделе.

— Эта желтая? Хороша,— сказал Уилсон, налегая на рукоять.

— Хотите, продам?

— Вы все шутите.— Уилсон криво усмехнулся.— Нет уж, вы мне лучше продайте старую, я и на ней сумею заработать.

— А на что это вам так спешно понадобились деньги?

— Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с женой хотим перебраться на Запад.

— Ваша жена хочет уехать? — в изумлении воскликнул Том.

— Десять лет она только о том и говорила.— Он на миг прислонился к колонке, ладонью прикрыв глаза от солнца.— А теперь, хочет не хочет, все равно уедет. Я ее отсюда увезу.

Мимо в облаке пыли промчался «фордик», чья-то рука помахала на ходу.

— Сколько с меня? — отрывисто спросил Том.

— Дошло тут до моих ушей кое-что неладное,— продолжал Уилсон.— Потому-то я и решил уехать. Потому и насчет машины вам докучал.

— Сколько с меня?

— Доллар двадцать центов.

От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове, и прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире, и от этого ему стало

физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома — ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие,— и мне пришло в голову, что никакие расовые или духовные различия между людьми не могут сравниться с той разницей, которая существует между больным человеком и здоровым. Уилсон был болен, и от этого у него был такой непоправимо виноватый вид, как будто он только что обесчестил беззащитную девушку.

— Хорошо, машину я вам продам,— сказал Том.— Завтра днем она будет у вас.

Всегда для меня в этой местности было что-то безотчетно зловещее, даже при ярком солнечном свете. Вот и сейчас я невольно оглянулся, словно чуя какую-то опасность за спиной. Гигантские глаза доктора Т.-Дж. Эклберга бдительно несли свою вахту над горами шлака, но я скоро заметил, что за нами напряженно следят другие глаза, и гораздо ближе.

В одном из окон над гаражом занавеска была чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Она вся ушла в этот взгляд, не замечая, что за ней наблюдают; разнообразные оттенки чувств постепенно проступали на ее лице, как предметы на проявляемой фотографии. Мне и раньше приходилось подмечать на женских лицах подобное выражение, но на этот раз что-то в нем было несообразное, непонятное для меня,— пока я не догадался, что расширенные ревнивым ужасом глаза Миртл устремлены не на Тома, а на Джордан Бейкер, которую она приняла за его жену.

Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад его жена и его любовница принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук. И он все сильней нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели: догнать Дэзи и уйти от Уилсона. Мы мчались к Астории со скоростью пятьдесят миль в час, пока впереди, в стальной паутине ферм надземки, не замаячил неторопливо катящий синий «фордик».

— В районе Пятидесятой улицы есть большое кино, где довольно прохладно,— сказала Джордан.— Люблю Нью-Йорк летом, во второй половине дня, когда он совсем пустой. В нем тогда есть что-то чувственное, перезрелое, как будто стоит подставить руки — и в них начнут валиться диковинные плоды.

Слово «чувственный» разбередило тревогу Тома, но прежде чем он успел придумать возражение, «фордик» остановился, и Дэзи замахала рукой, подзывая нас.

— Теперь куда? — спросила она.

— В кино, может быть?

— Ох, в такую жару,— жалобно протянула она.— Вы ступайте, если хотите, а мы покатаемся и приедем за вами к концу сеанса.— Она сделала слабую попытку пошутить: — Назначим свидание на перекрестке. Я буду мужчина с двумя сигаретами во рту.

— Здесь не место спорить,— раздраженно сказал Том, услышав негодующее рявканье грузовика, которому мы загородили путь.— Поезжайте за мной к южному въезду в Центральный парк, тому, что напротив отеля «Плаза».

По дороге он то и дело оглядывался, чтобы посмотреть, едут ли они следом, и, если им случалось застрять среди потока машин, он сбавлял скорость и ждал, когда «фордик» покажется снова. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду — и из его жизни.

Но этого не случилось. И мы все сообща приняли трудно объяснимое решение— снять на вечер гостиную номера-люкс в «Плаза».

Подробности долгого и шумного спора, в результате которого мы были загнаны в эту гостиную, стерлись у меня из памяти; хотя я отчетливо помню неприятное ощущение, которое я испытывал во время этого спора оттого, что мои трусы обвивались вокруг ног, точно влажные змеи, а по спине то и дело скатывались холодные бусинки пота. Началось с предложения Дэзи снять в отеле пять ванных и принять освежающий душ; затем разговор пошел уже о «местечке, где можно выпить мятный коктейль со льдом». При этом раз двадцать было сказано: «Идиотская затея!» — но в конце концов, говоря все разом и перебивая друг друга, мы кое-как сговорились с обалделым портье. Нам казалось — или мы себе внушали,— что все это необыкновенно весело.

Комната была большая и душная, и хотя шел уже пятый час, в окна, когда их распахнули, повеяло только сухостью накалившейся зелени парка. Дэзи подошла к зеркалу и, стоя ко всем спиной, стала поправлять прическу.

— Роскошный апартамент,— благоговейным шепотом произнесла Джордан.

Все расхохотались.

— Отворите еще окно,— не оглядываясь распорядилась Дэзи.

— А больше нет.

— Ну, тогда придется позвонить, чтобы принесли топор...

— Прежде всего — довольно разговоров о жаре,— сердито сказал Том.— А то долбишь все время: жара, жара — от этого только в сто раз хуже.

Он развернул полотенце и поставил на стол свою бутылку виски.

— Что вы к ней придираетесь, старина? — сказал Гэтсби.— Вы ведь сами захотели ехать в город.

Наступила тишина. Вдруг толстый телефонный справочник сорвался с гвоздя и шлепнулся на пол. Джордан сказала шепотом: «Извините, пожалуйста»,— но на этот раз никто не засмеялся.

— Я сейчас подниму,— сказал я.

— Не надо, старина, я сам.— Гэтсби долго рассматривал лопнувший шнурок, потом с интересом хмыкнул и бросил справочник на стул.

— А без этого своего словца вы никак не можете? — резко спросил Том.

— Какого словца?

— Да вот — «старина». Где только вы его откопали?

— Слушай, Том,— сказала Дэзи, отходя от зеркала.— Если ты будешь говорить людям дерзости, я здесь ни минуты не останусь. Позвони лучше, чтобы принесли лед для коктейля.

Том снял трубку, но в эту минуту сжатый стенами зной изорвался потоками звуков — из бальной залы внизу донеслись торжественные аккорды мендельсоновского «Свадебного марша».

— Нет, вы подумайте — выходить замуж в такую жару! — трагически воскликнула Джордан.

— А что — я сама выходила замуж в середине июня,— вспомнила Дэзи.— Луисвилл в июне! Кто-то даже упал в обморок. Кто это был, Том?

— Билокси,— коротко ответил Том.

— Да, да, его звали Билокси. Блокс Билокси — и он занимался боксом, честное слово, и родом был из Билокси, штат Теннесси.

— Его тогда отнесли к нам в дом,— подхватила Джордан,— потому что мы жили в двух шагах от церкви. И он у нас проторчал целых три недели, в конце концов папе попросту пришлось его выставить. А назавтра после этого папа умер.—

Помолчав, она добавила: — Одно к другому не имело отношения.

— Я знал одного Билокси — Билла Билокси, только тот был из Мемфиса,— вставил я.

— Это его двоюродный брат. За те три недели я успела изучить всю семейную историю. Он мне подарил алюминиевую клюшку для гольфа, я до сих пор ею пользуюсь.

Музыка внизу смолкла — началась брачная церемония. Потом в окна поплыл радостный гул поздравлений, крики: «Ура-а!» — и наконец взревел джаз, возвещая открытие свадебного бала.

— А мы стареем,— сказала Дэзи.— Были бы молоды, сразу бы пошли танцевать.

— Вспомни Билокси,— назидательно произнесла Джордан.— Где ты с ним, между прочим, познакомился, Том?

— С Билокси? — Он сосредоточенно наморщил лоб.— Я с ним вовсе не был знаком. Это приятель Дэзи.

— Ничего подобного,— возмутилась Дэзи.— Я его до свадьбы и в глаза не видала. Он вместе со всеми вами приехал из Чикаго.

— Да, но он представился как твой знакомый. Сказал, что вырос в Луисвилле. Эса Берд привел его на вокзал перед самым отходом поезда и просил найти для него местечко.

Джордан усмехнулась.

— Парень просто решил на дармовщинку проехаться в родные места. Мне он рассказывал, что был у вас президентом курса в Йеле.

Мы с Томом недоуменно воззрились друг на друга.

— Билокси?

— Начать с того, что у нас вообще не было никаких президентов курса.

Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую, беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.

— Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета?

— Не совсем так.

— Но вы как будто там учились?

— Да, я там учился.

Пауза. И затем — голос Тома, издевательский, полный откровенного недоверия:

— Очевидно, это было в то самое время, когда Билокси учился в Йеле.

Снова пауза. Постучавшись, вошел официант, поставил на стол поднос с толченой мятой и льдом, поблагодарил и вышел, мягко притворив за собою дверь, но все эти звуки не нарушили напряженной тишины. Я ждал: вот сейчас наконец разъяснится одна важная подробность биографии Гэтсби.

— Я уже сказал вам: да, я там учился.

— Слышал, но мне хотелось бы знать, когда именно.

— Это было в девятнадцатом году. Я пробыл там всего пять месяцев. Поэтому я и не могу себя считать настоящим воспитанником Оксфорда.

Том оглянулся на нас, желая убедиться, что мы разделяем его недоверие, но мы все смотрели на Гэтсби.

— После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию,— продолжал тот.— Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции.

Мне захотелось вскочить и дружески хлопнуть его по спине. Я вновь обрел свою поколебленную было веру в него, как это уже не раз бывало раньше.

Усмехаясь одними уголками губ, Дэзи встала и подошла к столу.

— Открой бутылку, Том,— приказала она,— я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком... Вот, я уже взяла мяту.

— Погоди,— огрызнулся Том.— Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос.

— Пожалуйста,— вежливо сказал Гэтсби.

— По какому, собственно, нраву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?

Разговор пошел в открытую — Гэтсби мог быть доволен.

— Никакого скандала он не устраивал.— Взгляд Дэзи испуганно заметался между ними обоими.— Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой.

— Владеть собой? — вскинулся Том.— Это что, новая мода — молча любоваться, как мистер Невесть Кто, Невесть Откуда амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел... Хороши пошли порядки! Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть всё вообще летит кувырком, и да здравствуют браки между белыми и неграми.

Распалясь собственной рацеей, он уже чувствовал себя одиноким бойцом на последней баррикаде цивилизации.

— Здесь, кажется, все — белые,— вполголоса заметила Джордан.

— Я, конечно, не столь популярная личность. Я не задаю балов на всю округу. Видно, в наше время, чтобы иметь друзей, нужно устроить из собственного дома хлев.

Как я ни был зол — все мы были злы,— меня невольно разбирал смех при каждом новом выпаде Тома. Уж очень разительно было его превращение из распутника в моралиста.

— Послушайте, что я вам скажу, старина...— начал Гэтсби.

Но Дэзи угадала его намерение.

— Нет, нет, не надо,— в страхе перебила она.— Знаете что, поедем домой. Давайте поедем все домой.

— А в самом деле.— Я встал.— Поехали, Том. Пить никому неохота.

— Я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби.

— Ваша жена вас не любит,— сказал Гэтсби.— Она вас никогда не любила. Она любит меня.

— Вы с ума сошли! — выкрикнул Том.

Сам не свой от волнения, Гэтсби вскочил на ноги.

— Она вас никогда не любила, слышите? — закричал он.— Она вышла за вас только потому, что я был беден и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка, но все равно она никогда никого не любила, кроме меня.

Мы с Джордан хотели было уйти, но Том и Гэтсби, один настойчивее другого, требовали, чтобы мы остались, словно подчеркивая, что скрывать им нечего и что для нас редкостная удача — приобщиться к кипящим в них страстям.

— Сядь, Дэзи.— Том тщетно пытался говорить отеческим тоном.— Что, в конце концов, происходит? Я требую, чтобы мне рассказали все.

— Я вам уже сказал, что происходит,— ответил Гэтсби.— И происходит целых пять лет,— а вы не знали.

Том резко повернулся к Дэзи:

— Ты целых пять лет встречалась с этим типом?

— Нет, мы не встречались,— ответил Гэтсби.— Встречаться мы не могли. Но мы все это время любили друг друга, старина, а вы не знали. Я иногда думал о том, что вы не знаете, и мне становилось смешно.— Но глаза его не смеялись.

— И это — все? — Том пасторским жестом соединил концы своих толстых пальцев и откинулся на спинку кресла. Но тут же его прорвало.— Вы сумасшедший! — крикнул он.— Не знаю, что там у вас было пять лет назад, до моего знакомства

с Дэзи,— хоть убей, не пойму, как это вам вообще удалось попасться ей на глаза, разве что вы доставляли в дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дэзи и выходила за меня по любви, и сейчас меня любит.

— Нет,— сказал Гэтсби, качая головой.

— Конечно, любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупостей с досады.— Он кивнул с глубокомысленным видом.— А главное, и я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, в конце концов я всегда возвращаюсь к Дэзи и, в сущности, люблю только ее одну.

— Гнусный ты человек,— сказала Дэзи. Она повернулась ко мне, голос ее стал низким и грудным, и дрожавшее в нем презрение, казалось, заполнило комнату.— Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.

Гэтсби подошел и стал рядом с нею.

— Забудь все это, Дэзи,— сказал он решительно.— Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду — скажи, что ты никогда его не любила,— и все будет кончено, раз и навсегда.

Она подняла на него слепой, невидящий взгляд.

— Любить — как я могла его любить, если...

— Ты никогда его не любила.

Она медлила. Она оглянулась на меня, на Джордан с каким-то жалобным выражением в глазах, словно бы только сейчас поняла, что делает,— и словно бы все это время вовсе и не думала ничего делать. Но она сделала. Отступать было поздно.

— Я никогда его не любила,— сказала она, явно через силу.

— Даже в Капиолани? — неожиданно спросил Том.

— Да.

Снизу, из бальной залы, на волнах горячего воздуха поднимались приглушенные, задыхающиеся аккорды.

— Даже в тот день, когда я нес тебя на руках из Панчбоул, чтобы ты не замочила туфли? — В его голосе зазвучала хрипловатая нежность.— Дэзи?..

— Замолчи.— Тон был холодный, но уже без прежней враждебности.

Она посмотрела на Гэтсби.

— Ну вот, Джей,— сказала она и стала закуривать сигарету, но рука у нее дрожала. Вдруг она швырнула сигарету вместе с

зажженной спичкой на ковер.— Ох, ты слишком многого хочешь! — вырвалось у нее.— Я люблю тебя теперь — разве этого не довольно? Прошлого я не могу изменить.— Она заплакала.— Было время, когда я любила его,— но тебя я тоже любила.

Гэтсби широко раскрыл глаза — потом закрыл совсем.

— Меня ты *тоже* любила,— повторил он.

— И это — ложь! — остервенело крикнул Том.— Она о вас и думать не думала. Поймите вы, у нас с Дэзи есть свое, то, чего вам никогда не узнать. Только мы вдвоем знаем это и никогда не забудем — такое не забывается.

Казалось, каждое из этих слов режет Гэтсби, как ножом.

— Дайте мне поговорить с Дэзи наедине,— сказал он.— Вы видите, она не в себе...

— Ты от меня и наедине не услышишь, что я совсем, совсем не любила Тома,— жалким голосом откликнулась Дэзи.— Потому что это неправда.

— Конечно, неправда,— подхватил Том.

Дэзи оглянулась на мужа.

— А тебе будто не все равно,— сказала она.

— Конечно, не все равно. И впредь я буду больше беспокоиться о тебе.

— Вы не понимаете,— встревоженно сказал Гэтсби.— Вам уже не придется о ней беспокоиться.

— Вот как? — Том сделал большие глаза и засмеялся. Он вполне овладел собой — теперь он мог себе это позволить.— Это почему же?

— Дэзи уходит от вас.

— Чушь!

— Нет, это верно,— заметно пересиливая себя, подтвердила Дэзи.

— Никуда она не уйдет! — Слова Тома вдруг сделались тяжелыми, как удары.— К кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное?

— Я этого не желаю слышать! — крикнула Дэзи.— Уедем, ради бога, уедем отсюда!

— Кто вы вообще такой? — грозно спросил Том.— Что вы из банды Мейера Вулфшима, мне известно — я навел кое-какие справки о вас и ваших делах. Но я постараюсь разузнать больше.

— Старайтесь сколько угодно, старина,— твердо произнес Гэтсби.

— Я уже знаю, что представляли собой ваши «аптеки».— Он повернулся к нам и продолжал скороговоркой: — Они с Вулфшимом прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго и торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот вам одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера и, как видите, почти не ошибся.

— А если даже и так? — вежливо сказал Гэтсби.— Ваш друг Уолтер Чейз, например, не погнушался вступить с нами в компанию.

— А вы этим воспользовались, чтобы сделать из него козла отпущения. Сами в кусты, а ему пришлось месяц отсидеть в тюрьме в Нью-Джерси. Черт побери! Послушали бы вы, что он говорит о вас обоих!

— Он к нам пришел без гроша за душой. Ему не терпелось поправить свои дела, старина.

— Не смейте называть меня «старина»! — крикнул Том. Гэтсби промолчал.— Уолтеру ничего бы не стоило подвести вас и под статью о противозаконном букмекерстве, да только Вулфшим угрозами заткнул ему рот.

Опять на лице у Гэтсби появилось то непривычное и все же чем-то знакомое выражение.

— Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки,— уже без прежней торопливости продолжал Том.— Я знаю, сейчас вы заняты аферой покрупнее, но какой именно, Уолтер побоялся мне рассказать.

Я оглянулся. Дэзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби, а Джордан уже принялась сосредоточенно балансировать невидимым предметом, стоявшим у нее на подбородке. Я снова перевел глаза на Гэтсби, и меня поразил его вид. Можно было подумать,— говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду,— можно было подумать, что он «убил человека». При всей фантастичности этого определения, в тот момент лучшего было не подобрать.

Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дэзи, все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя, и в конце концов он умолк; только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты.

А голос все взывал:

— Том, ради бога, уедем! Я не могу больше!

Испуганные глаза Дэзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.

— Ты поезжай с мистером Гэтсби, Дэзи,— сказал Том.— В его машине.

Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения:

— Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.

И они ушли вдвоем, без единого слова, исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости.

Том взял полотенце и стал снова завертывать нераскупоренную бутылку виски.

— Может, кто-нибудь все-таки выпьет? Джордан?.. Ник?

Я молчал. Он окликнул еще раз:

— Ник?

— Что?

— Может, выпьешь?

— Нет... Я сейчас только вспомнил, что сегодня день моего рождения.

Мне исполнилось тридцать. Впереди, неприветливая и зловещая, пролегла дорога нового десятилетия.

Было уже семь часов, когда мы втроем уселись в синий «фордик» и тронулись в обратный путь. Том говорил без умолку, шутил, смеялся, но его голос скользил, не задевая наших мыслей, как уличный гомон, как грохот надземки вверху. Сочувствие ближнему имеет пределы, и мы охотно оставляли этот чужой трагический спор позади вместе с отсветами городских огней. Тридцать — это значило еще десять лет одиночества, все меньше друзей-холостяков, все меньше нерастраченных сил, все меньше волос на голове. Но рядом была Джордан, в отличие от Дэзи не склонная наивно таскать за собою из года в год давно забытые мечты. Когда замелькали мимо темные переплеты моста, ее бледное личико лениво склонилось к моему плечу и ободряющее пожатие ее руки умерило обрушившуюся на меня тяжесть тридцатилетия.

Так мы мчались навстречу смерти в сумраке остывающего дня.

На следствии главным свидетелем был молодой грек Михаэлис, владелец ресторанчика у шлаковых куч. Разморенный жарой, он проспал до пяти часов, потом вышел погулять и заглянул в гараж к Джорджу Уилсону. Он сразу увидел, что Уилсон болен, и болен не на шутку — его трясло, лицо у него было желтое, одного цвета с волосами. Михаэлис посоветовал ему лечь в постель, но Уилсон не захотел, сказал, что боится упустить клиентов. Пока они спорили, над головой у них поднялся отчаянный шум и грохот.

— Это моя жена, я ее запер наверху,— спокойно пояснил Уилсон.— Пусть посидит там до послезавтра, а послезавтра мы отсюда уедем.

Михаэлис оторопел; они прожили бок о бок четыре года, и он бы никогда не поверил, что Уилсон способен на такое. Это был человек, как говорится, заезженный жизнью; когда не работал в гараже, только и знал, что сидеть на стуле в дверях и смотреть на прохожих, на машины, проносившиеся мимо. Заговорят с ним, он непременно улыбнется в ответ ласковой, бесцветной улыбкой. Он самому себе не был хозяин; над ним была хозяйкой жена.

Михаэлис, понятно, стал допытываться, что такое стряслось, но от Уилсона ничего нельзя было добиться — вместо ответа он вдруг стал бросать на соседа косые, подозрительные взгляды и выспрашивать, где он был и что делал в такой-то день, в такой-то час. Михаэлису даже сделалось не по себе, и, завидя на дороге кучку рабочих, направлявшихся в его ресторан, он под этим предлогом поспешил уйти, сказав, что еще вернется. Но так и не вернулся. Попросту забыл, должно быть. И, только выйдя опять, уже в восьмом часу, он услышал в гараже громкий, злой голос миссис Уилсон, и ему сразу вспомнился давешний разговор.

— На, бей! — кричала она.— Бей, топчи ногами, ничтожество, трус поганый!

Дверь распахнулась, она выбежала на дорогу, с криком размахивая руками,— и прежде чем он успел сделать хоть шаг, все было кончено.

«Автомобиль смерти», как его потом назвали газеты, даже не остановился; вынырнув из густеющих сумерек, он дрогнул на миг в трагической нерешительности и скрылся за поворотом дороги. Михаэлис и цвета его не успел разглядеть толком — подоспевшей полиции он сказал, что машина была светло-зе-

леная. Другая машина, которая шла в Нью-Йорк, затормозила, проскочив ярдом на сто, и водитель бегом кинулся назад, туда, где, скорчившись, лежала Миртл Уилсон, внезапно и грубо вырванная из жизни, и ее густая темная кровь смешивалась с дорожной пылью.

Шофер и Михаэлис подбежали к ней первые, но, когда они разорвали еще влажную от пота блузку и увидели, что левая грудь болтается где-то сбоку, точно повисший на ниточке карман, они даже не стали прикладывать ухо к сердцу. Рот был широко раскрыт и в углах чуть надорван, как будто она захлебнулась, отдавая весь тот огромный запас энергии жизни, который так долго в ней копился.

Мы еще издали увидели толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.

— Авария! — сказал Том.— Уилсону повезло. Будет ему теперь работа.

Он сбавил газ, но останавливаться не собирался; только когда мы подъехали ближе, хмурое безмолвие толпившихся у гаража людей побудило его затормозить.

— Может, все-таки взглянем, в чем там дело,— сказал он неуверенно.— Только взглянем.

Глухой, прерывистый стон доносился из гаража; когда мы, выйдя из машины, подошли к дверям, стон стал более внятным и в нем можно было расслышать слова «боже мой, боже мой!», без конца повторяемые на одной ноте.

— Что-то, видно, стряслось серьезное,— с интересом сказал Том.

Он привстал на носки и поверх голов заглянул в гараж, освещенный только желтыми лучами лампочки в металлической сетке, подвешенной под самым потолком. Что-то вдруг хрипло булькнуло у него в горле, он с силой наддал своими могучими плечами и протолкался вперед.

Толпа заворчала и сейчас же сомкнулась снова, так что мне ничего не было видно. Но сзади напирало все больше и больше любопытных, и в конце концов нас с Джордан просто вдавили внутрь.

Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в два одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару; склонившись над нею, спиной к нам, стоял неподвижно Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста, усиленно потея и черкая, записывал фамилии в маленькую книжечку. Откуда-то несся все

тот же прерывистый стон, гулко отдаваясь в пустоте гаража; я огляделся и тут только увидел Уилсона — он стоял на высоком пороге своей конторки, обеими руками вцепившись в дверные косяки, и раскачивался из стороны в сторону. Какой-то человек уговаривал его вполголоса, пытаясь положить ему руку на плечо, но Уилсон ничего не видел и не слышал. Он медленно скользил взглядом от лампочки под потолком к тому, что лежало на верстаке, тотчас же снова вскидывал глаза на лампочку; и все время звучал его страшный, пронзительный вопль:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Том вдруг рывком поднял голову, оцепенело посмотрел по сторонам и что-то пробормотал, обращаясь к полицейскому.

— М-и...— по буквам говорил полицейский, записывая.— К...

— Нет, х...— поправлял его грек.— М-и-х...

— Да слушайте же! — повысил голос Том.

— А...— говорил полицейский.— Э...

— Л...

— Л...— Тут широкая рука Тома тяжело упала ему на плечо, и он оглянулся.— Ну, чего вам надо?

— Как это случилось? Я хочу знать, как это случилось.

— Автомобиль сшиб ее. Задавил насмерть.

— Задавил насмерть,— повторил Том, глядя в одну точку.

— Она выбежала на дорогу. Мерзавец даже не остановился.

— Шли две машины,— сказал Михаэлис.— Одна оттуда, другая — туда, понятно?

— Куда — туда? — быстро спросил полицейский.

— Одна из города, другая в город. Ну вот, а она...— Он было поднял руку в сторону верстака, но сразу же уронил.— Она выбежала на дорогу, и та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Еще бы — скорость-то была миль тридцать или сорок, не меньше.

— Как называется это место? — спросил полицейский.

— Никак. У него нет названия.

Рослый, хорошо одетый мулат выступил вперед.

— Машина была желтая,— сказал он.— Большая желтая машина. Совсем новая.

— Вы что, были при этом?

— Нет, но эта машина обогнала меня на шоссе. Она шла со скоростью больше чем сорок. Пятьдесят верных, а то и шестьдесят.

— Подойдите сюда и скажите вашу фамилию. Эй, дайте ему пройти, мне нужно записать его фамилию.

Должно быть, кое-что из этого разговора долетело до Уилсона, по-прежнему раскачивавшегося в дверях конторки,— его стоны стали перемежаться новыми выкриками:

— Я знаю, какая это была машина! Знаю, без вас знаю!

Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.

— Ну, ну, возьмите себя в руки,— грубовато подбодрил он.

Уилсон глянул на Тома и хотел было выпрямиться, но колени у него подогнулись, и он упал бы, если бы не железная хватка Тома.

— Выслушайте меня,— слегка встряхнув его, сказал Том.— Я только сию минуту подъехал. Я вам привел свой старый «форд», как мы уговаривались. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя — слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал.

Том говорил тихо, и никто, кроме меня и мулата, стоявших неподалеку, не мог разобрать его слов, но самый звук его голоса заставил полицейского насторожиться.

— О чем вы там? — строго спросил он.

— Я его приятель.— Том, не отпуская Уилсона, повернул голову к полицейскому.— Он говорит, что знает машину, которая это сделала. Она желтого цвета.

Следуя какому-то неясному побуждению, полицейский подозрительно взглянул на Тома.

— А какого цвета ваша машина?

— Синего. Двухместный «форд».

— Мы только что из Нью-Йорка,— сказал я.

Кто-то, ехавший следом за нами по шоссе, подтвердил это, и полицейский снова занялся Михаэлисом.

— Ну давайте опять сначала, по буквам...

Приподняв Уилсона, точно куклу, Том внес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.

— Кто-нибудь идите, побудьте с ним,— коротко распорядился он.

Двое мужчин, из тех, кто стоял поближе, поглядели друг на друга и неохотно двинулись к конторке. Том пропустил их мимо себя, затворил за ними дверь и отошел, стараясь не смотреть в сторону верстака. Поравнявшись со мной, он шепнул: «Поехали!»

С чувством неловкости мы протолкались сквозь прибывшую толпу — Том властным напором плеч прокладывал до-

рогу,— и у самого выхода встретился нам спешивший с чемоданчиком врач, за которым послали полчаса назад, вероятно понадеявшись на чудо.

Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое, сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.

— Проклятый трус! — всхлипнул он.— Даже не остановился!

Дом Бьюкененов неожиданно выплыл нам навстречу из купы темных, шелестящих листвою деревьев. Том затормозил почти напротив крыльца и сразу посмотрел вверх — на увитой виноградом стене светились два окна.

— Дэзи дома,— сказал он.

Когда мы выбрались из машины, он взглянул на меня и слегка нахмурился.

— Надо было мне завезти тебя в Уэст-Эгг, Ник. Сегодня все равно делать больше нечего.

Какая-то перемена совершилась в нем; он говорил уверенно и с апломбом. Пока мы шли через освещенную луной площадку перед домом, он коротко и энергично распоряжался:

— Сейчас я по телефону вызову тебе такси, а пока вы с Джордан ступайте на кухню, и пусть вам дадут поужинать — если вы голодны.— Он распахнул перед нами дверь.— Входите.

— Спасибо, не хочется. Такси ты мне, пожалуйста, вызови, но я подожду здесь, на воздухе.

Джордан дотронулась до моего локтя.

— Зайдите, Ник, посидим немного.

— Спасибо, не хочется.

Меня поташнивало, и хотелось остаться одному. Но Джордан медлила уходить.

— Еще только половина десятого,— сказала она.

Нет уж, баста — я чувствовал, что сыт по горло их обществом. «Их», к моему собственному удивлению, в данном случае включало и Джордан. Вероятно, это было написано у меня на лице, потому что она вдруг круто повернулась и убежала в дом. Я присел на ступеньку, опустил голову на руки и сидел так несколько минут, пока не услышал в холле голос лакея, вызывавшего по телефону такси. Тогда я поднялся и медленно побрел по аллее, решив дожидаться у ворот.

Я не прошел и двадцати шагов, как меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби. Должно быть, в голове у меня черт знает что творилось, так как единственное, о чем я в эту минуту подумал, это что его розовый костюм как будто светился при луне.

— Что вы здесь делаете? — спросил я.

— Ничего, старина. Просто так стою.

Почему-то мне показалось странным такое занятие. Я был даже готов предположить, что он замышляет ограбить дом. Меня бы не удивило, если бы из глубины кустарника за его спиной выглянули зловещие физиономии «знакомых Вулфшима».

— Вы что-нибудь видели на шоссе? — спросил он после короткого молчания.

Он помялся.

— Она — совсем?

— Да.

— Я так и думал; я и Дэзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.

Он говорил так, словно только это и имело значение: как перенесла случившееся Дэзи.

— Я вернулся в Уэст-Эгг кружным путем,— продолжал он,— и оставил машину в своем гараже. По-моему, нас никто не видел, но ведь наверно не скажешь.

Он мне был теперь так неприятен, что я не стал его разуверять.

— Кто была эта женщина? — спросил оп.

— Жена владельца гаража, ее фамилия Уилсон. Как это, черт возьми, произошло?

— Понимаете, я не успел перехватить...

Он запнулся, и я вдруг все понял.

— За рулем была Дэзи?

— Да,— не сразу ответил он.— Но я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дэзи очень нервничала, когда мы выехали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей легче будет успокоиться, а эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать, может быть, приняла нас за кого-то знакомого. Дэзи сначала крутанула в сторону от нее, но тут эта встречная машина, и она рас-

терялась и крутанула обратно. Хватая руль, я уже почувствовал толчок. Вероятно, ее задавило насмерть.

— Разворотило всю...

Он вздрогнул.

— Не надо, старина... Ну а потом — я просил Дэзи остановиться, но она не могла. Пришлось мне использовать ручной тормоз. Тогда она повалилась мне на колени, и дальше уже повел я. К утру она совсем оправится,— продолжал он после короткой паузы.— Но я побуду здесь, на случай, если он вздумает мучить ее из-за того, что вышло в «Плаза». Она заперлась в своей спальне, а если он станет ломиться к ней силой, она мне даст сигнал — включит и выключит свет несколько раз подряд.

— Ничего он ей не сделает,— сказал я.— Ему не до нее.

— Я ему не доверяю, старина.

— Сколько же вы намерены тут простоять?

— Хотя бы и до утра. Во всяком случае, пока все в доме не улягутся.

Мне пришла в голову новая мысль. Что, если Том узнал, что за рулем была Дэзи? Он мог усмотреть тут какую-то связь, мог подумать... мало ли что он мог подумать. Я оглянулся на дом. Два или три окна нижнего этажа были ярко освещены, да наверху теплились мягким розовым светом окна Дэзи.

— Подождите меня здесь,— сказал я.— Пойду послушаю, не слышно ли чего в доме.

Я по краю газона вернулся назад, стараясь не хрустеть гравием, пересек площадку и на цыпочках поднялся на крыльцо. В гостиной занавеси на окнах не были задернуты, и можно было сразу увидеть, что там никого нет. В конце той веранды, где мы обедали в первый мой приезд, три месяца назад, желтел небольшой прямоугольник света — вероятно, окошко буфетной. Туда я и направился. Штора была спущена, но я нашел место, где она чуть-чуть не доставала до подоконника.

Дэзи и Том сидели друг против друга за кухонным столом, на котором стояло блюдо с холодной курицей и две бутылки пива. Он что-то горячо доказывал ей и в пылу убеждения накрыл рукой ее руку, лежавшую на столе. Она время от времени поднимала на него глаза и согласно кивала.

Им было невесело; курица лежала нетронутая, пива в бутылках не убавилось. Но и грустно им не было. Вся сцена носила характер привычной интимности. Казалось, они дружно о чем-то сговариваются.

Спускаясь на цыпочках с крыльца, я услышал фырканье такси, искавшего, должно быть, поворот к дому. Гэтсби ждал на том месте, где я его оставил.

— Ну как, ничего не слышно? — с тревогой спросил он.

— Нет, все тихо.— Я постоял в нерешительности.— Едемте со мной, вам нужно поспать.

Он покачал головой.

— Я подожду, пока Дэзи не погасит свет,— тогда буду знать, что она легла. Спокойной ночи, старина.

Он засунул руки в карманы и поспешил отвернуться, как будто мое присутствие нарушало торжественность его священного бдения. И я пошел, а он остался в полосе лунного света — одинокий страж, которому нечего было сторожить.

Глава VIII

Всю ночь я не мог заснуть; был туман, на проливе беспрестанно гудела сигнальная сирена, и я метался, как в лихорадке, между чудовищной действительностью и тяжелыми кошмарами сновидений. Перед рассветом я услышал, как к вилле Гэтсби подъехало такси; я поспешно спрыгнул с кровати и стал одеваться — мне казалось, я должен сказать ему что-то, о чем-то предупредить, и поскорей, потому что утром уже будет поздно.

Еще издали я увидел, что входная дверь не притворена, а Гэтсби стоит в холле, прислонясь к столу, весь сникший, то ли от физической, то ли от внутренней усталости.

— Ничего не было,— сказал он мне тусклым голосом.— Я прождал почти до четырех, а потом она подошла к окну, постояла минутку и погасила свет.— Никогда еще дом Гэтсби не казался мне таким огромным, как в эту ночь, когда мы рыскали по большим пустым комнатам, охотясь за сигаретами. Мы раздвигали драпировки, похожие на полы палаток, мы водили руками по поверхности темных стен в поисках выключателей; раз я наскочил в темноте на открытый рояль, и оттуда брызнул фонтан нестройных звуков. Повсюду пахло затхлостью, как будто комнаты уже очень давно не проветривались, и было совершенно непостижимо, откуда взялось в них столько пыли. Наконец на одном столе обнаружилась сигаретница, и в ней две лежалые, высохшие сигареты. Мы уселись перед ок-

ном в большой гостиной, предварительно распахнув его настежь, и закурили, глядя в темноту.

— Вам надо уехать,— сказал я.— Полиция наверняка выследит вашу машину.

— Уехать, старина, сейчас?

— Поезжайте на неделю в Атлантик-Сити или в Монреаль.

Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дэзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять.

Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности и своих скитаний с Дэном Коди — рассказал потому, что «Джей Гэтсби» разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. Вероятно, в тот час он не остановился бы и перед другими признаниями, но ему хотелось говорить о Дэзи, и только о Дэзи.

Она была первой «девушкой из общества» на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров из Кэмп-Тэйлор, потом один. Он был поражен — никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дэзи жила в этом доме — жила запросто, все равно как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, непохожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах — не линялых от времени и пропахших сухою лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Его волновало и то, что немало мужчин любили Дэзи до него — это еще повышало ей цену в его глазах. Повсюду он чувствовал их незримое присутствие; казалось, в воздухе дрожат отголоски еще не замерших томлений.

Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрою случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служив-

ший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч. И потому он старался не упустить время. Он брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая,— так взял он и Дэзи однажды тихим осенним вечером, взял, хорошо зная, что не имеет права коснуться даже ее руки.

Он мог бы презирать себя за это — ведь, в сущности, он взял ее обманом. Не то чтобы он пускал в ход россказни о своих мнимых миллионах; но он сознательно внушил Дэзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживая в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать — он был никто без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света.

Но презирать себя ему не пришлось, и все вышло не так, как он ожидал. Вероятно, он рассчитывал взять что можно и уйти,— а оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. Дэзи и раньше казалась ему особенной, необыкновенной, но он не представлял себе, до чего все может быть необыкновенно с «девушкой из общества». Она исчезла в своем богатом доме, в своей богатой, до краев наполненной жизни, а он остался ни с чем — если не считать странного чувства, будто они теперь муж и жена.

Когда через два дня они увиделись снова, не у нее, а у Гэтсби захватило дыхание, не она, а он словно бы попал в ловушку. Веранда ее дома тонула в сиянье самых дорогих звезд; плетеный диванчик томно скрипнул, когда она повернулась к Гэтсби и он поцеловал ее в забавно сложенные нежные губы. Она слегка охрипла от простуды, и это придавало особое очарование ее голосу. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много,— а под ней была Дэзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая,— бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков.

— Не могу вам передать, старина, как я был изумлен, когда понял, что люблю ее. Первое время я даже надеялся, что она меня бросит, но она не бросила — ведь и она меня полюбила. Ей казалось, что я очень много знаю, потому что знания у меня были другие, чем у нее... Вот так и вышло, что я совсем позабыл свои честолюбивые замыслы, занятый только своей лю-

бовью, которая с каждой минутой росла. Но мне теперь было все равно. Стоило ли что-то свершать, чего-то добиваться, когда гораздо приятнее было рассказывать ей о том, что я собираюсь свершить.

В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дэзи долго сидели обнявшись и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дэзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные, шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полней друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече или когда он перебирал ее пальцы, так осторожно, словно боялся ее разбудить.

Военная карьера удалась ему. Еще до отправки на фронт он был произведен в капитаны, а после аргоннских боев получил чин майора и стал командовать пулеметным батальоном дивизии. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно — в письмах Дэзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон; ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки.

Ведь Дэзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий, приятный снобизм, и оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Под стон саксофонов, ночи напролет выпевавших унылые жалобы «Бийл-стрит блюза», сотни золотых и серебряных туфелек толкли на паркете сверкающую пыль. Даже в сизый час чаепитий иные гостиные сотрясал непрерывно этот сладкий несильный озноб, и знакомые лица мелькали то здесь, то там, словно лепестки облетевшей розы, гонимые по полу дыханием тоскующих труб.

И с началом сезона Дэзи снова втянуло в круговорот этой сумеречной вселенной. Снова она за день успевала побывать на полудюжине свиданий с полудюжиной молодых людей;

снова замертво валилась в постель на рассвете, бросив на пол измятое бальное платье вместе с умирающими орхидеями. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня; и чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила —любви, денег, неоспоримой выгоды,— которую не понадобилось бы искать далеко.

Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе, и Дэзи это льстило. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения.

Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде.

Над Лонг-Айлендом уже брезжило утро. Мы прошли по всем комнатам нижнего этажа, раскрывая окно за окном и впуская серый, но уже золотеющий свет. На росистую землю упала тень дерева, призрачные птицы запели в синей листве. Мягкое дуновение свежести, которое даже не было ветерком, предвещало погожий, нежаркий день.

— Нет, никогда она его не любила.— Гэтсби отвернулся от только что распахнутого окна и посмотрел на меня с вызовом.— Не забывайте, старина, ведь она вчера едва помнила себя от волнения. Он ее просто напугал — изобразил все так, словно я какой-то мелкий жулик. Неудивительно, если она сама не знала, что говорит.

Он сел, мрачно сдвинув брови.

— Может быть, она и любила его какую-то минуту, когда они только что поженились,— но даже тогда меня она любила больше.

Он помолчал и вдруг разразился очень странным замечанием.

— Во всяком случае,— сказал он,— это касалось только ее.

Что тут можно было заключить? Разве только, что в своих отношениях с Дэзи он видел глубину, не поддающуюся измерению.

Он вернулся в Штаты, когда Том и Дэзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалованья потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее бе-

лой машине. Как дом, где жила Дэзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования.

Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что, поищи он получше, он бы нашел ее,— что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне — он едва наскреб на билет — было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей; откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми,— быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица.

Дорога сделала поворот; поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увезти с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда.

Было уже девять часов, когда мы кончили завтракать и вышли на крыльцо. За ночь погода круто переломилась, и в воздухе веяло осенью. Садовник, единственный, кто остался в доме из прежней прислуги, подошел и остановился у мраморных ступеней.

— Хочу сегодня спустить воду в бассейне, мистер Гэтсби. Того и гляди, начнется листопад, а листья вечно забивают трубы.

— Нет, подождите еще денек,— возразил Гэтсби и, повернувшись ко мне, сказал, как бы оправдываясь: — Верите ли, старина, я так за все лето и не поплавал ни разу в бассейне.

Я взглянул на часы и встал.

— Через двенадцать минут мой поезд.

Мне не хотелось ехать на работу. Я знал, что проку от меня сегодня будет немного, но дело было даже не в этом — мне не хотелось оставлять Гэтсби. Уже и этот поезд ушел, и следующий, а я все медлил.

— Я вам позвоню из города,— сказал я наконец.

— Позвоните, старина.

— Так около двенадцати.

Мы медленно сошли вниз.

— Дэзи, наверно, тоже позвонит.— Он выжидательно посмотрел на меня, словно надеялся услышать подтверждение.

— Наверно.

— Ну, до свиданья.

Мы пожали друг другу руки, и я пошел к шоссе. Уже у поворота аллеи я что-то вспомнил и остановился.

— Ничтожество на ничтожестве, вот они кто! — крикнул я, оглянувшись.— Вы один стоите их всех, вместе взятых.

Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать,— ведь, в сущности, я с первого до последнего дня относился к нему неодобрительно. Он сперва только вежливо кивнул в ответ, потом вдруг просиял и широко, понимающе улыбнулся, как будто речь шла о факте, признанном нами уже давно и к обоюдному удовольствию. Его розовый костюм — дурацкое фатовское тряпье — красочным пятном выделялся на белом мраморе ступеней, и мне припомнился тот вечер, три месяца назад, когда я впервые был гостем в его родовом замке. Сад и аллея кишмя кишели тогда людьми, не знавшими, какой бы ему приписать порок,— а он махал им рукой с этих самых ступеней, скрывая от всех свою непорочную мечту.

И я поблагодарил его за гостеприимство. Его всегда все за это благодарили — я наравне с другими.

— До свиданья, Гэтсби! — крикнул я.— Спасибо за отличный завтрак!

Попав наконец в контору, я занялся было вписыванием сегодняшних курсов в какой-то бесконечный реестр ценных бумаг, да так и заснул над ним в своем вертящемся кресле. Около двенадцати меня разбудил телефонный звонок, и я вскочил как встрепанный, весь в поту. Это оказалась Джордан Бейкер; она часто звонила мне в это время, поскольку, вечно кочуя по разным отелям, клубам и виллам знакомых, была для меня почти неуловимой. Обычно звук ее голоса в телефонной трубке нес с собой прохладу и свежесть, как будто в окно конторы влетал вдруг кусок дерна с поля для игры в гольф; но в то утро он мне показался жестким и скрипучим.

— Я уехала от Дэзи,— сказала она.— Сейчас я в Хэмстеде, а днем собираюсь в Саутгемптон.

Вероятно, она поступила тактично, уехав от Дэзи, но во мне это почему-то вызвало раздражение, а следующая ее фраза и вовсе меня заморозила:

— Вы со мной не слишком любезно обошлись вчера вечером.

— До любезностей ли тут было.

Минута молчания. Потом:

— Но я все-таки хотела бы повидать вас.

— Я вас тоже хотел бы повидать.

— Может быть, мне не ехать в Саутгемптон, а приехать во второй половине дня в город?

— Нет, сегодня не нужно.

— Очень мило.

— Я никак не могу сегодня. Есть всякие...

Мы еще несколько минут тянули этот разговор, потом он как-то разом прекратился. Не помню, кто из нас первый резко повесил трубку, но помню, что меня это даже не расстроило. Не мог бы я в тот день мирно болтать с ней за чашкой чаю, даже если бы знал, что рискую никогда больше ее не увидеть.

Немного погодя я позвонил к Гэтсби, но у него было занято. Четыре раза я повторял вызов, и в конце концов потерявшая терпение телефонистка сказала мне, что абонент ждет разговора по заказу из Детройта. Я вынул свое железнодорожное расписание и обвел кружочком число 3.50. Потом откинулся назад и попытался сосредоточиться на своих мыслях. Было ровно двенадцать часов.

Когда утром мой поезд приближался к шлаковым кучам, я нарочно пересел на другую сторону. Мне казалось, что там все еще шумит толпа любопытных и мальчишки высматривают темные пятна в пыли, а какой-нибудь словоохотливый старичок снова и снова рассказывает о подробностях происшествия; но с каждым разом его рассказ будет звучать все менее правдоподобно, даже для него самого, и в конце концов он уже не сможет его повторять и трагедия Миртл Уилсон канет в забвение. Но сейчас я хочу немного вернуться назад и рассказать, что происходило в гараже вчера, после того как мы оттуда уехали.

Сестру погибшей, Кэтрин, удалось разыскать не сразу. Должно быть, она в тот вечер изменила своему правилу ничего не пить, потому что, когда ее привезли, голова ее была затуманена винными парами и ей никак не могли втолковать, что санитарный автомобиль уже увез тело во Флашинг. Уразумев

это наконец, она тут же хлопнулась в обморок, словно из всего, что случилось, это было самое ужасное. Кто-то по доброте или из любопытства усадил ее в свою машину и повез следом за останками сестры.

Далеко за полночь бурлил у гаража людской прибой— уходили одни, подходили другие, а Джордж Уилсон все сидел на диванчике в конторке и мерно раскачивался из стороны в сторону. Первое время дверь конторки стояла распахнутая настежь, и входившим в гараж трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Потом кто-то сказал, что это нехорошо, и дверь затворили. Несколько человек, в том числе Михаэлис, оставались с Уилсоном; сначала их было пятеро или шестеро, потом двое или трое, а под конец Михаэлису пришлось попросить последнего задержаться хоть на четверть часа, пока он, Михаэлис, сходит к себе сварить кофе. После этого он до рассвета просидел с Уилсоном один.

Часа в три в поведении Уилсона наступила перемена — он стал поспокойнее и вместо бессвязного бормотания заговорил о желтой машине. Твердил, что сумеет узнать, кто хозяин этой машины, а потом вдруг рассказал, что месяца два назад его жена как-то возвратилась из города с распухшим носом и кровоподтеками на лице. Но, услышав собственные слова, он весь передернулся и снова стал качаться и стонать: «Боже мой, боже мой!»

Михаэлис пытался, как умел, отвлечь его мысли:

— Сколько времени вы были женаты, Джордж? Ну, полно, посиди минутку спокойно и ответь на мой вопрос. Сколько времени вы были женаты?

— Двенадцать лет.

— А детей у вас никогда не было? Ну, посиди же спокойно, Джордж. Ты слышал, о чем я спрашиваю? Были у вас когда-нибудь дети?

В тусклом свете единственной лампочки по полу бегали, сталкиваясь, рыжие тараканы; время от времени слышался шум проносившейся мимо машины, и Михаэлису каждый раз казалось, будто это та самая, что умчалась, не остановившись, несколько часов тому назад. Ему не хотелось выходить в помещение гаража, чтобы не увидеть испятнанный кровью верстак, на котором вчера лежало тело; поэтому он тревожно топтался по конторке,— к утру уже все в ней знал наизусть,— а порой, присев рядом с Уилсоном, принимался увещевать его:

— Ты в какую церковь ходишь, Джордж? Может, давно уже не был, так это ничего. Может, я позвоню в твою церковь и попрошу священника прийти поговорить с тобой, а, Джордж?

— Ни в какую я церковь не хожу.

— Нельзя человеку без церкви, Джордж, вот хотя бы на такой случай. И ты ведь, наверно, ходил в церковь прежде. Венчался-то ты в церкви? Да ты слушай, Джордж, слушай меня. Венчался ты в церкви?

— Так то было давно.

Усилия, требовавшиеся для ответа, перебили мерный ритм его качания, и он ненадолго затих. Потом в его выцветших глазах появилось прежнее выражение — догадка пополам с растерянностью.

— Посмотри, что в том ящике,— сказал он, указывая на свой стол.

— В каком ящике?

— Вон в том.

Михаэлис выдвинул ближайший к нему ящик стола. Там ничего не было, кроме короткого собачьего поводка, кожаного, с серебряным плетением. Он был совсем новый и, судя по виду, дорогой.

— Это? — спросил Михаэлис, достав поводок из ящика.

Уилсон так и прилип к нему глазами, потом кивнул.

— Я это нашел у нее вчера днем. Она мне стала что-то объяснять, да я сразу заподозрил неладное.

— Это что же, твоя жена купила?

— Лежало у нее на столике, завернутое в папиросную бумагу.

Михаэлис тут ничего странного не усмотрел и сразу привел Уилсону десяток причин, почему его жене мог понадобиться собачий поводок. Но должно быть, такие же или сходные объяснения давала и Миртл, потому что Уилсон снова застонал: «Боже мой, боже мой!» — и слова его утешителя повисли в воздухе.

— Вот он и убил ее,— сказал вдруг Уилсон. Нижняя челюсть у него отвалилась, рот так и остался разинутым.

— Кто — он?

— А уж я сумею узнать.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, Джордж,— сказал приятелю грек.— От горя у тебя помутилось в голове. Постарайся успокоиться и отдохни немножко, скоро уже утро.

— Он ее убийца.

— Это был несчастный случай, Джордж.

Уилсон затряс головой. Глаза его сузились, по губам прошла тень междометия, выражающего уверенность.

— Нет уж,— сказал он решительно.— Я человек простой и никому не желаю зла, но что я знаю, то знаю. Это он ехал в машине. Она бросилась к нему, хотела что-то сказать, а он не пожелал остановиться.

Михаэлис был свидетелем происшествия, но ему не пришло в голову искать в нем какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон выбежала на шоссе, спасаясь от мужа, а вовсе не для того, чтобы остановить какую-то определенную машину.

— Да с чего бы это она?

— Ты ее не знаешь,— сказал Уилсон, как будто это было ответом на вопрос.— О-о-о-о!..

Он опять начал раскачиваться и стонать, а Михаэлис стоял над ним, теребя в руках поводок.

— Может, есть у тебя какой-нибудь друг, я бы позвонил, вызвал его сюда, а, Джордж?

Напрасная надежда — да Михаэлис и не сомневался, что никаких друзей у Уилсона нет; ведь его не хватало даже для собственной жены.

Немного спустя Михаэлис с облегчением заметил какую-то перемену в комнате. За окном посинело, и он понял, что утро уже близко. К пяти часам синее стало голубым, и можно было выключить свет.

Уилсон остекленевшим взглядом уставился в окно, где над кучами шлака курились маленькие серые облачка, принимая фантастические очертания по воле предутреннего ветра.

— Я поговорил с ней,— зашептал он после долгого молчания,— сказал ей, что меня она может обмануть, но Господа Бога не обманет. Я подвел ее к окошку.— Он с трудом поднялся и, подойдя к окну, приник к стеклу лбом.— Подвел и говорю: Господь, Он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но Господа Бога не обманешь.

И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул — он смотрел прямо в огромные блеклые глаза доктора Т.-Дж. Эклберга, только что выплывшие из редеющей мглы.

— Господь, Он все видит,— повторил Уилсон.

Михаэлис попробовал его образумить:

— Да это ж реклама!

Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна. А Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой.

Когда пробило шесть, Михаэлис уже еле держался на ногах и радостно вздохнул, услышав, что у гаража затормозила машина. Это вернулся, как и обещал, один из мужчин, уехавших около полуночи. Михаэлис приготовил завтрак на троих, и они вдвоем его съели. Уилсон тем временем немного успокоился, и Михаэлис пошел домой поспать; а когда он через четыре часа проснулся и побежал в гараж, Уилсона там не было.

Удалось потом проследить его путь: он шел пешком — до Порт-Рузвельта, а оттуда до Гэдсхилла, где он спросил чашку кофе и сандвич: кофе выпил, а сандвич не съел. Вероятно, он устал и шел очень медленно, судя по тому, что попал в Гэдсхилл только в полдень. Восстановить его передвижения до этого момента не представило труда — в одном месте мальчишки видали, как по дороге шел человек, «вроде бы не в себе», в другом шоферы обратили внимание на странного прохожего, диким взглядом провожавшего каждую машину. Но дальше след его терялся на целых три часа. Полиция, основываясь на словах, сказанных им Михаэлису насчет того, что он «сумеет узнать», сделала предположение, что он в это время обходил окрестные гаражи в поисках желтой машины. Но, с другой стороны, ни один владелец гаража о нем не заявил, и возможно, у него нашелся какой-то другой, более верный и простой способ узнать, что нужно. В половине третьего его видели в Уэст-Эгге, где он спрашивал дорогу к вилле Гэтсби. Следовательно, фамилия Гэтсби уже была ему тогда известна.

В два часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею: если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Он зашел в гараж, где шофер помог ему накачать надувной матрас, которым все лето развлекались его многочисленные гости. И он строго-настрого запретил выводить из гаража открытую машину — что было странно, так как переднее правое крыло нуждалось в ремонте.

Вскинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну. Один раз он, остановившись, поправил ношу; шофер спросил, не нужно ли помочь, но он помотал головой и через минуту исчез за желтеющими деревьями.

Никто так и не позвонил, но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до четырех часов — когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения.

Если так, то, наверно, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверно, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву, и, содрогаясь, дивился тому, как нелепо устроена роза и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но не реальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем... как та шлаково-серая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев.

Шофер — один из протеже Вулфшима — слышал выстрелы; но потом мог сказать лишь одно — что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге.

Но они уже знали, я в этом убежден. Почти не сговариваясь, мы четверо — шофер, лакей, садовник и я — бросились к бассейну.

Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволяло угадывать ток воды, что вливалась в бассейн с одного конца и уходила с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля прочерчивая в воде тоненький алый круг.

Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона — последнюю искупительную жертву.

Глава IX

Сейчас, когда миновало уже два года, остаток этого дня, и ночь, и следующий день мне вспоминаются только как беспрестанное коловращение полицейских, фотографов и репорте-

ров на вилле Гэтсби. Поперек ворот протянули веревку и поставили полицейского, чтобы не пропускать любопытных. Но ребятня очень скоро пронюхала, что можно пробраться в сад со стороны моего участка, и около бассейна все время вертелись стайки ротозеев-мальчишек. Какой-то уверенно державшийся мужчина, возможно детектив, склонясь над телом Уилсона, произнес слово «сумасшедший»; апломб, с которым было брошено это замечание, стал камертоном для отчетов, появившихся в утренних газетах.

Эти отчеты были, как ночные кошмары, фантастичны, навязчивы, обстоятельны в мелочах и далеки от действительности. Когда Михаэлис на следствии рассказал о ревнивых подозрениях Уилсона, я решил, что теперь вся история неминуемо будет преподнесена публике в скабрезно-пасквильном виде, однако Кэтрин, которой тут было что сказать, не сказала ни слова. Она проявила нежданную силу характера — в упор глядя на следователя из-под своих выправленных бровей, клялась, что этого Гэтсби ее сестра знать не знала, что с мужем ее сестра всегда жила душа в душу и что вообще за ее сестрой никаких грехов не водилось. Она даже себя самое в этом убедила и так рыдала, уткнувшись в платок, как будто и тень сомнения на этот счет оскорбляла ее чувства. И Уилсон был низведен на уровень «невменяемости от горя», с тем чтобы по возможности упростить все дело. Так на том и осталось.

Впрочем, мне все это представлялось далеким и несущественным. Вышло так, что у Гэтсби не оказалось в наличии близких, кроме меня. С той минуты, как я позвонил в поселок Уэст-Эгг и сообщил о несчастье, любые догадки, любые практические вопросы, требовавшие решения,— все адресовалось мне. Сначала меня это удивляло и смущало; но время шло, и от того, что Гэтсби лежал там, в своем доме, не двигался, не дышал и не говорил, во мне постепенно росло чувство ответственности,— ведь больше никто не интересовался им, я хочу сказать — не испытывал того пристального, личного интереса, на который каждый из нас имеет какое-то право под конец.

Я позвонил Дэзи через полчаса после того, как его нашли, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собою багаж.

— И не оставили адреса?

— Нет.

— Не говорили, когда вернутся?

— Нет.

— А вы не знаете, где они? Как с ними связаться?

— Не знаю. Не могу сказать.

Мне хотелось найти ему кого-нибудь. Хотелось войти в комнату, где он лежал, и пообещать ему: «Уж я вам найду кого-нибудь, Гэтсби. Будьте спокойны. Положитесь на меня, я вам кого-нибудь найду».

Имя Мейера Вулфшима в телефонной книге не значилось. От мрачного лакея я узнал адрес его конторы в Нью-Йорке и позвонил в справочную, но, когда мне дали номер, был уже шестой час и к телефону никто не подходил.

— Пожалуйста, позвоните еще раз.

— Я уже три раза звонила.

— У меня очень важное дело.

— Сожалею, но там, видимо, никого нет.

Я вернулся в гостиную и увидел, что в ней полно народу — я даже принял было их за случайных гостей, всех этих представителей власти. Но хотя они откинули простыню и долго смотрели на Гэтсби испуганными глазами, в мозгу у меня не переставало настойчиво биться:

«Послушайте, старина, вы мне должны найти кого-нибудь. Вы должны приложить все силы. Не могу я пройти через это совсем один».

Меня стали спрашивать о чем-то, но я убежал и, поднявшись наверх, принялся торопливо рыться в незапертых ящиках его письменного стола — он мне никогда не говорил определенно, что его родители умерли. Но нигде ничего не было — только со стены смотрел портрет Дэна Коди, свидетель давно забытых бурь.

На следующее утро я послал мрачного лакея в Нью-Йорк к Вулфшиму с письмом, в котором спрашивал о родственниках Гэтсби и просил приехать ближайшим поездом. Впрочем, последняя просьба мне самому показалась излишней. Я не сомневался, что он и так бросится на вокзал, едва прочитает газеты,— как не сомневался и в том, что от Дэзи еще утром будет телеграмма. Но ни телеграмма, ни мистер Вулфшим не прибыли; прибывали только все новые полицейские, фотографы и репортеры. Когда я прочитал привезенный лакеем ответ Вулфшима, во мне поднялось чувство гнева, смешанного с отвращением, и в этом чувстве мы с Гэтсби были заодно против них всех.

«Дорогой мистер Карраузй!

Это для меня один из самых тяжелых ударов за всю мою жизнь, я просто не могу поверить, что это правда. Безумный поступок этого человека должен всех нас заставить призадуматься. Я не могу приехать в данное время, так как занят чрезвычайно важным делом, и мне никак нельзя впутываться в такую историю. Если смогу быть чем-либо полезен потом, уведомьте меня письмом через Эдгара. Меня подобные вещи совершенно выбивают из колеи, я потрясен и не могу прийти в себя.

Искренне ваш *Мейер Вулфшим*».

И внизу торопливая приписка:

«Прошу уведомить, как с похоронами и т. д., о родственниках ничего не знаю».

Когда в холле под вечер зазвонил телефон и междугородная сказала: «Вызывает Чикаго»,— я был уверен, что это наконец Дэзи. Но в трубке послышался мужской голос, глухой и плохо слышный издалека:

— Это говорит Слэгл...

— Вас слушают.— Фамилия мне была незнакома.

— Хорошенькая история, а? Вы мою телеграмму получили?

— Никаких телеграмм не было.

— Молодой Паркер влип,— сказал голос скороговоркой.— Его сцапали, когда он передавал бумаги в окошечко. Из Нью-Йорка поступило сообщение с указанием номеров и серий, буквально за пять минут до того. Что вы на это скажете, а? В такой дыре никогда не знаешь, на что нарвешься...

Задыхаясь, я прервал его:

— Алло! Послушайте — вы не с мистером Гэтсби говорите. Мистер Гэтсби умер.

На другом конце провода долго молчали. Потом послышалось короткое восклицание, потом в трубке щелкнуло, и нас разъединили.

Кажется, на третий день пришла телеграмма из какого-то городка в Миннесоте, подписанная: Генри Ч. Гетц. В телеграмме говорилось, что податель немедленно выезжает и просит дождаться его с похоронами.

Это был отец Гэтсби, скорбного вида старичок, беспомощный и растерянный, увернутый, несмотря на теплый сентябрьский день, в дешевое долгополое пальто с поясом. От волне-

ния глаза у него непрерывно слезились, а как только я взял из его рук саквояж и зонтик, он стал дергать себя за реденькую седую бороду, так что мне с трудом удалось снять с него пальто. Видя, что он еле держится на ногах, я повел его в музыкальный салон, усадил там и, вызвав лакея, сказал, чтобы ему принесли поесть. Но есть он не стал, а молоко расплескалось из стакана, так у него дрожала рука.

— Я прочел в чикагской газете,— сказал он.— В чикагской газете было написано. Я сразу же выехал.

— У меня не было вашего адреса.

Его невидящий взгляд все время перебегал с предмета на предмет.

— Это сделал сумасшедший,— сказал он.— Конечно же, сумасшедший.

— Может быть, вы хоть кофе выпьете? — настаивал я.

— Нет, я ничего не хочу. Мне уже лучше, мистер...

— Каррауэй.

— Мне уже лучше, вы не беспокойтесь. Где он, Джимми?

Я проводил его в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Несколько мальчишек забрались на крыльцо и заглядывали в холл; я им объяснил, кто приехал, и они неохотно пошли прочь.

Немного погодя дверь гостиной отворилась и мистер Гетц вышел; рот у него был открыт, лицо слегка побагровело, из глаз катились редкие, неупорядоченные слезы. Он был в том возрасте, в котором смерть уже не кажется чудовищной неожиданностью, и когда он, впервые оглядевшись вокруг, увидел величественную высоту сводов холла и анфилады пышных покоев, открывавшиеся в обе стороны, к его горю стало примешиваться чувство благоговейной гордости. Я отвел его наверх, в одну из комнат для гостей, и, пока он снимал пиджак и жилет, объяснил ему, что все распоряжения были приостановлены до его приезда.

— Я не знал, каковы будут ваши пожелания, мистер Гэтсби...

— Моя фамилия Гетц.

— ...мистер Гетц. Я думал, может быть, вы захотите увезти тело на Запад.

Он замотал головой.

— Джимми всегда больше нравилось здесь, на Востоке. Ведь это здесь он достиг своего положения. Вы были другом моего мальчика, мистер...?

— Мы с ним были самыми близкими друзьями.

— Он бы далеко пошел, можете мне поверить. Он был еще молод, но вот здесь у него было хоть отбавляй.

Он внушительно постучал себя по лбу, и я кивнул в знак согласия.

— Поживи он еще, он бы стал ба-а-льшим человеком. Таким, как Джеймс Дж. Хилл. Он бы ба-а-льшую пользу принес стране.

— Вероятно,— сказал я, замявшись.

Он неловко стащил с постели расшитое покрывало, лег, вытянулся и мгновенно уснул.

Вечером позвонил какой-то явно перепуганный субъект, который, прежде чем назвать себя, пожелал узнать, кто с ним говорит.

— Говорит мистер Каррауэй.

— А-а!—радостно отозвался он.— А я — Клипспрингер.

Я тоже обрадовался — можно было, значит, рассчитывать, что за гробом Гэтсби пойдет еще один старый знакомый. Не желая давать извещение в газеты, чтобы не привлечь толпу любопытных, я решил лично сообщить кое-кому по телефону. Но почти ни до кого не удалось дозвониться.

— Похороны завтра,— сказал я.— Нужно быть на вилле к трем часам. И будьте так любезны, скажите всем, кто захотел бы приехать.

— Да, да, непременно,— поспешно ответил он.— Я вряд ли кого-нибудь увижу, но если случайно...

Его тон заставил меня насторожиться.

— Вы сами, разумеется, будете?

— Постараюсь, непременно постараюсь. Я, собственно, позвонил, чтобы...

— Минутку,— перебил я.— Мне бы хотелось услышать от вас точно: вы будете?

— Мм... видите ли — дело в том, что я теперь живу у одних знакомых в Гриниче, и завтра они на меня в некотором роде рассчитывают. Предполагается что-то вроде пикника или прогулки. Но я, конечно, приложу все старания, чтобы освободиться.

У меня невольно вырвалось: «Эх!» — и он, должно быть, услышал, потому что сразу заторопился:

— Я, собственно, позвонил вот зачем: я там оставил пару туфель, так не затруднит ли вас распорядиться, чтобы мне их прислали. Понимаете, это теннисные туфли, и я без них прямо как без рук. Пусть пошлют на адрес...

На чей адрес, я уже не слыхал — я повесил трубку.

А немного спустя мне пришлось постыдиться за Гэтсби,— один из тех, кому я звонил, выразился в том смысле, что, мол, туда ему и дорога. Впрочем, я сам был виноват: этот господин принадлежал к числу самых заядлых любителей позубоскалить насчет Гэтсби, угощаясь его вином, и нечего было звонить такому.

Наутро в день похорон я сам поехал в Нью-Йорк к Мейеру Вулфшиму, не видя другого способа с ним связаться. Лифт остановился против двери, на которой значилось: «Акц. о-во “Свастика”; по совету лифтера я толкнул дверь — она была не заперта, и я вошел. Сперва мне показалось, что в помещении нет ни души, и только после нескольких моих окликов за перегородкой заспорили два голоса, и минуту спустя из внутренней двери вышла хорошенькая еврейка и недружелюбно уставилась на меня большими черными глазами.

— Никого нет,— сказала она.— Мистер Вулфшим уехал в Чикаго.

Первое из этих утверждений явно не соответствовало действительности, так как за перегородкой кто-то стал фальшиво насвистывать «Розовый куст».

— Будьте добры сказать мистеру Вулфшиму, что его хочет видеть мистер Каррауэй.

— Как же это я ему скажу, если он в Чикаго?

В эту минуту из-за двери позвали: «Стелла!» — и я сразу узнал голос Вулфшима.

— Оставьте на столике вашу карточку,— поспешно сказала женщина.— Он вернется, я ему передам.

— Послушайте, я же знаю, что он здесь.

Она шагнула вперед, негодующе подбоченясь.

— Повадились тоже врываться сюда когда вздумается,— заговорила она сердито.— Покою нет от вашего брата. Раз я говорю, он в Чикаго, значит, он в Чикаго.

Я назвал имя Гэтсби.

— О-о! — Она снова на меня посмотрела.— Тогда погодите минутку. Как, вы сказали, ваша фамилия?

Она исчезла. Мгновение спустя Мейер Вулфшим стоял на пороге, скорбным жестом протягивая ко мне руки. Он увлек меня в свой кабинет, сказал почтительно приглушенным голосом, что сегодня печальный день для всех нас, и предложил мне сигару.

— Помню, каким он был, когда мы с ним встретились впервые,— заговорил он, усевшись.— Молодой майор, только что из армии, весь в медалях, полученных на фронте. И ни гроша в кармане — он все еще ходил в военной форме, так как ему не на что было купить штатский костюм. Первый раз я его увидал в бильярдной Уайнбреннера на Сорок третьей улице, куда он зашел попросить какой-нибудь работы. Он уже несколько дней буквально голодал. Я его пригласил позавтракать со мной, так поверите ли — он за полчаса наел на четыре доллара с лишним.

— И вы помогли ему стать на ноги? — спросил я.

— Помог? Я его человеком сделал!

— Мм...

— Я его вытащил из грязи, из ничтожества. Вижу: молодой человек, красивый, обходительный, а когда он еще мне сказал, что учился в Оксворте, я сразу сообразил, что от него может быть прок. Заставил его вступить в Американский легион, он там быстро выдвинулся. А тут дело для него нашлось, у одного моего клиента в Олбани. Мы с ним были как два пальца на одной руке.— Вулфшим поднял два толстых пальца.— Где один, там и другой.

Интересно, подумал я, действовало ли это содружество во время истории с «Уорлд Сириз» в 1919 году.

— А теперь он умер,— сказал я.— И вы, как его ближайший друг, приедете сегодня на похороны.

— Да, я бы очень хотел приехать,— сказал он.

— Вот и приезжайте.

Волосы у него в ноздрях зашевелились, на глазах выступили слезы, и он покачал головой.

— Не могу, мне в такие истории лучше не впутываться,— сказал он.

— А никакой истории и нет. Теперь все уже кончено.

— Если человек умирает не своей смертью, я всегда стараюсь не впутываться. Держусь в стороне. Вот был я помоложе — тогда другое дело; уж если у меня умирал друг, все равно как, я его не покидал до конца. Можете считать меня сентиментальным, но так уж оно было: до самого конца.

Мне стало ясно, что по каким-то причинам он твердо решил на похороны не ездить, и я встал.

— Вы окончили университет? — ни с того ни с сего спросил он.

Я было подумал, что сейчас речь пойдет о «кхонтактах», но он только кивнул и с чувством пожал мне руку.

— Важно быть человеку другом, пока он жив, а не тогда, когда он уже умер,— заметил он.— Мертвому это все ни к чему — лично я так считаю.

Когда я вышел от Вулфшима, небо было обложено тучами, и в Уэст-Эгг я вернулся под накрапывающим дождем. Наскоро переодевшись, я пошел на виллу. В холле мистер Гетц взволнованно расхаживал из угла в угол. Он все больше и больше гордился сыном и сыновним богатством и, как видно, ждал меня, чтобы мне что-то показать.

— Эту карточку Джимми мне прислал.— Он дрожащими пальцами вытащил бумажник.— Вот посмотрите.

Это была фотография виллы, замусоленная и истертая по краям. Старик возбужденно тыкал в нее пальцем, указывая то на одну, то на другую подробность. «Вот посмотрите!» И каждый раз оглядывался на меня, ожидая восхищения. Он так привык показывать всем эту фотографию, что, вероятно, она для него была реальнее самой виллы.

— Это мне Джимми прислал. По-моему, очень хорошая карточка. На ней все так красиво.

— Да, очень красиво. А вы давно виделись с ним?

— Он ко мне приезжал два года назад и купил мне дом, в котором я теперь живу. Оно конечно, нам нелегко пришлось, когда он сбежал из семьи, но я теперь вижу, что он был прав. Он знал, что его ожидает большое будущее. А уж как он вышел в люди, так ничего для меня не жалел.

Ему явно не хотелось расставаться с фотографией, и он медлил, держа ее у меня перед глазами. Наконец он убрал ее в бумажник и взамен вытащил из кармана старую, растрепанную книжонку, озаглавленную: «Прыг-скок, Кэссиди».

— Вот смотрите, это сохранилось с тех пор, как он был еще мальчишкой. Оно о многом говорит.

Он раскрыл книжку с конца и повернул так, чтобы мне было видно. На последнем чистом листе было выведено печатными буквами: «РАСПИСАНИЕ», и рядом число: «12 сентября 1906 года». Под этим стояло:

Подъем .... 6.00 утра
Упражнения с гантелями и перелезание
через стену.. 6.15—6.30
Изучение электричества и проч. .... 7.15—8.15

Работа .... 8.30—4.30
Бейсбол и спорт .... 4.30—5.00
Упражнения в красноречии и выработка
осанки .... 5.00—6.00
Обдумывание нужных изобретений .... 7.00—9.00

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

Не тратить время на Штефтерса и (*имя неразборчиво*).

Бросить курить и жевать резинку.

Через день принимать ванну.

Каждую неделю прочитывать одну книгу или журнал для общего развития.

Каждую неделю откладывать 5 долл. (*зачеркнуто*) 3 долл. Лучше относиться к родителям.

— Мне это попалось на глаза случайно,— сказал старик.— Но это о многом говорит, верно?

— Да, о многом.

— Он бы далеко пошел, Джимми. Бывало, как уж решит что-нибудь, так не отступит. Вы обратили внимание, как у него там написано — для общего развития. Это у него всегда была особая забота. Он мне раз сказал, что я ем, как свинья, я его еще отодрал тогда за уши.

Ему не хотелось закрывать книгу, он вслух перечитывал одну запись за другой и каждый раз пытливо оглядывался на меня. Подозреваю, он ждал, что я захочу списать эти записи себе для руководства.

Без четверти три явился лютеранский священник из Фланшинга, и я невольно начал поглядывать в окно — не подъезжают ли другие автомобили. Смотрел в окно и отец Гэтсби. А когда время подошло к трем и в холле уже собрались в ожидании слуги, старик беспокойно заморгал глазами и стал бормотать что-то насчет дождливой погоды. Я заметил, что священник косится на часы, и, отведя его в сторонку, попросил подождать еще полчаса. Но это не помогло. Никто так и не приехал.

Около пяти часов наш кортеж из трех машин добрался до кладбища и остановился под дождем у ворот — впереди катафалк, отвратительно черный и мокрый, за ним лимузин, в котором ехали мистер Гетц, священник и я, и, наконец, многоместный открытый «форд» Гэтсби со слугами и уэст-эггским

почтальоном, промокшими до костей. Когда мы уже вошли на кладбище, я услышал, как у ворот остановилась еще машина и кто-то заспешил нам вдогонку, шлепая второпях по лужам. Я оглянулся. Это был тот похожий на филина человек в очках, которого я однажды, три месяца тому назад, застиг изумленно созерцающим книжные полки в библиотеке Гэтсби.

Ни разу с тех пор я его не встречал. Не знаю, как ему стало известно о похоронах, даже фамилии его не знаю. Струйки дождя стекали по его толстым очкам, и он снял и протер их, чтобы увидеть, как над могилой Гэтсби растягивают защитный брезент.

Я старался в эту минуту думать о Гэтсби, но он был уже слишком далек, и я только вспомнил, без всякого возмущения, что Дэзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов. Кто-то за моей спиной произнес вполголоса: «Блаженны мертвые, на которых падает дождь», и Филин бодро откликнулся: «Аминь».

Мы в беспорядке потянулись к машинам, дождь подгонял нас. У самых ворот Филин заговорил со мной:

— Мне не удалось поспеть к выносу.

— Никому, видно, не удалось.

— Вы шутите! — Он чуть ли не подскочил.— Господи боже мой! Да ведь у него бывали сотни людей!

Он опять снял очки и тщательно протер их, с одной стороны и с другой.

— Эх, бедняга! — сказал он.

Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это поездки домой на рождественские каникулы, сперва из школы, поздней — из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом, полутемном вокзале Юнион-стрит; забегали наспех проститься с нами и наши друзья чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона мисс Такой-то или Такой-то, пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие завиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен («Ты будешь у Ордуэев? У Херси? У Шульцев?»), длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах, против выхода на платформу,— желтые вагоны линии Чикаго — Милуоки — Сент-Пол, веселые, как само Рождество.

И когда, бывало, поезд тронется в зимнюю ночь, и потянутся за окном настоящие, наши снега, и мимо поплывут тусклые

фонари висконсинских полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах на пути из вагона-ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное,— но так длилось всего какой-нибудь час, а потом мы попросту растворялись в этом родном, привычно и нерушимо.

Вот это и есть для меня Средний Запад — не луга, не пшеница, не тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд остролиста на снегу, в прямоугольниках света, падающие из окон. И часть всего этого — я сам, немножко меланхоличный от привычки к долгой зиме, немножко самонадеянный от того, что рос я в карраузевском доме, в городе, где и сейчас называют дома по имени владельцев. Я вижу теперь, что, в сущности, у меня получилась повесть о Западе,— ведь и Том, и Гэтсби, и Дэзи, и Джордан, и я — все мы с Запада, и, быть может, всем нам одинаково недоставало чего-то, без чего трудно освоиться на Востоке.

Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки, раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков,— даже и тогда мне в нем чудилось какое-то уродство. Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорей не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна, ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому — это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать.

После смерти Гэтсби я не мог отделаться от подобных видений; все вокруг представлялось мне в уродливо искаженных формах, которые глаз не в силах был корригировать. И когда закурились синеватые струйки дыма над кучами сухих, ломких листьев и белье на веревках стало лубенеть на ветру, я решил уехать домой, на Запад.

Оставалось только выполнить одно дело, неприятное, тягостное дело, за которое лучше было, пожалуй, и не браться. Но мне хотелось привести все в порядок перед отъездом, а не полагаться на то, что равнодушное море услужливо смоет оставленный мною мусор. Я встретился с Джордан Бейкер и завел разговор о том, что мы с ней пережили вместе, и о том, что мне после пришлось пережить одному. Она слушала молча, полулежа в большом, глубоком кресле.

На ней был костюм для игры в гольф, и, помню, она показалась мне похожей на картинку из спортивного журнала — задорно приподнятый подбородок, волосы цвета осенней листвы, загар на лице того же кофейного оттенка, что спортивные перчатки, лежавшие у нее на коленях. Когда я кончил, она без всяких предисловий объявила, что выходит замуж. Я не очень поверил, хотя и знал, что, кивни она только головой, за женихами дело не станет, но притворился удивленным. На мгновение у меня мелькнула мысль — может быть, я делаю ошибку? Но я быстро переворошил в памяти все с самого начала и встал, чтобы проститься.

— А все-таки это вы мне дали отставку,— неожиданно сказала Джордан.— Вы мне дали отставку по телефону. Теперь мне уже наплевать, но тогда я даже растерялась немного — для меня это внове.

Мы пожали друг другу руки.

— Да, между прочим,— сказала она.— Помните, у нас однажды был разговор насчет автомобильной езды?

— Вспоминаю, но не очень ясно.

— Вы тогда сказали, что неумелый водитель до тех пор в безопасности, пока ему не попадется навстречу другой неумелый водитель. Ну так вот, именно это со мной и случилось. Сама не знаю, как я могла так ошибиться. Мне казалось, вы человек прямой и честный. Мне казалось, в этом ваша тайная гордость.

— Мне тридцать лет,— сказал я.— Я пять лет как вышел из того возраста, когда можно лгать себе и называть это честностью.

Она не ответила. Злой, наполовину влюбленный и терзаемый сожалением, я повернулся и вышел.

Как-то раз, в конце октября, я увидел на Пятой авеню Тома Бьюкенена. Он шел впереди меня своей быстрой, напористой походкой, слегка отставив руки, словно в готовности отшвыр-

нуть любую помеху, и вертя головой по сторонам. Я замедлил шаг, чтобы не нагнать его, но он в это время остановился и, наморщив лоб, стал рассматривать витрину ювелирного магазина. Вдруг он заметил меня и поспешил мне навстречу, еще издали протягивая руку.

— В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?

— Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.

— Ты с ума сошел, Ник! — воскликнул он.— Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.

— Том,— спросил я в упор,— что ты в тот день сказал Уилсону?

Он молча уставился на меня, и я понял, что моя догадка насчет тех трех невыясненных часов была правильна. Я повернулся и хотел уйти, но он шагнул вперед и схватил меня за плечо.

— Я сказал только правду! Он пришел, когда мы собирались в дорогу, и я передал через лакея, что у меня нет времени для разговоров. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте, не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане.

Он вдруг вызывающе повысил голос:

— А что тут такого, если я и сказал ему? Тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза, и тебе и Дэзи, а на самом деле это был просто бандит. Переехал бедную Миртл, как собачонку, и даже не остановился.

Мне нечего было возразить, поскольку я не мог привести тот простой довод, что это неправда.

— А мне, думаешь, не было тяжело? Да когда я пошел отказываться от квартиры и увидел на буфете эту дурацкую жестянку с собачьими галетами, я сел и заплакал, как малое дитя. Черт побери, даже вспомнить жутко...

Я не мог ни простить ему, ни посочувствовать, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше — беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дэзи, они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними.

На прощанье я пожал ему руку; мне вдруг показалось глупым упорствовать, у меня было такое чувство, будто я имею дело с ребенком. И он отправился в ювелирный магазин, по-

купать жемчужное колье, — а быть может, всего лишь пару запонок,— избавившись навсегда от моей докучливой щепетильности провинциала.

Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал; трава на газонах разрослась так беспорядочно, как и у меня на участке. Один из местных шоферов такси, проезжая мимо ворот, всякий раз тормозил на минуту и указывал пассажирам видневшийся в глубине сада дом; может быть, тот самый шофер вез Дэзи и Гэтсби в Ист-Эгг в ночь, когда случилось несчастье, и, может быть, он потом сочинил целый рассказ по этому поводу. Мне не хотелось выслушивать этот рассказ, и, выйдя с вокзала, я всегда обходил его машину стороной.

По субботам я нарочно задерживался попозже в Нью-Йорке; в моей памяти были настолько живы великолепные празднества на вилле Гэтсби, что мне без конца слышались смутные отголоски музыки и смеха из соседнего сада и шум подъезжающих и отъезжающих машин. Один раз я действительно услыхал, как по аллее проехала машина, и даже увидел лучи фар, неподвижно застывшие у самого дома. Вероятно, это был какой-нибудь запоздалый гость, который долгое время пропадал в чужих краях и не знал, что праздник уже окончен. Я не стал выяснять.

Накануне отъезда — мои вещи были уже уложены и мой «додж» уведен купившим его бакалейщиком — я пошел взглянуть последний раз на эту огромную нелепую хоромину. Какой-то мальчишка нацарапал обломком кирпича непристойное слово на белых ступенях, и оно четко выделялось при свете луны. Я затер его, шаркая подошвой о камень. Потом я спустился к берегу и прилег на песке.

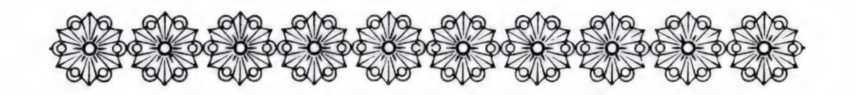
Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не видно было огней, только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков,— нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал,— ведь история в последний раз постави-

ла его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению.

И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дэзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверно, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку — и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки.

Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда — завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки... И в одно прекрасное утро...

Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое.



КОММЕНТАРИИ

ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ

Свой первый роман Фицджеральд начал писать еще во время службы в армии, куда он был призван в 1917 г. прямиком из Пристонского университета.

Произведение, задуманное как роман о студенческой жизни, носило поначалу название «Романтический эгоист». Оно было закончено весной 1918 г. Однако результат не удовлетворил автора, и Фицджеральд тут же принялся за его переработку. Новая рукопись, в которой было много сокращений — особенно в части, касающейся детства и юности главного героя,— называлась «Воспитание личности».

Затем роман подвергся новой переработке, при этом его вторая часть была фактически написана заново. Сам автор в предисловии (которое так и не было опубликовано) заметил, что если между первым и последним вариантами книги и есть какая-то связь, то очень отдаленная.

В романе во множестве присутствуют поэтические фрагменты; наряду со стихотворениями известных поэтов с мировым именем, таких, как Дж. Китс, Р. Браунинг, Э. По, П. Верлен и другие, в тексте присутствуют самого Фицджеральда, написанные еще в университете.

В окончательной редакции роман вышел в свет в издательстве «Скрибнерз» в марте 1920 г. под заглавием «По эту сторону рая» («This side of Paradise»). Это произведение, проникнутое духом сомнения и разочарования в традиционных, проверенных ценностях, несмотря на всю его незрелость, было столь своевременно, что принесло автору как финансовый успех, так и известность. Фицджеральд стал в литературе едва ли не первым представителем поколения, которое впоследствии назовут «потерянным».

С. 18. ...от Пасадены до мыса Код. — Подразумевается вся территория Соединенных Штатов, т. к. *Пасадена* — город на юго-западе США, в штате Калифорния, пригород Лос-Анжелеса, а *мыс Код* (Кейп-Код) — полуостров на северо-востоке США, омываемый с запада водами одноименного залива.

С. 27. Хенти Джордж Элфред (1832—1902) — английский журналист, написавший несколько авантюрно-исторических романов для детей.

С. 41. «L'Allegro» («Жизнерадостный») — раннее произведение английского поэта и политического деятеля Джона Мильтона (1608—1674), в котором автор изображает себя беззаботным юношей, наслаждающимся созерцательной жизнью на природе. Вместе с другой поэмой «Il penseroso» («Задумчивый») составляет лирический диптих;

С. 48. Таркингтон Бут (1869—1946) — американский прозаик и драматург. Воспитанник Принстонского университета. Известность пришла к нему с романом «Мосье Бокер» (1900); автор романа «Джентльмен из Индианы» (1899). Дважды лауреат Пулитцеровской премии.

С. 56. Филлипс Стивен (1868—1915).— Речь идет об английском поэте. Упоминаемый далее *Филлипс* Дэвид Грэм (1867—1911) — американский писатель; окончив Принстонский университет, стал журналистом. Его первые романы появились в начале 1990-х гг. Всего Филлипс опубликовал 23 романа, пьесу, сборник рассказов, две публицистические книги. Он погиб в расцвете лет от руки человека, решившего, что в одном из своих романов писатель оклеветал его сестру.

С. 59. «Доктор Джонсон и Босуэлл».— Имеются в виду *Джонсон* Сэмюел (1709—1784) — известный английский лексикограф и писатель, а также его друг и почитатель Джеймс *Босуэлл* (1740—1795), который составил жизнеописание доктора Джонсона, считающееся классическим образцом жанра литературной биографии.

С. 87. ...усладил слух... «Одой к соловью». — Речь идет о знаменитом стихотворении английского поэта-романтика Джона Китса (1795—1821). Из него Фицджеральд взял эпиграф и заглавие романа «Ночь нежна».

С. 105. Гюисманс Шарль Мари Жорж (лит. имя Жорис Карл; 1848—1907) — французский писатель; был членом Академии Гонкуров.

С. 108. Бус Вильям (1829—1912) — английский меценат, основавший в 1865 г. «Армию спасения».

С. 116. «Новый Макиавелли» (1910) — роман Герберта Уэллса (1866—1946), пропагандирующий идею союза ученых и предпринимателей для осуществления социальных реформ.

С. 119. «Мэссис» — ежемесячных американский литературный журнал прогрессивного толка. С мотивировкой «за антивоенную агитацию» был закрыт в 1917 г.

С. 121. Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель, член Французской академии (с 1894).

Крам Ральф Адамс (1863—1942) — американский архитектор и писатель, крупный специалист по истории готики. В 1911 г. перестроил собор св. Иоанна в Нью-Йорке, придав ему готические очертания.

С. 131. Лодж Оливер (1851—1940) — английский физик; пытался научно обосновать идеи спиритов о возможности общения с умершими.

С. 144. Ньюмен Джон (1801—1890) — английский католический кардинал и религиозный писатель. С деятельностью Ньюмена связано обновленческое движение в англокатолицизме.

С. 146. Бэрр Аарон (1756—1836) — политический деятель времен Войны за независимость, вице-президент США в 1805—1807 гг.

Ли Генри (1756—1818) — генерал американской армии в годы революции.

С. 181. Пэрриш Максфилд (1870—1966) — американский художник, иллюстратор и декоратор, прославившийся в начале века как поборник современного стиля в искусстве.

С. 184. Мадам де Монтеспан (1641—1707) — *Монтеспан* Франсуаза де Рошешуар-Мортемар; маркиза, фаворитка Людовика XIV.

С. 198. Конрад Джозеф (1857—1924) — английский прозаик.

С. 199. Линдзи (Линдсей) Вэчел (1879—1931) — американский поэт демократических убеждений. Обогатил поэзию почти не тронутыми до него пластами образности, связанной с бытом трущоб, и одним из первых оценил огромные возможности кинематографа (книга «Искусство кадра»; 1916).

Мастерс Эдгар Ли (1868—1950) —американский поэт, прозаик, драматург, авотр литературных биографий.

Хилл Джеймс Джером (1838—1916) — крупный железнодорожный подрядчик, владелец нескольких промышленных банков.

С. 208. «Христианская наука» — религиозная доктрина, проповедовавшая исцеление молитвой духовных и физических недугов. Основана Мэри Бейкер Эдди в 1864 г.; в конце XIX — начале XX вв. была очень популярна в США.

С. 237. Бернгарди Фридрих фон (1849—1930) — немецкий генерал; во время Первой мировой войны командовал германскими войсками на Западном фронте.

Лоу Бонар (1858—1923) — английский политический деятель, премьер-министр Англии (в 1922).

Бетман-Хольвег Теобальд фон (1856—1921) — канцлер Германии в 1909—1924 гг.

С. 238. Батлер Сэмюел (1835—1902) — английский писатель. Сын священника; окончив университет, принял духовный сан, затем отказался от карьеры священника.

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Центральное произведение автора, самое совершенное из всего, что написано им. Как и все книги Фицджеральда, это произведение со времени первоначального замысла до окончательной редакции претерпело значительные изменения.

Роман «The great Gatsby» впервые был опубликован в издательстве М. Перкинса в апреле 1925 г.

С. 260. Мидас — царь Фригии в 738—696 до н. э. Согласно греческому мифу, был наделен Дионисом способностью обращать в золото все, к чему бы он ни прикасался.

Морган Джон Пирпонт (1837—1913) — американский миллионер, богатейший человек своего времени. Финансировал промышленность, шахты, контролировал банки, страховые компании, пароходные линии и железные дороги. Ему принадлежала первая в США биллиондолларовая корпорация — «Ю. С. Стил корпорейшн».

Меценат Гай Цильний (между 74 и 64 — 8 гг. до н.э.) — римский аристократ, приближенный императора Августа, выполнявший его дипломатические, политические а также частные поручения. Покровительство поэзии и искусствам сделало его имя нарицательным.

С. 291. Беласко Дэвид (1854—1931) — эстрадный артист, в свое время пользовавшийся большой популярностью; исполнял скетчи собственного сочинения.

С. 302. Бутлегер — лицо, занимающееся запрещенным ввозом, продажей, транспортировкой спиртных напитков. Занятие, широко распространенное в США во времена «сухого закона».

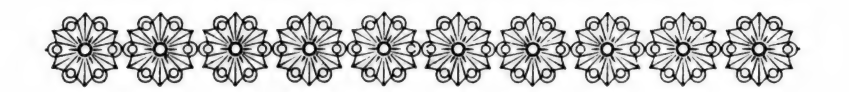
С. 303. Американский легион — в США организация участников различных войн; основана в 1919 г. Отличалась крайней реакционностью.

С. 306. Аргонн — холмистая возвышенность на востоке Парижского бассейна во Франции. Расположена между реками Эна и Эр.

С. 325. Адам Роберт (1728—1792) — шотландский архитектор и декоратор, крупнейший представитель английского классицизма XVIII в. Опираясь на непосредственное изучение античного зодчества, использовал строгие классические формы, изящный декор, уделял большое внимание интерьеру и мебели. Считается одним из создателей стиля рококо в английском декоративном искусстве.

С. 331. Мадам де Ментенон (Франсуаза д'Обинье, 1635—1719) — вторая жена Людовика XIV.

С. 341. Тримальхион — персонаж «Сатирикона» Петрония (I в. н. э.), богач, выбившийся из низов. В одном из эпизодов («Пир Тримальхиона») описано роскошество празднеств, устраиваемых этим богачом.



СОДЕРЖАНИЕ

В. Вербицкий. Разбитые мечты 5

ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ

Перевод М. Лорие

Книга первая. Романтический эгоист

Глава I. Эмори, сын Беатрисы 15
Глава II. Шпили и химеры 45
Глава III. Эгоист на распутье 91
Глава IV. Нарцисс не у дел 116

Интерлюдия. Май 1917 — февраль 1919 148

Книга вторая. Воспитание личности

Глава I. Ее первый бал 155
Глава II. Методы излечения 181
Глава III. Ирония юности 202
Глава IV. Высокомерное самопожертвование 220
Глава V. Эгоист становится личностью 229

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Перевод Е. Калашниковой

Глава I 257
Глава II 273
Глава III 285
Глава IV 302
Глава V 317
Глава VI 329
Глава VII 341
Глава VIII 367
Глава IX 379

Комментарии *Б. Акимова* 395

Бриллиантовая коллекция

Френсис Скотт
ФИЦДЖЕРАЛЬД

ПО ЭТУ СТОРОНУ РАЯ
ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Редактор *Б. Акимов*
Компьютерная верстка *А. Кувшинников*
Корректор *Ю. Черникова*

ООО «Торговый дом «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6
Отдел реализации:
Телефон: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

Подписано в печать 20.08.2007 г.
Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Гарнитура «Гарамонд».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0
Тираж 10 000 экз. Заказ № 4717131

Отпечатано на ОАО “Нижполиграф”
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ
Антуан ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Максим ГОРЬКИЙ
Герберт УЭЛЛС
Сергей Александрович ЕСЕНИН
Поэзия Серебряного века
Стефан ЦВЕЙГ
Оскар УАЙЛЬД
Френсис Скотт ФИЦДЖЕРАЛЬД
Джером Клапка ДЖЕРОМ
Иван Александрович ГОНЧАРОВ
МОЛЬЕР
Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ
Александр Сергеевич ПУШКИН
Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ
Александр Степанович ГРИН
Борис Леонидович ПАСТЕРНАК
Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ
Вильям ШЕКСПИР
Николай Васильевич ГОГОЛЬ
Николай Семенович ЛЕСКОВ
Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ
Эдгар Аллан ПО
Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ



ISBN 978-5-486-01517-5
9 785486 015175


Френсис Скотт
ФИЦДЖЕРАЛЬД
БРИЛЛИАНТОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ